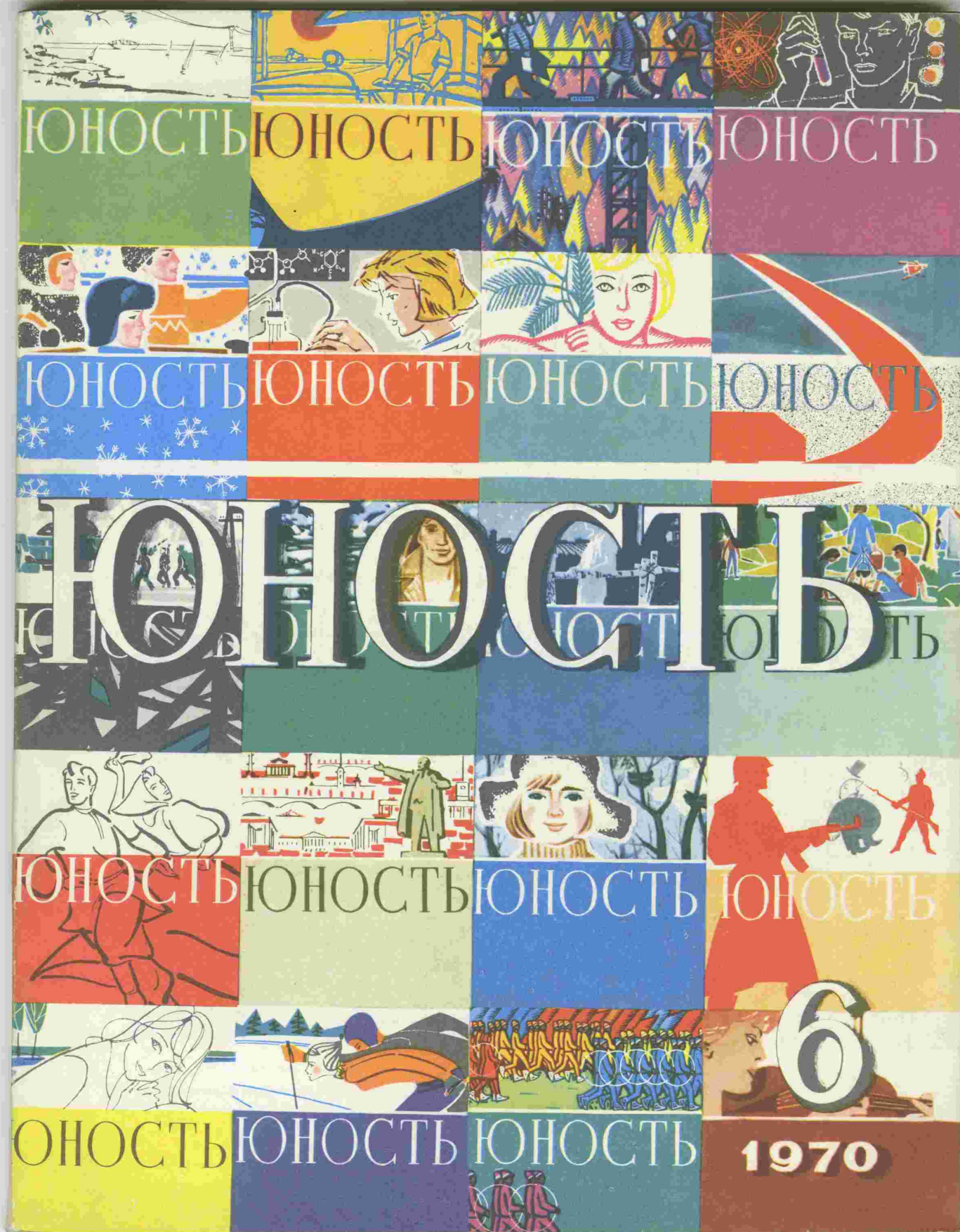






А. ТУХАР (Кишинев).

У источника. Автолитография.

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



6

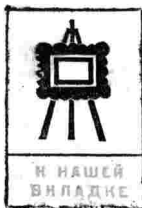
(181)

июнь

1970

Журнал основан в 1955 году

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА



КУЛЬТУРА БЫТОВОЙ ВЕЩИ

Вкус и эстетическая культура в значительной мере зависят от мира вещей, которые нас окружают, а следовательно, и от художника, чей талант и фантазия помогают украсить наш быт. Впитав в себя традиции народного творчества, художник выражает в произведениях прикладного искусства собственное видение мира, национальный колорит бытовой вещи, слагавшийся веками.

Традиции дымковской игрушки нашли свою новую жизнь в работах современных художников. Например, бьющая яркостью красок композиция З. Генкиной «Многодетная мать» радует глаз и взрослых и маленьких. Праздничный цвет передан и в другом материале — и в стекле в работах художника В. Муратова, прозрачных и сказочных. А вот фарфоровый сервиз М. Тараева. Только два цвета: белое и золото. Повевало русской архитектурой златоглавых белокаменных церквей, золотыми шлемами, богатырской кольчугой. Отсюда и название сервиза — «Витязь».

Многообразие материалов и способов обработки позволяет создавать произведения простые, выразительные, изящные. Современное искусство гобелена поднято до ранга полноценного искусства; оно интересно представлено работой Н. Моисеевой «Город революции», передающей в динамичной композиции атмосферу первых лет Советского государства.

Два издавна известных материала — дерево и глину — использовали художники А. Суренков и Ю. Сергеев в композиции «Колхозная мелодия», глубоко национальной по своему характеру. Живые наблюдения переданы в этой доброй, непринужденной сцене.

И еще одна комбинация материалов. На этот раз дерево с металлом. В. Цигаль в панно «Полярный день» из триптиха «Север» наследует самобытную культуру Русского Севера, которая и диктует автору выбор материала.

Художественное производство бытовой вещи — одно из самых массовых искусств, основанное на глубинных народных традициях, — близко и понятно людям.

Людмила КРАСУЛИНА

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

● ПРОЗА

- Александр РЕКЕМЧУК. Мальчишки. Повесть . . . 6
Борис ВАСИЛЬЕВ. Пятница. 27
Василий БОЧАРНИКОВ. Живу в лесной деревеньке... Миниатюры . . . 34
Иосиф ГЕРАСИМОВ. Туда и обратно. Роман (Окончание) . . . 40
Евгения ГИНЗБУРГ. Учительская кровь. Рассказ . . . 68

● ПОЭЗИЯ

- Кайсын КУЛИЕВ. Воспоминания. «Как ни поспешно жизнь идет...». Счастливые сны. «Все тот же снег беллет в дальней дали...». Стихи о надежде. Стихи о врагах. (Перевел с балкарского Н. Гребнев) 2
Игорь КРАВЧЕНКО. Трансбириская панорама. «Протяжный клекот журавлей...» 4
Александр ДРАКОХРУСТ. Мальчишки зеленые. Мать. «На рассвете...» 4
Петрусь БРОВКА. Волнение. Когда в краю... В начале лета (Перевел с белорусского М. Исаковский) 5
Евгений ВИНУКОВ. Фантазия. «Что молодость — зное дело!..» Змея. Европа, 1940. Женщина на берегу. Молоко... 38
Камиль МУСТАФИН. Матросы двадцатых годов. Улыбка. Листок. (Перевел с татарского Л. Смирнов) 39
Владимир КАЛИНИЧЕНКО. Стихи о фашистской неволе. 65
Александр МЕДВЕДЕВ. «Неясным еще обещаньем...». «Не пришли ни тревога, ни страх...» 72

● К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА ТВАРДОВСКОГО

- Алексей СУРКОВ. Ровесник любому поколению . . . 66

● ПОГОВОРИМ О ПРОЧИТАННОМ

- Л. АННИНСКИЙ. Соль воды 73

● ПУБЛИЦИСТИКА

- Юрий ЧЕРНИЧЕНКО. Белгород . . . 78
В. КОММУНАРОВ, Б. ПОЛЯКОВ. Первый десант . . . 92

● ВСТРЕЧИ

- А. ШАРОВ. Свет софитов . . . 96

● ДЕБЮТЫ

- Дмитрий КИПШИДЗЕ. «По примеру древних» . . . 100

● СПОРТ

- Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Что больше: 500 или 600? . . . 102

● НАШ ФЕЛЬЕТОН

- Наталья ИЛЬИНА. Клетки для Герасима. Записки молодой учительницы . . . 106

● ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

- Владимир КАШАЕВ. Операция «Сувенир» . . . 110
Вл. ПАНКОВ. Я — замедлена 111

● К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

- Людмила КРАСУЛИНА. Культура бытовой вещи . . . 112

Обложка номера посвящена исполняющемуся в июне нынешнего года 15-летию журнала «Юность». Монтаж И. СУСЛОВА.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Первый заместитель главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: А. Г. АЛЕКСИН, В. И. АМЛИНСКИЙ, В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ, А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), К. Ш. КУЛИЕВ, Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

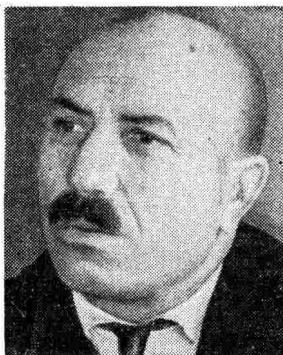
Художественный редактор
Ю. А. Цищевский.

Технический редактор
Л. К. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефон 291-62-47.
Рукописи не возвращаются.

Сдано в набор 6/IV—1970 г. А 01058. Подп. к печ. 3/VI—1970 г.
Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Объем 12,18 печ. л. 17,62 учетно-изд. л.
Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 1335. Заказ № 1155.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



Кайсын
Кулиев

Воспоминания

Воспоминанья — это деревья.
На них шуршит зеленая листва,
Напоминая то, что было прежде.
Воспоминание под стать надежде.

Воспоминанья — горные леса,
Где веет побывавший в прошлом ветер,
Где слышатся поныне голоса
Людей, которых нет уже на свете.

Я в этот лес украдкой бегу,
Пасу овец подпаском на лугу.
Змей мастерю или иную малость.
Все, что прошло, в лесу моем осталось.

Остались только в том лесу моем
Разрушенный войною отчий дом,
Травой покрытый луг, где мы играли,
Теперь его давно уж распахали.

Осталась в том лесу моя родня,
Осталась мать, и говорю я с нею.
Все, что с годами дальше от меня,
Мне с каждым годом видится яснее.

И все же в том лесу с теченьем дней
Стволов все меньше и все больше пней.
Редеют деревья в лесу моем.
Но чаще я туда бегу, чем прежде.

Воспоминания под стать надежде,
Мы с вами дня без них не проживем.



Как ни поспешно жизнь идет,
Свеча моя не догорела,
И я встречаю новый год
Живой, способный делать дело.

Ночь и рассвет, добро и зло
Стремятся побороть друг друга.
И в доме у меня тепло,
Хоть за окном метель и вьюга.



Не надо мне других щедрот.
Жизнь и не будет пусть иною.
Сегодня в мире новый год.
Я жив, и близкие со мною.

Каких еще мне ждать наград!
Я хлебу рад, теплу и крову.
Соседи живы и здоровы,
И этому я тоже рад.

Я хлеб жую, курю табак,
Сижусь с детьми, с женою, с другом.
Каких еще желать мне благ!
И это все не по заслугам!

Живым встречаю новый год.
Мы люди, надо нам немного.
И даже вечная тревога
Сейчас мне сердце не сосет.

Смешон сегодня, может быть,
Я, видевший огни и воды,
Но я опять желаньем жить
Грешу, как в молодые годы.

Счастливые сны

I

Вы снов счастливых не кляните
За их бесхитростный обман.
Пусть хоть во сне, когда вы спите,
В снегу распустится тюльпан.

Пусть хоть во сне мелькают лица
Людей, которых нет давно.
Пусть хоть во сне осуществится
То, быть чему не суждено.

Сны быстролетны, словно птицы,
Взлетающие в синеву.
Пусть счастье хоть на миг приснится
Тем, кто несчастлив наяву.

Пускай к слепым вернется зренье
И юность — к завершившим путь —
Все то, что могут на мгновенье
Лишь сновиденья нам вернуть.

II

Хоть за окном метут метели
И валят хлопья с высоты,
А тополя зазеленели,
На склонах расцвели цветы.

Иду я по нагретым скатам.
Не знаю, что такое грусть,
Иду такой, как был когда-то,
За юбку матери держусь.

Ей не пришлось еще изведать
Потери моего отца,
Еще не прочертили беды
Морщинок вдоль ее лица.

Все молоды еще и живы,
И сам я счастлив, что живу...
И я во сне смеюсь счастливо,
Точь-в-точь как раньше наяву.

III

И в годы черные случалось
Сны золотые видеть мне.
Случалось, что потом сбывалось
То, что привиделось во сне.

Когда бесчисленные беды
Нас окружали в дни войны,
Еще задолго до победы
Победа к нам врывается в сны.

В чужом краю, где мне случилось
Надолго обрести свой дом,
Мне часто возвращенье снилось.
Что снилось, то сбылось потом.

Пусть каждому из нас приснится
Лишь то, чего достоин он.
И пусть потом осуществится
Заслуженный счастливый сон.

IV

Все, что пришло во сне, умчится.
Я сам не очень верю снам.
И все ж счастливый сон — частица
От счастья, выпавшего нам.

Возможно в снах любое чудо,
И к нам на склоне наших лет
Приходят матери оттуда,
Откуда возвращенья нет.

К тем дням, которым нет возврата,
Мы возвращаемся во снах.
Нам снится, что мы спим в домах,
Во прах поверженных когда-то.

В счастливых снах надежды скоры.
Приходит юность к нам опять,
И мчат нас скакуны, которых
Нам наяву не оседлать.



Все тот же снег белеет в дальней дали,
Как в годы жизни матери моей,
Когда она на этот снег в печали
Глядела, дожидаясь сыновей.

Настолько все по-прежнему осталось:
Снег на вершинах, на лугах трава,—
Что мне сегодня снова показалось:
Застыло все, и мать моя жива.

И память легкою своею дланью
Мне до плеча дотронулась слегка,
И всплыли над плетнем воспоминаний
Песнь матери, снега и облака.

Не полыхал пожар на белом свете,
И край мой не был опален войной,
И не прошло еще десятилетий,
В беде и радости прожитых мной.

Людская жизнь не так уж скоротечна,
И я еще не доживаю век.
На свете было только то, что вечно,—
Песнь матери да этот белый снег.

И снова мать из дома ранней ранью
Выходит, суетится во дворе...
Все тает, становясь воспоминаньем,
И только снег не тает на горе.

Над временем никто из нас не властен,
Нам возратить ушедших не дано.
Для нас воспоминание и счастье
На склоне лет — понятие одно.

Кругом зима, и все, как прежде, бело.
Я сплю, и мать спускается ко мне,
И песню, что она когда-то пела,
Сквозь сон и годы слышу в тишине.

Стихи о надежде

Слепой живет надеждой на прозрень.
Больной, страдая, верит в исцеленье.
И путник, обессилив от дорог,
Надеется ступить на свой порог.
Надеется на чудо обреченный,
На скорую победу — побежденный.
Надеется настигнутый бедой:
Минуют беды и не возвратятся.
Надеется захлестнутый волной
До берега заветного добраться.

Надежда — свет дневной во тьме ночной,
Опора сильных и бессильных сила.
Я думаю: что стало бы со мной,
Когда бы мне надежда не светила!

Стихи о врагах

Никто из нас не застрахован
От зависти и от беды,
От оскорбительного слова,
От злобы — матери вражды.
Злорадствует твой враг недалний,
И я предположить могу:
Чем день твой горше и печальней,
Тем слаще твоему врагу.
Ему неважно, кто ты, что ты,
Ты для него всего лишь враг.
Нет у него иной заботы,
Как ждать, чтоб ты попал впросак.
Он весел от твоей печали.
Твоей беде он рад весьма.
Хотя она ему едва ли
Прибавит силы и ума.
Стерпи все козни, все укоры,
Врагов своих удачей зли,
Но так живи, чтоб наши горы
Тебя стыдиться б не могли.
Иди прямой своей дорогой.
Вражда ничтожеств — не беда.
В конце концов страшной намного
Их дружба, нежели вражда.
Пускай они тебя ославят,
Их ненависть почти за честь.
Пускай они враждой заставят
Тебя быть лучше, чем ты есть.
Врагов не следует стыдиться
И опускать в бессилье рук.
Всегда, чем голосистей птица,
Тем больше хищников вокруг.

Перевел Н. ГРЕБНЕВ.



**Игорь
Кравченко**

Транссибирская панорама

Ты с востока взгляни на запад —
сопки, чащи и бурелом.
Зверь идет на когтистых лапах,
птица Сири́н машет крылом.
Тучи, словно набрякшие веки,
разошлись, приоткрыли луну.
Дышат холодом белые реки,
иной сеется в тишину.
Под деревьями тень провисла.
Мох на елях, как лисий мех.
В небе выписав коромысло,
метеор вонзается в снег.
А на норде — сиянье эфи́ра,
то поземка, то плотный туман.
Там суровым владыкою мира
Ледовитый лежит океан.
Гордо плавают льдистые горы,
чуть парит в полыньях вода,
но, во льду обозначив узоры,
у Ямала проходят суда.
Посмотри, у Тюмени и ближе,
где недавно лишь кедров росли,
языки нефтяные лижут
опаленную твердь земли.
В глубину, где кремнистые недра
спрессовались в кристаллы пород,
где бушуют магнитные ветры,
проникает железный крот.
На Урале, в преддверье Европы,
в центре кряжистой древней страны,
словно мощные телескопы,
домны в небо устремлены.
Отрываясь от Байконура,
мчится спутник с усами антенн.
Занимается раннее утро
неизведанных перемен.
Набирая накал напряженья
на плотинах сибирских рек,
непосильный воображенью,
приближается новый век.



Протяжный клекот журавлей
над обнаженными лесами
звенел степными голосами
далекой юности моей.

Парила темная вода,
плотва у берега плескалась,
и в реку плавно опускалась
последних листьев череда.

Я слушал тихие поля,
корней неясное движенье,
стволов осеннее брожение —
к зиме готовилась земля.

И этот круг земных работ
был до предела мне понятен,
здесь не было неясных пятен,
пустых и мелочных забот.

Спокойно и без суеты
земля свой замысел творила
и между делом говорила
со мною дружески на «ты».



**Александр
Дракохруст**

Мальчишки зеленые

Мы жили под бомбами,
Мы плыли в понтонах —
Мальчишки зеленые
В рубашках зеленых.
Мы лезли на бруствер
С зелеными лицами
И в гиблую землю
Старались зарыться.
Но звали в атаку
Ракеты зеленые...

...Давно уж команды ушли
Похоронные,
И мы в плащ-палатках
Закопаны наскоро.
Фанерные звезды,
Пробитые каски.
А сверху дубки —
Молодые, пригожие,
На нас почему-то
Чертовски похожие.

Мальчишки зеленые
В рубашках зеленых,
Нет, нет,

мы не стали
Дубками и кленами,
Не вышли травой,
Не проклюнулись колосом
И гомоном листьев
Не подали голоса...
Мы просто зарыты
В земле изувеченной,
В спасенной земле...

И придумывать нечего!

Мать

В окопах грязь. А в уцелевшей хате
Рушник на стенке, вышитый пестро,
Цветастые подушки на кровати
И всех святых — в блестящих латах — строй.
Замерзшие, острили парни наши:
— Недурно, мол, пригрелся бывший бог!..
...Старуха молча принесла нам каши
И с молоком горячий чугунок.
А ночью, на соломе коченя,
Услышал я, как, свечку погасив,
Она шептала: «Кто их пожалеет!»
И всхлипывала: «Господи, спаси!»
До петухов она молилась истово,
Поклоны отбивая в тишине,
За нас — за убежденных атеистов,
За ядовитых городских парней.
Так горячо, с такою страшной верою
Твердила: «Боже, то ж мои сыны!»
Что будь он, бог, — мы все тогда, наверное,
Живыми возвратились бы с войны.



На рассвете
В мой сон прорываются танки,
Раздвигает подсолнухи грудь броневая.
И я вижу, я вижу блестящие траки.
И я слышу: болванки летят, завывая.
Я в окопе лежу, оглушен, огорошен,
И в застывшей грязи не могу шевельнуться.
Только чувствую: если гранаты не брошу,
Мне уже не проснуться,
Вовек не проснуться!

□ □ □



Петр
Бровка

Волнение

Напрасно люди ждут покоя.
Но я не тот. Не из таких.
И ты, волнение людское,
Со мною с первых дней моих.



Да что там я! Легко заметить —
Оно не нам одним дано:
Оно во всем на белом свете,
Во всем, как есть. Везде оно.

Глядишь, оно и в море синем,
В земной коре — во все века,
Оно пылит песком в пустыне,
Сдвигает в небе облака.

Оно и в соловьином пенье,
В ключе, что льется ручейком,
В листке березовом весеннем
И в струнах скрипки под смычком.

Увидишь вдруг пушинку в небе —
И та волнуется, летя,
Волнуясь, дышат зерна в хлебе,
Под сердцем матери — дитя...

Покоя нет. И мне сдается:
Нет ни для этих, ни для тех.
Мое ведь тоже сердце бьется,
За все волнуясь и за всех.

Когда в краю...

Когда в краю, где бегал бóсым,
Бывал я — верьте или нет, —
«День добрый!» — я шептал березам,
«День добрый!» — слышал я в ответ.

И сердце гулко так стучало,
Как будто в пору детских лет.
«День добрый!» — речку привечал я,
«День добрый!» — речка мне в ответ.

Разгорячась, я шел напиться,
В траве прокладывая след.
«День добрый!» — говорил кринице,
«День добрый!» — мне она в ответ.

И благодарен и взволнован,
Я был готов обнять весь свет:
«День добрый, луг, поля, дубравы!»
«День добрый!» — все они в ответ.

В начале лета

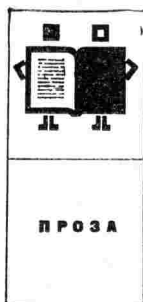
Пусть силы еще не набралось лето,
Но речка играет, полна красоты.
И аира¹ сабли пробились к свету,
Поднялись к солнцу из мутной воды.

Лоза распушилась — вдруг осмелела
И тоже в воде по колено стоит.
А сколько же лилий — фонариков белых
Под вечер над заводью сонной горит!

А месяц взойдет — аж до дна проникает,
А там — серебро, а не камушки, нет!
А выскочит рыбка — свечой засверкает,
Плеснется — аж сердце вздыхает в ответ.

Перевел М. ИСАКОВСКИЙ.

¹ Аир — болотное растение с длинными листьями.



Александр
Рекемчук



МАЛЬЧИКИ

ПОВЕСТЬ

Рисунки Г. Басырова.

Часть первая

I

Когда я, как говорится, стану человеком — буду сам зарабатывать свой хлеб, иметь свой угол, — вот тогда первым делом я заведу пса.

Потому что жизнью своей я обязан собаке.

То есть, конечно, своей жизнью я обязан родителям: отцу и матери. Отец мой, Прохоров Геннадий Петрович, был армейским капитаном. Мать, Прохорова Тамара Александровна, была военфельдшером. Поженились они на фронте, а после войны вместе с той частью, где служили, обосновались в городе Ашхабаде. Здесь-то я и родился.

А в ночь на шестое октября 1948 года произошло ашхабадское землетрясение. Город рухнул, погребя под своими камнями людей. В том числе и моих родителей.

Вот так — провоевали всю войну, и не тронули их пули, а уже при полном мире, тихой ночью, в покойном сне придавила упавшая стена.

Но как же уцелел и спасся, остался жив я сам? Ведь и я был в ту ночь вместе с ними, в той же комнате, спал в своей детской кроватке...

Ничего этого сам я, конечно, не помню — ровным счетом ничего: ни землетрясения, ни бедных своих родителей, ни своего чудесного спасения. Ведь мне в ту пору еще и двух лет не исполнилось.

Но впоследствии одна женщина, приехавшая навестить меня в детдоме, рассказала мне все, а она это знала вполне достоверно, потому что была сослуживицей отца с матерью.

Она привезла мне гостинцев, всяких конфет и пряников, а потом, утирая слезы, поведала такую историю.

Будто в нашей семье была собака, овчарка по имени Рекс. Она, как и положено собаке, верно служила хозяевам, но больше всех любила меня, хотя я и был совсем маленьким, — она сторожила меня, когда родителей не было дома, приглядывала.

И вот в ту самую ночь, когда ашхабадские жители спали, а до толчка оставалось еще несколько секунд, собака услышала, как изнутри загудела земля (они ведь, животные, гораздо раньше людей такое слышат и раньше чуют беду), и тогда она вспрыгнула на мою кровать, вцепилась зубами в рубашонку и одним махом выскочила в окно: оно оказалось открытым, потому что ночь была очень душная. И тотчас обрушился дом.

Так собака спасла меня.

Об этом удивительном случае, насколько я знаю, до сих пор рассказывают ашхабадцы.

Что же дальше? Меня определили в детприемник, но не в самом Ашхабаде, а в Липецке, ведь таких, как я, оказалось много — нас и приютили в разных городах.

Вообще-то у отца с матерью были какие-то родственники — мои дяди, тети, — и они вскоре после землетрясения появились в Ашхабаде, чтобы поделить меж собой оставшееся под обломками барахло. Однако никто из них не выразил желания забрать меня под свое крылышко, рассудив, очевидно, что государство сумеет гораздо лучше воспитать из меня достойного гражданина. И полагаю, что они были правы.

Об этих родственниках рассказала мне все та же приезжавшая в Липецк женщина. Кроме конфет и пряников, она привезла мне фотографию отца с матерью — они там вместе на карточке, в военной форме, с медалями, улыбаются, очень молодые. На обороте фотокарточки она написала адрес кладбища и номер могилы, где лежат мои родители, чтобы я, когда вырасту, съездил в свой родной город, пришел туда.

Я берегу эту фотографию. Не только потому, что она — единственное, оставшееся мне на память об отце и матери. И не потому, что я непременно, как только у меня окажутся достаточные деньги, чтобы оплатить дальний проезд, поеду в город Ашхабад и найду там кладбище, могилу...

Нет, тут есть еще одна причина.

У детдомовских, у таких, как я, круглых сирот, это пунктик. Сызмальства их больше всего на свете мучит вопрос о родителях: кто они были, отчего их нет, куда подевались? Никто никогда не поверит и не может поверить, что родители — мать или отец — просто так отказались от своего ребенка. Оставили на вокзальной скамейке. Подбросили на чье-то крыльцо. Либо даже явились в детприемник чьей-то рукой и с рук на руки сдали сверток: нате, мол, держите, а нам не надо, у нас другие планы...

А между тем в большинстве случаев так и бывает.

Но не приведи бог хотя бы намекнуть кому-нибудь из нас, что, дескать, ты — подкидыш. Кто поменьше, тот за палец укусит, а побольше — и в морду даст.

Потому что такой вариант никого, конечно, не устраивает. Никому не охота с пеленок презирать человечество.

По этой причине любой из детдомовских знает о своих предках даже больше, чем тот, кто самым благополучным образом вырос при родителях. Все знают. Во всех подробностях. У кого погибли на войне. У кого в море утонули. А у кого сделали себе опасную прививку ради научного опыта, и опыт этот не удался.

Из десяти подобных историй девять выдуманы. Сами выдумывают. Это черт знает до чего горазды наши изобретать и выдумывать такие вот истории.

К чему я все это?

А к тому, что заранее хочу отмести все возможные подозрения. Может, кому-нибудь покажется чересчур уж невероятным то, что я рассказал о себе самом.

Так вот, фотография. Она всегда со мной. И обо-
рот ее: адрес, номер.

Между прочим, та женщина, которая приезжала ко мне в Липецк, оставила еще адреса моих дядей-тетей. Наверное, чтобы я им письма писал, поздравления к праздникам.

Но вот чего не знала даже та женщина, и чего я не знаю, и что мне очень бы хотелось узнать (то есть я ничего не пожалел бы на свете, чтобы раз-
узнать и выяснить) — это куда подевалась собака — овчарка по имени Рекс, которой я обязан своей жизнью.

Куда она подевалась?

Конечно, в те трудные и отчаянные дни после землетрясения кому могло быть дело до какой-то бездомной собаки: тогда ведь и людей сколько оказалось бездомных. Не до собак там было, на-
верное.

И все же что с ней после случилось, с этой хорошей собакой, потерявшей хозяев? Бегала, небось, по го-
роду, металась голодная, выла по ночам... Хорошо, если приняли ее в дом какие-нибудь добрые люди. Еще лучше, если взяли ее к себе горные погранич-
ники или, допустим, милиция — они ведь в собаках понимают толк. Тогда я спокоен за Рекса. Но если... Иногда я встречаю на улицах да по дворам всяких бродячих, ничейных псов. Они роются на вонючих помойках. Завидев идущего мимо человека, слегка повиливают хвостом: мол, проходи, не бойся, не укушу, — а сами, бочком-бочком, опасливо отодви-
гаются в сторону, готовые броситься наутек: вдруг тот прохожий человек нагнется за камнем...

В свой первый же отпуск, который мне дадут, когда я буду работать, я съезжу в город Ашхабад.

И на первую же зарплату, которую я получу, куплю себе овчарку, щенка. И назову его Рексом.

Этой возможности уже недолго ждать. Скоро мне стукнет семнадцать. Получай бумагу о среднем об-
разовании и иди на все четыре стороны.

Можно, конечно, попробовать выбиться в студен-
ты — авось, примут. Но это значит снова учиться, опять кантоваться на койке общежития, получать студенческую стипендию... Нет, право же, этого я и сейчас нахлебался досыта.

Уж куда соблазнительней податься в дальние
края, в прекрасные края, вроде тех, откуда мне шлет иногда письма один мой давний приятель. Он сообщает, что жизнь хороша, и ребята что надо, и девушки там на подбор, и получает он на руки двести пятьдесят в месяц.

А разве мне это заказано? Вот я, молодой чело-
век, жаждущий романтики, сажусь в поезд, ту-ту — и передо мной открываются неведомые горизонты, и там, впереди, уготованы мне и первый успех, и первая слава, и первая любовь, и первое разочаро-
вание...

Знакомая музыка.

— Ну, а что, если — говоря как на исповеди, хотя я и не знаю, как там бывает на исповеди, — если в мои неполные семнадцать лет у меня все уже это было?

Было. Всё.

И дорога в неведомый мир. И первый успех. И слава. И первое разочарование. И первая любовь. И даже вторая.

Если я — вот в эти мои неполные семнадцать лет — знаю, что все, чем могла побаловать меня судьба, уже не впереди, а позади...

Смешно? Ну, кому смешно, а лично мне вовсе не смешно. И даже разговор об этом неохота заводить. Уж лучше завести пластинку. Правда, проигрыва-
тель у меня неважный, с подвывом, к тому же не свой, а казенный. И пластинка заиграна, шепелявит каждой бороздкой, потому что я ее очень часто кручу, но пластинка не казенная, своя. Она уже старая, эта пластинка, четырехлетней давности. Но кое-что еще можно услышать.

Вот.

Это пока вступление. Оркестр. Он постепенно убыстряет темп, нагнетает звук. Будто разбег. А теперь:

Как трубно,
как трубно,
как трубно
Ревут на подъеме винты,
Как трудно,
как трудно,
как трудно
Начальной достичь высоты...

И голосу тоже трудно. Он начал с низов, этот поющий голос, как бы от самой земли, а если сам голос высок, начинать с низов труднее, чем сразу взять верха.

Теперь оркестр изменит тональность, и голосу придется петь ту же самую мелодию на два тона выше. А мелодия и сама движется вверх. Выше, еще выше... И вот уже совершенно немыслимая вы-
сота — немыслимая для мужского голоса. Для жен-
ского сопрано она еще достижима. Но ведь в то-
то и дело, что голос этот не женский. Для такой песни никак не годился бы женский голос, для этой мужественной песни:

Антенны,
антенны,
антенны.

Вы слышите голос Земли,
Антен,
Антен,
Антен,
Летающие в звездной пыли!

Все-таки надо убавить громкость.

Ведь за стеной спят мальчишки, мои подопечные из третьего класса: мертвый час, тихий час, или, как он там еще называется, этот час, когда детворе среди бела дня заставляют спать, а они, конечно, спать не желают, бузят втихую, рассказывают анекдоты, хохочут, уткнувшись в подушки... А как войдешь, глаза у всех зажмурены, будто спят крепким сном, даже похрапывают.

Я у них пионервожатый. Сейчас каникулы. И, увы, каникулы уже кончаются — последняя неделя августа.

Нынешним летом мы опять живем близ Верей: есть такой старинный городок, кто бывал, тот знает, а кому не довелось — не много потерял.

Но природа здесь вполне приличная. Речка есть, Протва, хотя и холодная очень. А так леса, леса. И на территории нашего пионерского лагеря большой плодовый сад.

Как раз под моим окном растет яблоня. Сейчас на ней уже зрелые яблоки. Много. Рвать их нам разрешают, и мы их рвем и едим сколько влезет, хрумкаям, а будто и не убавляется — столько этим летом яблок. Вся Верея и все окрестности Вереи — сплошные яблоки. Местная ребятня вместо камней швыряет друг в дружку яблоками. И по речке Протве почему-то все время плывут яблоки...

Антенны,
антенны,
антенны...

Так вот, об этой яблоне, что под моим окном.

Когда в самом начале лета мы приехали сюда, еще все яблони были в цвету. И эта моя яблоня тоже была вся в белых цветах. А каждый цветок — это будущее яблоко. Я тогда посмотрел на эту сплошную, без единой прогалины, белую, чуть розоватую пену и подумал: господа, сколько же это в конце концов окажется яблок на одной-единственной яблоне? Миллион?..

Потом цвет сошел. И впрямь, на месте каждого цветка оказалась завязь. Завязи быстро крупнели, набухали и вскоре стали вполне похожи на маленькие яблочки. Конечно, есть их пока было нельзя — жуткая кислятина, слезами изойдешь.

Но с каждым днем круглые комочки делались все больше.

И тут я стал замечать, что они, эти еще не созревшие яблоки, стали осыпаться. По ночам, при полном безветрии, я слышал сквозь сон, как они сыплются наземь. Поутру ими был усеян весь круг, что под сенью яблони.

Сначала я заподозрил, что это мои подопечные мальчишки из баловства, из озорства, из общеизвестной мальчишеской страсти ко всякому разрушительству трясут дерево — и эти зеленые кислицы падают дождем.

Но мальчишки дали мне честное слово, а я им верю.

Тогда я испугался, что, может быть, это большое дерево заболело какой-то болезнью. И с тем я пошел к садовнику, которого мы прозвали Спотыкач, потому что на самом деле он был Ерофеич. Я поведал ему о своих наблюдениях, повел его к своей яблоне.

— Нет, — сказал Спотыкач, оглядев дерево и падалицы вокруг него, — яблоня здорова. Все в порядке.

— Но почему же?... — удивился я.

— Видишь ли, сынок, — вздохнул Ерофеич, — природа все, понимаешь, с запасом делает. Со страховкой... Могли, например, заморозки цвет попортить, могло побить градом. Птицы могли склевать завязь. Однако все обошлось этим летом — хорошее нынче лето.

— Да, — согласился я.

— Так вот. Теперь, ежели бы всем этим яблокам выжить, каждому дойти до полной зрелости, то пропало бы само дерево. Оно бы такого не выдержало груза, пообломались бы ветки от тяжести... И вот она, яблоня, сейчас сама лишнее скидывает. Отряхает заранее. Чтобы ей под конец выдюжить... Понял?

— Да, — кивнул я.

— Вот и ладно, — закончил беседу садовник. — Так что ты не волнуйся. Все идет, как положено. Яблок с этого дерева и тебе и твоим огольцам вполне хватит — будет их столько, сколько надо. Лето нынче хорошее.

Он не ошибся, Ерофеич. Он оказался прав.

И яблоня оказалась права, когда она избавлялась от лишнего. Вон сколько на ней сейчас налитых, спелых, ярких, замечательно вкусных яблок.

...Антен,
Антен,
Антен,
Летающие в звездной пыли!

Ну, хватит. Надо побережь пластинку. Ни в одном магазине теперь ее уже не купишь.

Между прочим, это моя пластинка. Не то что моя, а не казенная, как проигрыватель, а совсем в другом смысле — моя.

Именно я пою на этой пластинке. Я — Женя Прохоров.

2

А там, в Липецке, тоже было очень много деревьев. Там, я помню, весной тоже цвели яблони, вишни, черемуха. Но я тогда еще плохо различал, где какое дерево. Наверное, там больше всего было лип — поэтому, я думаю, и город назывался Липецком.

Это я очень хорошо помню: деревья огромные, раскидистые, заслоняющие небо.

Вообще-то я очень мало что запомнил из той моей детской, детдомовской поры. Разве что накрепко врезались в мою память какие-то совсем незначительные и пустяковые вещи.

Есть такое выражение — нить памяти.

Так вот для меня этой нитью, самым ее началом, и вправду оказалась нить — простая нитка. Белая нитка, которой было обметано по краю мое байковое одеяло. Ночью я этим одеялом укрывался и спал под ним. Зато в мертвый час (там он, конечно, был тоже) я нашел себе прекрасное занятие, позволявшее этот час скоротать. Я потихоньку распутывал белую нитку. А она была заплетена довольно хитро — уголками, загогулинами. Поэтому работа была довольно кропотливая, медленная: за каждый мертвый час я успевал распутать всего две-три загогулины. А их на одеяле было сто или даже больше — я тогда еще не умел считать далее ста. Кроме того, такой же белой ниткой был обметан и другой край одеяла, тот, что в ногах. И, покончив с одним краем, можно было приняться за другой. Стало быть, этой работы мне бы хватило очень надолго.

Однако мне не суждено было завершить начатого дела — я добрался всего лишь до половины верхнего края, и на том все оборвалось.

В один прекрасный день нас собрали в самой большой комнате детдома, где мы обычно играли в разные игры, водили хороводы, пели, а еще там делали утреннюю зарядку.

Это была большая комната, увешанная разноцветными флажками и гирляндами, которые мы сами вырезали и клеили. И висел там портрет Володи Ульянова — когда он еще был кудрявый мальчик, когда он еще не знал, что он Ленин.

В этой большой комнате стояло пианино, на котором Роза Михайловна — наша музыкальная воспитательница — играла, когда мы плясали и пели. А потом это пианино заперли на ключ.

То есть сперва его оставляли незапертым, и, понятное дело, то один из нас, то другой, пробегая по залу, не отказывал себе в удовольствии поднять крышку: трам-блям... чи-жик, пы-жик...

Я тоже себе не отказывал. Только мне вовсе не хотелось заниматься этим на ходу, на бегу. Я залезал на вертящуюся табуретку, усаживался поосновательней и брался за дело. Тыча в клавиши одним пальцем, я наигрывал разные песни, которые слышал по радио — у нас в спальне висел репродуктор. Нет, это было удивительно интересно: тычешь в белые, в черные клавиши — и получается настоящая песня, только без слов. Правда, на первых порах я частенько ошибался и ударял не в попад, не по той клавише, по соседней, и вот, когда случалось такое, меня всего передергивало, будто тебя кто ущипнул, выдавал по лбу крепкий щелчок: мы ведь друг другу иногда выдавали...

Но постепенно я стал разбираться во всех этих бесчисленных клавишах, они все уже были знакомы мне, и еще до того, как нажать костяшку, я заранее знал, каким она ответит голосом. К тому же выяснилась одна презабавная хитрость: ту же самую песню можно было сыграть и левой, и правой, и посередке, только при этом выходило, что если у левого края, то песню эту вроде бы тянет бородастый такой толстобрюхий мужичище, а если у правого края, — то будто бы даже не человеческий голос выводит эту песню, а птичий, совсем маленькая птичка, вроде канарейки. Посередке же было в самый раз.

А потом мне надоело всю эту работу делать одним пальцем: пальцев-то у меня было порядочно — на одной руке пять и на другой руке пять. Чего им бездельничать? И я их, голубчиков, всех до единого запряг в дело. Десять пальцев — десять клавишей. Ну-ка, дружно... Однако первые опыты дали то же, чего без лишних забот добивались мои детдомовские сверстники, шлепая ладонями: трам-блям... хоть уши затыкай!

Лишь постепенно я разобрался, что к чему. Я, потев от усердия, ошупью находил нужные клавиши и как бы подцеплял их одну к другой: вот эта годится... эту же прочь, долой, фу... А эта? Эта нужна, этой мне как раз и не хватало для полной, для яркой, для жуткой, для распрекрасной красоты!

В общем, я не знаю, как бы еще далеко я продвинулся в своем знакомстве с этой чудной штуковиной, стоявшей в зале, однако тут все и кончилось. Роза Михайловна пожаловалась заведующей, что в ее отсутствие дети варварски обращаются с инструментом, и пианино заперли на ключ. Крышка. Я погоревал. Но не умер.

Так вот, в тот самый день нас привели в зал, выстроили в две шеренги. Роза Михайловна открыла ключиком пианино и села на табуретку. Пришла также Вера Ивановна, заведующая нашим детдомом: она довольно часто приходила послушать, как мы поем, пляшем, и в этом не было ничего необычного.

Необычным было лишь то, что вместе с Верой Ивановной пришел представитель.

Все чужие взрослые люди, появлявшиеся иногда в нашем доме, назывались представителями. Нам так и говорили: «Ребята, сегодня вы должны сидеть за обедом особенно тихо и дисциплинированно, потому что к нам придет представитель». Или же: «Дети, когда к вам в спальню придет представитель, чтобы вы все уже были в постелях и спали, как полагается: глаза закрыты, правая ладошка под щекой, а левая рука вытянута поверх одеяла».

Они появлялись время от времени, эти представители. Заглядывали нам в тарелки, смотрели, как мы лежим с закрытыми глазами. Они, наверное, проверяли, хорошо ли нам живется, правильно ли нас воспитывают, не объедают ли нас поварахи. Вообще-то зря они ходили да проверяли. Потому что жилось нам хорошо, и воспитывали нас очень правильно, и поварахи нас не объедали — они себе на кухне отдельно готовили.

Но явившийся в тот день представитель на кухню не заглядывал и в спальню носа не совал, а сразу прошел в большую комнату, где пляшут и поют.

Был он очень высокого роста. В круглых очках. Немножко седой и немножко лысый: седоватые волосы росли у него чуть отступая ото лба, как бы добавляя его большому лбу еще немного лба. На представителе был серый костюм и синий галстук в крапинку.

Он уселся на стул прямо против нас, а рядом с ним села Вера Ивановна. Она тихо о чем-то спросила представителя, тот кивнул головой.

Роза Михайловна положила руки на клавиши.

Ходила младшенька
По борочку-у,
Брала, брала ягудку
Земляничку...

Хор наш пел изо всей мочи. Но, хотя мы все знали эту песню, у нас почему-то не получалось полного лада. Одни пели в лад тому, что играла на пианино Роза Михайловна, а другие вовсе не в лад, будто нарочно, — слова те же самые, а музыка совсем другая. Кто в лес, кто по дрова. Ну, да мы ведь еще маленькие были, какой с нас спрос?

Я, между прочим, заметил, что, покуда мы это пели — про младшеньку, про земляничку, — представитель очень странно вздрагивал, лоб у него страдальчески морщился, а губы кривились, будто у него что-то болело, но он старался героически превозмогнуть эту боль.

И еще я заметил, что, хотя мы пели все вместе и, конечно же, в этой разноголосице было совершенно невозможно отличить, где чей голос, он, представитель, вдруг вперялся своими очками то в одного из нас, то в другого, будто бы старался угадать, кому какой голос принадлежит.

И мне показалось, что в какой-то момент он вперился очками именно в мое лицо и долго не сводил с меня этих круглых настырных очков...

— А теперь, — сказала Роза Михайловна, — все остальные помолчат, а Саша Тиунова споет одна... — И снова ударила по клавишам.

Вот летит и жужит пчелка золотая...

Глаза представителя как-то сразу подобрели.

Потому что пела Саша Тиунова. Уж очень хорошо она поет.

Вообще она хорошая девочка, Тиунова Саша. Мы с ней давно дружили. Мы с ней подружались с тех пор, как на прогулках меня с ней поставили в пару: известно ведь, как нас водят — по двое, один другого держит за руку. Так вот я ее, Сашу, и держал за руку. А потом мы с нею еще больше подружи-

лись: всегда играли вместе, разговаривали. И тут нашлись среди нас такие, которые стали дразниться. И я одного такого как следует отдубасил. Мне, конечно, попало от воспитателей. И они на всякий случай разменяли нашу пару: Сашу Тиунову поставили с другим мальчиком, а меня с Зинкой Гвоздевой, ужасно сопливой девчонкой, у нее всегда насморк, она то и дело утирает нос ладошкой, а затем сует эту ладошку мне, чтобы я за нее держался.

Но мы с Тиуновой Сашей по-прежнему дружим. Я люблю слушать, как она поет. У нас она поет лучше всех. Среди девочек, конечно. Потому что среди мальчиков лучше всех пою я. Хвастаюсь? А вот сейчас...

— А сейчас,— сказала Роза Михайловна,— мы споем песенку про веселых гусей. Запевает Женя Прохоров.

Я набрал ртом побольше воздуха и, дождавшись, когда Роза Михайловна врубится в клавиши, затянул:

Жили у бабуся
Два веселых гуся...

Тут вся остальная компания подхватила:

Один серый, другой белый,
Два веселых гуся...

Причем все куда-то страшно торопились, чистили, тараторили. И Роза Михайловна очень быстро колотила по клавишам.

Не знаю, может быть, эту песню и следует петь так быстро. Но мне почему-то хочется петь ее медленно, вытягивая все эти трудные «и-и». Я даже нарочно переиначивал немного слова, чтобы почаще случалось высокое и звонкое «и-и»: «Жили у бабуся-и-и два веселых гуся-и-и...»

А дело в том, что у меня очень высокий голос. Он даже выше, чем у Саши Тиуновой. Может быть, мальчишеский голос и не имеет права быть выше девчоночьего, но что поделаешь, если это так, если выше?

— А теперь,— сказала Роза Михайловна,— наши девочки станцуют «Молдавеняску»...

Однако представитель вдруг наклонился к сидящей рядом Вере Ивановне и что-то ей сказал на ухо. Она ответила, недовольно пошевелив бровями. А он ей опять что-то сказал. Вера Ивановна пожалала плечами. Но потом встала и объявила сдержанно:

— Не нужно, Роза Михайловна... Дети, вы все можете идти гулять. А Женя Прохоров, ты останься. Ребята с радостным визгом бросились к дверям. В большой комнате остались только Вера Ивановна, Роза Михайловна, я и он—этот представитель, который что-то уж больно здесь распоряжался.

— Подойди,— сказал он мне.

Я подошел.

— Значит, тебя зовут Женя Прохоров?

— Да.

— А меня—Владимир Константинович,— представился он. И еще добавил: — Наместников.

Ну и что? Мало ли каких потешных фамилий не бывает на свете! Вот хотя бы в нашем детдоме есть один мальчик, у которого фамилия—Заваруха. Честное слово.

— Женя,— сказал представитель,— ты можешь еще мне спеть?

— Могу,— ответил я.— Я все песни знаю.

— Все?

— Все...

Я и вправду знал очень много песен, потому что в нашей спальне, как я уже говорил, было радио—

висел репродуктор. Я всегда слушал, что передают из этой черной тарелки. И все песни, которые передавали, я быстро запоминал—и слова и музыку. Иногда с первого раза, иногда со второго, в крайнем случае с третьего, но запоминал крепко.

— Так что же ты споешь?

— Владимир Константинович,— сказала Роза Михайловна, покраснев,— но я не смогу аккомпанировать... у меня с собой нету нот.

— Пустяки,— ответил представитель.— Это не обязательно. Мы обойдемся без аккомпанемента. И так?..

Я отступил на три шага, закинул голову.

Я спел ему свои любимые песни: «Лучше нету того цветку», «Ходит по полю девчонка», «Шаланды, полные кефали...».

И покуда я пел эти песни, Владимир Константинович то улыбался, то хмурился. Но больше улыбался. И слушал.

— А еще,— сказал я, помявшись,— можно я спою одну песню? Только...

— Разумеется,— кивнул представитель.

— Какую?— встревожилась Вера Ивановна.

— Только... эту песню по радио не дяденька поет, а тетенька...— Я смутился, сообщив об этом. Кроме того, я знал песню не до конца, а лишь самое начало. Но мне очень нравилась эта песня.

— Пожалуйста,— разрешил представитель.

Я отступил еще на два шага. Сглотнул комочек в горле, потому что, едва я вспоминал эту песню, мне вдруг делалось грустно. Это была довольно грустная песня.

В ясный день желанный
Пройдет и наше горе.
Мы увидим в дали туманной
Дымок, вот там, на море...

Мне всегда, когда я слушал и пел эту песню, так ясно представлялось море, которого я никогда не видел, и этот дымок, этот корабль, которого я тоже нигде не видел, кроме как в кино, и еще мне представлялась какая-то очень красивая тетенька, которая стоит на берегу и ждет-дожидается, покуда появится корабль... И я догадывался, что ничего она не дожидается.

Я уж говорил, что не знал до конца этой песни, я знал только начало. Но мне и не пришлось бы ее допеть.

Потому что, едва я пропел самое начало, этот представитель, Владимир Константинович, вдруг снял свои очки, вытащил из кармана платок и стал им утирать глаза: они у него покраснели, заслезались. Наверное, от этой песни ему стало так же грустно, как обычно делалось мне.

— Это «Чио-Чио-Сан»,— сказала Роза Михайловна Вере Ивановне.

У Веры Ивановны глаза были спокойные. Она теперь успокоилась. Она, должно быть, вначале боялась, что я спою что-нибудь слышанное невзначай на улице.

Но тем дело не кончилось.

— Так!—весело сказал Владимир Константинович и снова водрузил на нос очки.— Так. А теперь, Женя, поди-ка сюда...

Он направился к пианино и сел на вертящуюся табуретку, которую поспешно уступила ему Роза Михайловна. Ишь ты, значит, этот представитель умел играть на пианино! Я еще никогда не видел представителей, которые умели бы играть на пианино.

— Женя, я сейчас сыграю мелодию. А потом ты прохлопай ее ладонями.

Он сыграл.

Я прохлопал.



Он еще сыграл, что-то другое. Я и другое прохлопал. Вот уж чепуха. Ничего нет легче. Ладушки-ладушки.

— Хорошо,— сказал Владимир Константинович.— Теперь я нажму клавишу, а ты пропой этот звук.

Он нажал. Я пропел. Тогда он нажал другую, повыше. Я заголосил выше. Он — еще выше. И я еще выше...

— Неверно! — вдруг закричал представитель и сверкнул очками: — Не так!

— Так,— ответил я ему.

— Нет!

— Да.

Не больно-то я испугался. На нас, детдомовских, вообще кричать не разрешается. За это и попасть может, будь ты хоть какой представитель.

— Хорошо, я сыграю еще раз,— сказал Владимир Константинович.— Слушай внимательно...

Он нажал. И вдруг, склонясь, стал ожесточенно тыкать пальцем в эту черную клавишу. Кажется, он опять страшно рассердился. Но похоже, что теперь не на меня. Потому что, круто вертанувшись на табуретке, он воззрился уже на Розу Михайловну с Верой Ивановой:

— Скажите, пожалуйста, сколько лет назад вы приглашали пастройщика?

— Видите ли, у нас по смете...— начала Вера Ивановна. Но, взглянув на меня, прервала свою мысль: — Мальчик может идти?

— Да,— ответил представитель.

— Иди, Женя,— сказала Вера Ивановна.

А я и так уже давно прислушивался к тому, как за окошком, во дворе, орут и визжат ребята. У них там, судя по всему, было весело. Не то что здесь.

— До свиданья,— сказал я представителю.

И побежал к своим.

Но поздно вечером, когда мы все ложились спать, и разделись уже, и залезли под одеяла, в комнату вбежала вдруг наша нянечка, няня Дуня, запыханная вся, раскрасневшаяся: она хоть и молодая была, няня Дуня, но довольно толстая.

— Прохоров Женя... Тебя Вера Ивановна зовет. Быстро, быстренько!

Пришлось мне снова одеваться.

Петька Заваруха, который надо мной спал, на втором этаже — у нас двухэтажные были кровати, — свесился оттуда, со второго этажа, спросил с любопытством:

— Зачем тебя, а? Ты чего натворил?

— Не знаю...

Я и впрямь не знал, зачем. Вроде бы я ничего такого не натворил. Может быть, за то, что я нынче невежливо спорил с этим представителем?

В коридоре было темно.

Но под дверь, что вела в кабинет заведующей, лежала полоска желтого света. И еще одна тоненькая полоска вырывалась из-за самой двери, которая была неплотно притворена.

И когда я подошел к этой двери и остановился в некоторой робости, я услышал голоса там, за дверью:

— ...о человеческой судьбе. И я не вижу в том, что вы рассказали, никакой гарантии...

Это был голос Веры Ивановны.

— Стопроцентных гарантий вообще не бывает.

Это был голос представителя. Значит, он еще не уехал.

Я стоял под дверью. Я слушал, сильно робея и ничегошеньки не понимая. Я и слов-то таких не знал и не мог тогда знать: гарантия, проценты... А коли не знал, то как же мог их запомнить и пересказывать теперь весь этот непонятный для меня разговор? Может быть, я привираю, сочиняю? И уж не сочинил ли я тем же способом всю эту занятную историю? Может, я и про собаку сочинил? И про мою граммофонную пластинку? Мы ведь, детдомовские, горазды сочинять...

Нет. Не сочиняю. Не вру. Все это было на самом деле.

Однако в эти нынешние неполные семнадцать лет многое, конечно, уже позабылось, просто выскочило из головы: нельзя же помнить минуту за минуту каждый свой прожитый час, каждое сказанное тобой и слышанное тобой слово — ни в одну память такое не втиснется.

Поэтому я должен признаться заранее, что, может быть, и этот вечерний разговор, который я слышал, стоя под дверью, и другие, еще не состоявшиеся, еще даже не начатые разговоры я буду пересказывать так, как нынче они мне представляются и слышатся.

Ведь с тех пор я немного поумнел. Умудрился чуточку.

И я вполне могу себе представить, что именно сказал бы я в тот решающий вечер, будь я на месте Веры Ивановны. И равным образом хорошо представляю себе, что ответил бы я на доводы нашей заведующей, будь я на месте Владимира Константиновича Наместникова.

— Стопроцентных гарантий вообще не бывает,— ответил он.

— Ну, знаете ли...— вздохнула Вера Ивановна. — Можно сказать с уверенностью, что из него всегда получится хороший слесарь, электрик, может быть, потом инженер. А в вашей области... Владимир Константинович, я давно работаю в системе образования. И помню случаи, среди старших: вообразили о себе невесту что или соблазнил их кто-то — полетели, понеслись... И только крылышки обожгли.

— Не спорю. Чаше всего так и случается.

Скрежетнули ножки стула, раздалися шаги. Вероятно, гость встал и теперь прохаживался по кабинету из угла в угол.

— Но поймите, любезная Вера Ивановна, поймите. Талант — это такая редкость! Едва ли не редчайшее из всего, что есть на свете. И упустить его, потерять — это преступление. А здесь — явное чудо...

Мне вдруг сделалось очень неловко. Хотя я и был маленький, но уже знал, что подслушивать стыдно.

Поэтому я постучал в дверь и вошел. Сказал:

— Здравствуйте.

Вера Ивановна сидела за письменным столом. А представитель, Владимир Константинович, направился прямо ко мне, положил на мое плечо руку:

— Женя, ты хочешь научиться петь?

Вот еще новости. Я даже обиделся:

— А разве я не умею петь?

— Нет,— сказал он. И повторил: — Конечно, нет! Я взглянул на Веру Ивановну, ища у нее защиты от этой ужасной несправедливости.

Но наша заведующая сидела сейчас, опустив голову, не смотрела на меня. Будто она нарочно избегала моего взгляда.

— Ты поедешь в Москву. И будешь учиться в хоровом училище,— продолжал Владимир Константинович, по-прежнему держась за мое плечо своими цепкими пальцами. — Ты будешь петь в настоящем хоре. В Москве. Тысячи мальчиков хотят поступить в наше училище, но...

Он говорил еще что-то, чего я сейчас не упомяну.

Но, кажется, я ничего больше не слушал, ни о чем не думал, потому что услышал одно: «В Москве...»

Впрочем, нет. Кое-какие соображения у меня тогда появились. Кое о чем я успел подумать, выдвинул некоторые условия. Я спросил:

— А Тиунова Саша поедет? Вы ее тоже возьмете?

Владимир Константинович с сожалением развел руками:

— Это невозможно. У нас учатся только мальчики. Это Хор мальчиков.

Понятно.

— А ваши мальчики сильно дерутся?

Он снял руку с моего плеча, потер свой обширный лоб и, вздохнув, ответил:

— Бывает.

3

Перво-наперво меня изолировали от общества. От общества, в котором я жил и рос с тех пор, как себя помню.

На следующее же утро няня Дуня взяла меня за руку и увела к себе домой, потому что именно ей, няне Дуне, было поручено отвезти меня в Москву,

а перед этим подготовить должным образом к отъезду.

Няня Дуня мне объяснила, что я должен пройти карантин. Так велел, дескать, профессор. Оказывается, этот представитель, Владимир Константинович Наместников, был еще и профессором. И он, уезжая, потребовал, чтобы я прошел карантин, хотя в нашем детском доме тогда никто не болел и я сам не болел, но кто мог перечить профессору?..

Няня Дуня взяла меня за руку, а под мышкой у нее был какой-то сверток, и повела меня к себе домой. Жила она на самом краю города, в избушке на курьих ножках.

И там я провел целых три дня, изнывая от скуки, потому что сразу же затосковал по своим детдомовским приятелям, и вообще в детдоме было куда веселее, чем здесь.

Моя скука была нарушена только однажды.

Как-то, на ночь глядя, в избушку к няне Дуне явился гость: солдат в погонах, фуражке и огромных сапогах. Он к тому же, мне показалось, был немного пьяный: от него сразу по всей комнате запахло, а в кармане его шаровар тоже что-то топырилось и побулькивало.

Няня Дуня сначала очень испугалась, когда пришел этот солдат, и все старалась загородить его от моих глаз, все пыталась вытолкнуть его за дверь. Но солдат не поддавался и громко выражал свое недовольство тем, что его так плохо встречают. Тогда няня Дуня сама рассердилась, шепотом заругалась на солдата, посулила ему, что вообще его больше ни в кои веки сюда не пустит. А когда и эта угроза не поколебала бравого солдата, няня Дуня показала на меня и произнесла магическое слово «карантин». Вот тут-то солдат сразу же унялся, отдал честь и, повернувшись кругом, вывалился за дверь.

А на завтра мы с няней Дуней приехали на вокзал.

Здесь меня ждала приятная неожиданность. Не взирая на карантин, меня пришли провожать.

Пришла сама Вера Ивановна, заведующая нашим детским домом, а с нею была Тиунова Саша. Уж не знаю, почему Вера Ивановна привела именно Сашу Тиунову, может быть, она вспомнила, как я упрашивал профессора Наместникова, чтобы эту девочку тоже взяли в Хор мальчиков.

Вера Ивановна достала из своей сумки большую коробку конфет, перевязанную лентой, и вручила эту коробку мне.

А Тиунова Саша вынула из кармана платочек с вышивкой в уголке и каемкой.

— Это тебе на память, — сказала она. — Это я сама вышивала.

— До свиданья, Женя, — сказала Вера Ивановна. — Веди себя хорошо. И не забывай свой родной коллестив.

Потом мы с няней Дуней залезли в вагон, помахали им из окошка, поезд тронулся, и Вера Ивановна, Саша Тиунова, вокзал, весь этот зеленый город Липецк, где я жил да был, — все это поползло вбок и скрылось из глаз...

Вообще-то я имел намерение всю ночь смотреть в окно; ведь я впервые с тех пор, как себя помнил, ехал в поезде и мог взглянуть на мир.

Но был уже поздний вечер. За окошком стало совсем темно. Только изредка проносились мимо фонари.

Мне захотелось спать. И я заснул.

А утром уже была Москва.

Какая она была?

Признаться, я и по сей день не могу избавиться от

того самого первого и ошеломляющего впечатления, которым меня одарила столица.

Дело в том, что она оказалась под землей.

Едва мы с няней Дуней вышли из поезда, нас подхватил крутой гомонящий людской поток и понес. Куда?..

У няни Дуни в руке была бумажка, на которой значился адрес того места, куда нам надлежало явиться, и она, няня Дуня, заслоняя меня своим широким телом от прущей толпы, от грузных чемоданов, норовящих садануть меня прямо по голове, все пыталась остановить кого-либо: «Дяденька... Тетенька...» — но никто ей не отвечал, никто и не взглянул на эту бумажку, а только подталкивали нас в общем для всех направлении. И, как выяснилось вскоре, это и было самым надежным и верным ответом.

Лишь несколько минут я видел над собой клочок синего неба, а потом оно исчезло.

Мы очутились в метро.

Тут няня Дуня снова (она ведь тоже впервые приехала в Москву) попыталась сделать кое-какие уточнения по бумажке, но ее лишь подталкивали к кассе, потом к перилам, а потом к диковинной лестнице, где ты стоишь, а она сама бежит под уклон.

Уже внизу няня Дуня, вспотевшая и растерянная, обратилась к гражданину, который среди всей этой суеты спокойно сидел на лавке и читал газету:

— Дяденька, нам надо на станцию «Краснопресненская». С какой стороны садиться, а?

— «Краснопресненская»? — переспросил дяденька. — С этой стороны. — Но, как только мы двинулись в указанном направлении, он сказал нам вслед: — А можно и с той. Одинаково. Кольцо.

— Тыфу! — отблагодарила его няня Дуня и поволокла меня к поезду.

Потом мы долго мчались по темному подземелью.

Я слегка испугался, я не мог понять, как же в такой крошечной тьме машинист находит дорогу — вдруг он свернет не туда, куда нужно, вдруг заблудится в потьмах, заедет туда, откуда и выхода нет?..

Но через какие-то промежутки времени поезд сбавлял ход, и мы оказывались на ярко освещенной станции. Вроде той же, где садились, но на другой: там были другого вида стены, другого цвета украшения. Люди с чемоданами вываливались плотной гурьбой из дверей, а им на смену вваливалась другая гурьба с такими же точно чемоданами.

И опять мчался поезд в темноте. И опять замедлял ход. И опять люди с чемоданами шли стенка на стенку.

Уже впоследствии, когда я прожил в Москве немало лет, вдоволь покатавшись на метро, привык самостоятельно и безошибочно выбирать кратчайший путь в подземных лабиринтах и, конечно же, как и все, оценил удобства и блага этого вида сообщения, я все равно не мог избавиться от мысли, что сначала было метро, а потом уж на нем, как на подставке, как на мраморном фундаменте, построили ту Москву, что снаружи: и Кремль, и Большой театр, и Новодевичий монастырь, и памятник Пушкину, и Планетарий, — но вначале было метро...

А няня Дуня зря волновалась. Потому что все оказалось совершенно правильно. Была права толпа, затолкавшая нас в подземелье, был прав дяденька с газетой, заявивший, что все равно, с какой стороны садиться. Это подтвердил трубный голос, раздавшийся в вагоне:

— Станция «Краснопресненская»!

Она-то нам и требовалась.

Мы поднялись по эскалатору и очутились на шумном перекрестке улиц. Мчались автомобили. Ползли троллейбусы. Скрежетали трамваи. Свистели милиционеры. Сновали прохожие.

Значит, это и есть Москва? Я оглянулся... И ахнул.

Подле станции метро вознеслась каменная гора. Она была отчаянно высока, и острые пики, стремящиеся в небо, еще больше подчеркивали эту высоту. И она, гора, была вместе с тем чудовищно громоздка — с предгорьями, перевалами, отрогами. И она, эта гора, была домом. Окошки, окошки, бесчисленное множество окошек... Наверное, в один такой дом можно было бы вселить целый Липецк!

Я сравнил высоту этого дома-горы с глубиной того подземелья, откуда мы только что выбрались, и у меня вдруг закружилась голова, я ухватился за руку няни Дуни...

— Ох, бедный ты мой! — воскликнула няня Дуня. — Ведь еще и не кушал с утра, не завтракал, дитятко... С этой Москвой скаженной!

По счастью, тут же рядом, близ метро, тетка с корзиной торговала пирожками. Няня Дуня купила пирожков, горячих, маслянистых, золотистых, они оказались так вкусны, что мы их разом проглотили и губы облизали. Прелесть, что за пирожки в Москве!

Подкрепившись, мы уже без особого труда отыскали по записке то, что нам было нужно.

Большая Грузинская улица, дом 4/6.

За чугунной оградой росли густые тополя, и за ними едва проглядывал двухэтажный старинный дом. Придет черед, я еще расскажу подробнее об этом доме, где мне довелось провести десять лет своей жизни.

Но это после. Покуда же выяснилось, что нам нужно вовсе не сюда, не в этот красивый дом. В этом доме дети только учились. А жили совсем в другом месте — на Красной Пресне.

Мое долгожданное прибытие отметили в какой-то книге и велели топтать на Пресню. Мы и потоптали. Слава богу, это оказалось неподалеку. Миновав двор обшарпанного здания, мы отыскивали черный ход (нам так и сказали: «с черного хода»), а он и впрямь был черным — темнотища, хоть глаз выколи, поднялись на второй этаж, открыли дверь и очутились в коридоре, стены которого были окрашены тусклой масляной краской.

Навстречу нам вышла пожилая женщина в синем халате — то ли уборщица, то ли нянечка, — равнодушно справилась:

— Новенький?

— Да, новенькие мы, — подтвердила няня Дуня. — Вот привезла вам.

— Ну-ну, — вздохнула старушка. — Звать-то как?

— Женя. Он у нас хороший мальчик, Женечка. Послушный.

— Они у нас тут все хорошие, — согласилась старушка. И зачем-то взяла в руки прислуженную к стенке швабру. — Они у нас тут все послушные.

— А можно... робко начала няня Дуня. — Мне бы взглянуть хоть одним глазком, где он жить будет? Где спать будет?

— Загляни. Вон дверь.

Мы с няней Дуней подошли к указанной двери, приоткрыли ее.

— Мамочки!.. — тихо изумилась няня Дуня.

За дверью оказалась такая огромная комната, какой я еще не видал в своей жизни. Однако, несмотря на громадные свои размеры, эта комната казалась все же очень тесной, потому что она была сплошь — из конца в конец — уставлена железными койками. Их тут было, наверное, сто. (Я уж признавался, что далее ста в ту пору я еще не умел считать, и если было очень много — значит, сто.) Вот их и было тут сто — одинаковых, аккуратно заправленных коек. Но все они были сейчас пусты. И вся эта

огромная комната была пуста. Впрочем, нет: в самом дальнем углу виднелись чья-то голова и чьи-то ноги.

— Мамочки, — повторила няня Дуня, — да это же хуже нашего... — Но она тотчас припечатала ладонью собственный рот, и я так и не понял, что она хотела сказать.

— Ну, милая, досвиданькайся со своим парнем, — распорядилась старушка. — Тут чужим нельзя долго.

— Какая же я ему чужая? — возмутилась няня Дуня и заплакала. — Один ведь остается, дитятко...

— Оди-ин! Кабы один, а то их тут целая рота. Как все разом заведутся — хоть сбежи... А чужим тут задерживаться не велено.

Что ж, пришлось нам прощаться.

И на прощание няня Дуня вынула из торбы, отдала мне ту большую коробку конфет, что принесла на вокзал Вера Ивановна. А еще — тихонечко, секретно — положила мне в карман пятирублевку. Старую, конечно, какие они были тогда. Когда они еще были пять рублей, а не пятьдесят копеек.

4

— Звать?

Я сказал.

— Фамилия?

Я сказал.

— Откудава?

Я сказал.

— Та-ак... Подойди, Прохоров.

Я подошел.

— Рад, очень рад. — Он протянул мне два пальца. — Будем знакомы. — Он лежал на своей койке поверх одеяла, притом в ботинках, закинув ногу на ногу.

Я уж говорил, что когда мы с няней Дуней заглянули в комнату, где мне теперь предстояло жить, то в самом ее отдаленном конце заметили чью-то голову и чьи-то ноги.

Так вот, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что голова и ноги принадлежали разным владельцам. Голова принадлежала мальчику, сидящему на кровати, — это был очень маленький, очень смуглый, очень черноглазый, очень испуганный мальчик, по всей вероятности, тоже новичок. А ноги принадлежали тому, который лежал на кровати в ботинках.

Здоровущему дылде.

У дылды, конечно, тоже была голова. Было широкое, скуластое лицо, и вдобавок к нему уши лопухами, так что все лицо его поперек занимало гораздо больше места, чем если мерить ото лба к подбородку. А уж когда на лице появлялась улыбка...

— Что это у тебя под мышкой, Прохоров?

— Конфеты, — сказал я.

— Ах, конфеты. И, небось, шоколадные?

Дылда одним махом перенес ноги на пол. И заворачивал глазами:

— А известно ли вам, молодой человек, что шоколад вреден для голосовых связок? Вы зачем приехали сюда — учиться пению или поедать шоколад?

Я стоял ни жив ни мертв.

— Подать сюда эту мерзость!..

Я подал.

Он сноровисто потянул тесемку, раскрыл коробку, запустил туда пятерню и отправил сразу целую горсть конфет в свой широченный рот.

Скулы его заходили ходуном, глаза зажмурились, будто у кота, а пальцы продолжали рыться в коробке.

— Эт-то еще что такое?.. Бутылочка? С ликером? Пе-да-гогика!

Он, клацнув зубами, расколол шоколадную бутылочку и заглотал ее.

Через несколько мгновений в коробке осталось лишь несколько самых невзрачных конфет. Но он, наверное, уже больше не мог. Оттолкнул коробку.

— Угощайтесь... Но чтоб это было в последний раз!

А сам снова отвалился на подушку, протянул ноги, погладил живот.

— Маратик,— тихо и жалобно обратился он к черноглазому мальчику,— принеси водички. Там, в коридоре, бачок. И стаканчик там...

Черноглазый мальчик покорно направился к двери. — А тебя самого как зовут? — набравшись смелости, спросил я. Ведь состоявшееся знакомство было еще необходимо.

— Зови меня просто, по-дружески: Николай Иванович. Николай Иванович Бирюков.

— А ты в каком классе?

— В четвертом,— ответил дылда.— В четвертый перешел.

Тогда меня несколько не удивило, не озадачило, не рассмешило то, что дылда, величавший себя Николаем Ивановичем, всего-навсего, оказывается, перешел в четвертый класс и был, таким образом, лишь тремя годами старше меня. Теперь, конечно, я бы посмеялся, а тогда — вовсе нет. Ведь эта разница ничего не значит лишь для людей взрослых и для тех, кто уже метит во взрослые. А у детей это очень значительная и наглядная разница. Так, ученику второго класса любой первоклассник представляется ничтожной букашкой, мелкотой. А в глазах того же первоклассника ученик четвертого класса — это уже огромный и всемогущий мужичище, грозный обидчик либо надежный заступник.

И я тогда еще не знал, кем он для меня окажется — обидчиком или заступником, вот этот широкоскулый дылда, съевший мои конфеты.

— А ты... тоже поешь? — спросил я.

— Что-о?

Николай Иванович Бирюков снова вскочил с постели и опять завращал глазами:

— Как ты сказал? «Тоже»?.. А кто здесь еще поет, кроме Николая Бирюкова? Николай Бирюков — первый дискант, первый солист хора! Когда Бирюков берет си второй октавы...

Он стал в позу, раздул ноздри, потянул воздух, открыл рот...

И тотчас раздался совершенно безобразный, режущий ухо, пронзительный звук.

Я вздрогнул.

Но все же уловил, что этот жуткий крик вырвался не из горла Николая Бирюкова, а из окна — оно было распахнуто настежь.

— Кто это?

— Это? — Бирюков бросился к окну, повис на подоконнике. — Это розовый фламинго.

— Какой фламинго? — удивился я и тоже стал карабкаться на подоконник.

— Розовый.

— Почему?

— Вот чудак! У нас же здесь зоопарк.

Он подсадил меня.

Прямо под окном, в сотне шагов, за бетонным забором, за густым заслоном деревьев виднелась голубизна воды.

И было видно отсюда, как по всему зеркалу пруда — вдоль и поперек, стаями и поодиночке, поспешно и неторопливо — плыли птицы. Белые, черные, синие, зеленые, розовые. Птицы ныряли, били крыльями, галдели, пищали, свистели, кричали — и вот снова пронзительный, резкий звук перекрыл этот галдеж...

— Розовый фламинго! — восхищенно повторил мой сосед. — Во дает!

— Я никогда еще не был в зоопарке.

— Совсем никогда?

— Совсем.

— А пети-мети есть?

— Какие... пети?

— Ну, которые мети...

— А-а,— догадался я и вынул из кармана пятирублевку. — Есть.

— Так за чем же дело стало! — воскликнул Николай Иванович, соскакивая на пол. Он взял из моих рук бумажку, подозрительно глянул на меня: — Откуда дровишки?

— Няня дала. Няня Дуня.

— Ах, няня? Ах, Дуня? — очень обрадовался Николай Иванович и, присев на корточки, стал поочередно выбрасывать свои башмачищи. «Ах, Дуня ты, Дуня...» — напевал он при этом.

Подумаешь. Я бы тоже так смог.

— Мы идем в зоопарк, — решительно заявил он. — Дети, любите животных, они ваши предки!

Дверь отворилась, и Маратик появился в комнате. Он нес граненый стакан, стараясь не расплескать, скосив на него свои черные глаза.

— Благодарю. — Николай Иванович, запрокинув голову, единым духом выпил воду. А оставшиеся капли, оттянув на затылке рубашку Маратика, вытряс ему за шиворот.

Мы бродили по зоопарку целых три часа.

Мы видели слонов — большого слона и маленького слоненка. Видели белых медведей — за каменной оградой, утыканной железными зубьями, в глубокой ямине: один там нырял в озерко, а потом выныривал, отдуваясь и фыркая, другой же баловался на берегу — мял и грыз автомобильную шину. Потом мы видели бегемота, но не всего бегемота, а только его глаза, которые помещались на шишечках, торчащих над водой бассейна, сам же бегемот целиком ушел в воду и ни за что не хотел вылезать, сколько его ни звали, сколько ни бросали ему булок и баранок. Видели полосатого тигра и полосатую зебру. Пятнистого леопарда и пятнистого оленя. Хвостатого павлина и хвостатого кенгуру. И крокодила, притворявшегося бревном, и попугая, обзывавшего дураками всех желающих...

Я впервые в жизни видел всех этих диковинных животных.

А Николай Иванович уверенным шагом бывалого человека вел меня от клетки к клетке.

Народу в зоопарке собралась тьма-тьмущая. Все больше детвора. Потому что это был последний день летних каникул, а для многих, как и для меня, это был самый последний день перед самым первым днем школьной жизни.

Но мы обнаружили такой уголок зоопарка, где людей почти не оказалось. Во всяком случае, тут они долго не задерживались. Без особого интереса проходили мимо.

Потому что здесь за решетками были не какие-нибудь редкостные и удивительные звери, привезенные из жарких либо холодных заморских стран. Тут были самые обыкновенные звери: заяц, лиса, серый волк. Все они были в плохом настроении, ожесточенно металась из угла в угол, тоскливо выглядывали из своих дощатых конурок. Будто хотели сказать: а нас-то зачем сюда?... Ну, слон — это понятно, и бегемот — понятно, и жираф тоже — одна шея чего стоит! Мы и сами таких страшил никогда не видавали... Но нас зачем? Мы ведь свои, тутошние — выдь в лес и увидишь. А в клетку зачем же? Вон и лося

за решетку упрятали, и коров, даже простую корову с телятником и козу-дерезу... Эх, люди-люди!

За железными прутьями бегал от стенки к стенке пасмурный волк. Потом, намаявшись беготней, лег, положил голову на лапы.

— Как собака, — сказал я.

— А он и есть собака, — сказал Николай Иванович. — Это враки, что они злые, они совсем не злые. И на людей они никогда первыми не нападают. На них люди сами нападают, для денег, потому что за убитых волков много денег платят. Так ведь и за собак платят — этим, которые их по улицам вылавливают.

— Меня собака спасла, — сказал я.

— Как спасла?

Я объяснил ему вкратце, как меня спасла собака.

И пока рассказывал, пристально смотрел на него: верит ли? Не думает ли, что я все это выдумал?

Но Николай Иванович выслушал меня внимательно и сочувственно и, как я понял, нисколько не усомнился в правдивости этой истории. Головою кивнул.

Вообще я заметил, что сейчас, здесь, в зоопарке, у этих клеток с диковинными и простыми зверями, он, Николай Иванович, уже мало походил на того нахального и безжалостного дылда, которого я встретил в общежитии: который съел мои конфеты и налил воды за шиворот маленькому Маратику. Я предположил даже, что если собраться с духом, то окажется вполне возможным невзначай обратиться к нему не по имени-отчеству, а просто так: Коля.

— Пошли к обезьянам, — сказал Коля.

Мы пошли к обезьянам.

У обезьянника творилось что-то невообразимое. Толпа осаждала павильон. Взрослые лезли друг дружке на голову. А дети старались протиснуться у них меж ног.

Коля Бирюков, разбежавшись и пригнув голову, врезался в толпу. Я следом. Мы пробились. Однако тотчас же нас отгнали в разные стороны, разъединили, и я потерял своего спутника из виду.

Зато теперь я был у самой железной сетки.

Там, за этой сеткой, выдвигались обезьяны.

Они висели на хвостах, раскачивались на качелях, гонялись одна за другой. Миловались и ссорились. Почесывали животы, почесывали затылки, будто соображая, что бы еще такое учудить. Одна довольно пожилая обезьяна держала на коленях крохотного обезьянчика, придирчиво разглядывала его шерстку, вылавливала блох и казнила их. А другая мамаша поймала расшалившегося детеныша и как следует его отшлепала.

Публика подыхала от смеха.

Я тоже хохотал взахлеб.

Не знаю, может быть, все, что выделяли сейчас эти обезьяны, было их обычной обезьяньей жизнью. Но мне показалось, что обезьяны и нарочно стараются позабавить, распотешить публику. Как будто им даже очень приятно, что вот столько народу собралось именно у этого павильона — ни у одной клетки в зоопарке не бывает такой толпы; что тут и ноги отдавливают и пуговицы теряют, а все равно хохочут, до слез хохочут.

Я не меньше часа проторчал подле обезьян. И еще бы с удовольствием простоял часок.

Но я обеспокоился тем, что со мной рядом уже давно нет Коли Бирюкова. Я подумал, что, может быть, Коле не так любопытно, как мне, смотреть на этих обезьян: ведь он тут бывал уже много раз, не то что я — впервые.

Я выбрался из толпы с не меньшим трудом, чем туда забрался.

Посмотрел вокруг. Коли не было. Значит, он еще там, у клетки. Надо подождать.

Я сел на лавочку. Я долго сидел.

Люди, насмотревшись да нахотевшись, отходили от обезьянника. А на смену все шли и шли другие люди. Но Николая Ивановича не было. Я еще подождал. Коли не было. И тут я понял, что, наверное, не дожусь. Что он тоже ждал-ждал меня и ушел. Что он потерял меня. Что я потерялся.

А мне было семь лет. И я в этот день впервые попал в незнакомый город. В Москву. И в первый же день потерялся. Остался один. Сел на лавочку и горько заплакал...

Ах, заплакал? Ну, уж это дудки. Если кто-нибудь мог подумать, что я сел и заплакал, то он сильно ошибся. Плохо он знает нас, детдомовских, если такое подумал. Нам, бедным сироткам, это нипочем. Мы народ самостоятельный, мы все равно не теряемся, где бы нас ни бросили. Как бы не так!

Я кулаком утер слезы и встал с лавочки.

Над зелеными вершинами деревьев торчала макушка того дома, который я видел утром, что похож на гору. А сквозь решетку зоопарка, по другую сторону улицы, виднелся двухэтажный старинный дом, куда мы уже нынче заявлялись с няней Дуней. Значит, если выйти на улицу и пойти прямо, а потом свернуть, то я непременно приду к общежитию...

Я зашагал к выходу.

За воротами стоял лоток, лоточница продавала мороженое. До чего же в этой Москве все под рукой и очень кстати! Я нащупал в кармане мятые рубли и мелочь — сдачу, которая осталась после покупки двух билетов в зоопарк. Купил «эскимо», отвернул серебряную бумагу, надкусил шоколадный верх, лизнул холодок. Вкусно.

Я шел, не торопясь, по улице, грыз мороженое, слизывал талые потеки, которые норавлили то там, то сям ускользнуть.

Внезапно я уткнулся в чей-то живот, загородивший мне дорогу. В чей-то серый пиджак. А выше был синий галстук в крапинку. А сбоку, под мышкой, была кожаная папка.

А потом я увидел круглые очки, устремленные на меня сверху вниз.

Это был он. Представитель. Владимир Константинович Наместников.

Я хотел уж было сказать ему «здравствуйте», мол, вот и я, привезли меня сюда, как вы велели. Но я тут же испугался, что он спросит меня: а как я здесь оказался, на этой улице, зачем брожу один, почему без спроса вышел? И смолчал.

А он, тоже молча, взял из моей руки недоeденное «эскимо».

Так. Ну, конечно. Сейчас он отправит его себе в рот, как тот дылда в общежитии мои конфеты, и пошлет за водичкой... Неужели за тем и привезли меня сюда, в Москву, чтобы все подряд отбирать?

Владимир Константинович огляделся, подошел к урне и брезгливо швырнул туда мое «эскимо». Вернулся и стал тщательно отирать платком пальцы. Потом наклонился ко мне и сказал:

— Запомни. Это — последнее мороженое, которое ты ел в своей жизни.

5

Так началось мое учение.

Рано утром, проснувшись, умывшись, одевшись, как подобает, мы отправлялись из общежития в училище, с Красной Пресни на Большую Грузинскую. Пешком, конечно, — не столь уж дальний путь. Правда, когда миновали осенние месяцы и на-



ступила зима, утреннее это хождение было не из приятных. И даже не в холоде тут дело, хотя и доводилось нам бегать по крепкому морозцу, не во встречном ветре, не в скользких тротуарах — это, в общем-то, ерунда. Неприятность заключалась в том, что было в эту пору еще темно. Совершенная ночь была на улице в тот час, когда мы гуськом, задржав воротники, нахлобучив поглубже ушанки, топали с Пресни на Грузинскую. Конечно, вокруг горели фонари, светились этажи домов, искрились желтым инеем окна проезжающих трамваев, задние огоньки автомобилей были красны, как угольки, а на передних стеклах такси угольки были зелеными.

И улицы были полны людей, спешащих на работу, у метро кипела и ворочалась толпа — да, уже был самый настоящий день.

Но поднимешь глаза, взглянешь исподлобья — а в небе-то еще ночь, густая, сонливая, беспробудная... Глаза сами собой норовили закрыться снова. Теплый зевот слетал с губ, превращаясь тотчас в облачко студеного пара.

Но мы уже протискивались в двери училища. Наваливались на вешалки.

А наши носы чутко улавливали и мгновенно определяли запахи, доносившиеся снизу, из столовой.

— Тефтели?

— Тефтели...

— Братцы, тефтели!

Я до сих пор не знаю, как по-научному решается вопрос насчет связи между нюхом и слухом. Но я лично уверен, что такая связь является законом. Вот, скажем, в наше училище принимают ребят с безупречным слухом и отличным голосом. Однако и я и все мои новые друзья, включая недругов, все, кто был в нашем училище, помимо совершенного музыкального слуха, обладали поразительным нюхом на то, что готовилось для нас на завтрак, обед и ужин в полуподвальной кухне. Мы на расстоянии двух этажей отличали гуляш с макаронами от гуляша с картофельным пюре так же безошибочно, как различали на слух си и си-бемоль третьей октавы.

Когда же на завтрак жарили оладьи, что случалось довольно часто, то тут, по правде говоря, и не требовалось особенного нюха, было вполне достаточно зрения: едва мы переступали порог, у нас начинали слезиться глаза. Все этажи, все коридоры, все классные комнаты были полны едкого, прогорклого сизого дыма. Дым этот очень стойкий. И он особенно досаждал в те самые главные и святые часы нашего распорядка, когда шла утренняя спевка. В зал, где мы пели, проникал и долго не улетучивался дым, от него першило в горле.

Но я об этих спевках расскажу чуть дальше.

А сначала — о других уроках. То есть о тех предметах, которые существуют в любой школе, на которых она, школа, стояла, стоит и будет стоять во веки веков.

Тут нас учили читать. Тут нас учили писать. Тут нас учили считать. Ма-ма, па-па. Нажим — волосная, нажим — волосная. Два прибавить два будет четыре.

И об этом можно было бы не распространяться: ведь всем это известно, никого не миновала эта наука. Кабы не одно существенное отличие.

Во всех нормальных школах учат писать таким способом: сперва в косую на трех линейках, потом в косую на двух, затем на двух линейках уже без косых, после — в одну линейку. А потом уже пиши всю жизнь как бог на душу положит...

У нас было иначе. Мы начинали не с двух, не с трех, а с пяти. С пяти линеек, которыми была расчерчена наша классная доска — белой краской по охре. В каждом классе нашего училища, с первого по десятый, висели одинаковые доски — и все они

были в несколько рядов разграфлены пятью линейками нотного стана.

И на этих линейках изображались мелом нотные знаки. Сначала их рисовала нам учительница. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Скрипичный ключ и басовый ключ. Четверти и восьмые. Диезы и бемоли.

Но вскоре мы уже сами научились все это писать на доске и на уроках сольфеджио пели всю эту писанину — хором и поодиночке. Даже дирижировать научились: на три четверти, на четыре четверти, на сколько хочешь — знай маши руками.

Однако, кроме музыки, как я уже сказал, было и другое: арифметика, письмо... А доска-то, наша классная доска, была разграфлена пятью линейками нотного стана!

Вот почему свои самые первые в жизни «а» и «б» мы, высунув от старания языки, писали мелом на пяти линейках. И дважды два мы высчитывали на тех же пяти линейках. И во время переменок рисовали всякие рожицы на этих же пяти линейках.

Что поделаешь? Доски в классах были прибиты намертво — таковыми вот гвоздями, и не станешь ведь перед каждым новым уроком отдиравать доску и приколачивать вместо нее другую!..

Мне все же сдается, что за этим положением с классными досками крылся другой, никем не придуманный нарочно, но особый смысл.

Чтению, письму, арифметике, как и везде в начальных классах, нас обучала одна учительница. Ксения Васильевна — седенькая такая, добрая старушка. И это очень правильно заведено, что у малышей сперва бывает одна учительница. Иначе они бы просто запутались, кто и чему их учит. Да и про кого впоследствии, на выпускном вечере, они бы пели со слезами на глазах: «Учительница первая моя...»?

Лично я не знаю, про кого мы тут будем петь. Ведь, кроме Ксении Васильевны, за нас, первоклассников, тотчас взялись еще полдюжины учителей: сольфеджио — раз, фортепьяно — два, музыкальная грамота — три, хор — четыре... А на плечи Ксении Васильевны, всегда укутанные шерстяным платком, легли остальные заботы: чтобы мы умели читать, писать и считать.

Музыка главенствовала. Она таилась за всеми другими предметами, которые мы изучали. Она просвечивала сквозь них пятью линейками нотного стана, нарисованными на классной доске. Она всюду высывалась наружу: я здесь!.. Она давала понять, музыка, что стоит за всем и надо всем, что она самое важное в этом мире. Извольте знать!

Что ж, мы и так это знали.

Каждое утро начиналось спевкой. Первый урок — спевка.

Мы собирались в небольшом зальце, где был рояль, где заранее расставлялись пюпитры.

Мальчики выстраивались у пюпитров. Дисканты слева. Альты справа. И, не дожидаясь появления хормейстера, принимались шипеть.

Не скрою, что в самые первые дни меня очень удивляло и смешило это шипение: ну, надо же, обещали, что будут учить пению, а вместо этого — ш-ш-ш...

Но вскоре я узнал причину этого шипения.

Оказалось, что самое главное в певческом деле — умение дышать. Расходовать дыхание. Ты набираешь полную грудь воздуха, а потом мало-помалу, медленно, очень медленно как можно медленней выпускаешь его из рта. Если ты не научишься этому, тебе никогда и ничего толком не спеть, потому что весь дух из тебя выйдет на первых же нотах и ты

задохнешься на полуслове и будешь хватать ртом воздух, как рыба, которую вытащили из воды.

Впоследствии я слышал всяких потрясающих историй об этом искусстве — дышать. Как певцов заставляли петь «на свечку»: то есть ставили перед поющим человеком горящую свечу, прямо у рта, и он должен был петь на эту свечку, но так, чтобы пламя нисколько не колебалось, будто на него и не дышат... Фокусы, чепуха, игрушки? А вот и не игрушки. Были в старину такие певцы, которые могли на одном дыхании целую минуту давать полный и могучий звук — целую минуту! Порой за одну минуту хоккеисты загоняют в ворота три шайбы, а он в это время все тянет, все поет на одном и том же единственном вздохе...

Вот какие бывали певцы.

Ну, а наши этому только учились. Набирали полные легкие воздуха и потихоньку выпускали наружу, цедили сквозь зубы. Да, но зачем же шипеть? Незачем, конечно. Просто у мальчишек этого возраста, как правило, недостает зубов, — они ведь выпадают в детстве, молочные зубы, выпадают по очереди, и у каждого из нас меж зубов непременно имелась дырка. Вот дырка-то и шипит, когда уходит воздух. Сто ртов, сто недостающих зубов — вот вам и целый паровоз: ш-ш-ш-ш...

Появляется Владимир Константинович Наместников. Он здоровается с нами, кивает концертмейстеру Сергею Павловичу, сидящему за роялем, и взмахивает своими сухими пальцами.

Начинается ш к о л а.

— Фокин, опусти гортань...

— Петров, раздвинь ребра...

— Больше серебра! Круглей!

— Макавеев, дыши спиной...

— Почему не поют глаза?

А это куда еще гаммы. Упражнения.

И я сам пока еще не пою — лишь стою и слушаю.

Мы, новички, еще не поем, а только присутствуем.

— Везет Сенька Саньку на санках, свалил Сенька Саньку в сугроб...

— Быстрей!

— ...схватил Сенька Саньку за санки и снова свалился в сугроб.

— Так. Дрова.

— На дворе — трава, на траве — дрова, раз дрова...

— ...два двора... — ошибается кто-то.

Все хохочут. Мы, новенькие, тоже хохочем.

Рядом со мной смеется Маратик, мой одноклассник. Вот уж ему-то и не следовало бы смеяться. Какое самому будет, когда и нас заставят тараторить эти скороговорки для отработки дикции? Ведь он вообще очень плохо говорит по-русски, Маратик Алиев — черноглазый кавказский мальчик, который стоит подле меня.

— Гайдн.

Предчувствие радости охватывает меня.

Я уже не первый раз слышу эту песню. Она называется «Пришла весна». В ней поется про то, как приходит весна. Но дело не в самой весне, тем более что сейчас на дворе стоит крутая зима. К весне, должно быть, я тоже буду петь эту песню, мне уже разрешат петь ее вместе со всеми, петь в хоре. Поскорей бы!

Однако чувство ликования охватывает меня не из-за этой будущей весны, вовсе не из-за того, что тогда запою и я.

Просто я жду, как радости, самой этой песни.

Мальчики раскрывают ноты на пюпитрах. А Сергей Павлович у рояля — он, наоборот, закрывает свои ноты. Ноты не нужны. Аккомпанемент не нужен. Будет только хор. Будут только живые голоса. Я уже знаю, что такое пение называется «а капелла».

Сто звонких голосов взлетают в поднебесье.

Нет, не в этот потемневший потолок маленького зала, а в ярко-синее небо. Будто стая птиц. Даже не одна — четыре стаи. Потому что хор поет в четыре голоса. И они не сливаются, а переплетаются меж собой, эти голоса, то отдаваясь друг от друга, то сходясь. А каждый из четырех голосов — это, в свой черед, отдельные мальчишеские голоса, слитые в единый, чистый звук. Однако мне вдруг кажется, что я различаю в этом едином звуке самую звонкую струну, и, поискав глазами, я нахожу ее: Николай Иванович Бирюков — широко распахнутый рот...

Пришла весна, птицы! Пришла весна, братцы! Слышите, пришла!..

Вдруг меня словно бьют в ухо. Я едва удерживаюсь на ногах.

И успеваю заметить, как покачнулся Владимир Константинович.

Хор еще дисциплинированно продолжает петь, но дирижер уже выставил ладонь: стоп...

Наместников оборачивается к окну. Только что там продудел автомобиль. У нас под окошком стоянка легковушек. У нас такое важное соседство, стена в стену — Министерство геологии. И бывает, что шоферы нервничают, дожидаясь...

Владимир Константинович смотрит на открытую форточку. Должно быть, он раздумывает: не прикрыть ли ее? Вдруг — опять, в самый неподходящий момент... Но закрыть форточку тоже нельзя. Больно уж маленький у нас зал, в котором каждое утро идут спевки. Крохотный такой залишко. А в нем — сто человек. Сто ртов, сто пар жадных до воздуха легких. И случается, что этого воздуха просто не хватает на всех. Весь издышат, испоют — и вот уж кому-то сделалось дурно...

Нет, форточку закрывать нельзя.

Владимир Константинович, повернувшись снова к хору, говорит недовольным, строгим голосом:

— Нет, это не работа, друзья! Не ра-бо-та... Вот тут совершенно не годится. — Он фальцетом напевает фразу. — Пробуем партии раздельно. Поют альты. Дисканты молчат... Внимание.

И теперь уже не четыре стаи в небе, а всего лишь две. Те, что летают пониже. И это уже совсем не то. Не та музыка. Не та весна. Не тот Гайдн.

Это ш к о л а.

Поют альты. Дисканты молчат.

Альтам хорошо. А дискантам плохо.

Как же не хватает верхних голосов, которые — вот сейчас, в это мгновение, когда альты полого ниспадают, — взмыли бы ввысь!..

Я слышу, как кто-то рядом не выдерживает, начинает тоненько мычать. А вот и еще один робкий голос...

— Стоп! Что такое?.. Я сказал: дисканты молчат. Кажется, кому-то захотелось покинуть спевку?

Мальчики молчат. Никому не хочется покидать спевку.

Просто дискантам хочется петь. А им сейчас нельзя: поют альты.

И нам, новичкам, тоже очень хочется петь вместе со всеми. Но нам пока петь не велено.

6

Вот так мы и жили: в музыке, среди сплошной музыки.

Было, конечно, и всякое другое, о чем я расскажу, когда придет черед. И про любовь. И про жуликов. И про таинственный побег. Про поиски клада... Да, случилось разное. Но этим событиям еще не пришел черед.

А музыке — пришел.

И мне нужно рассказывать о музыке, хотя это и очень трудно. То есть это вообще невозможно — рассказывать о музыке. Или объяснять музыку, — ведь ее нельзя объяснить. У нее свой язык, не переводимый ни на какой другой, кроме самой музыки. И с этим ничего не поделаешь.

Если бы только я один не умел объяснять и рассказывать! А кто, кто умеет?

Вот Александр Николаевич Скрябин. Великий музыкант. Может быть, самый великий из великих. Во всяком случае, для меня он самый. всю жизнь он старался объяснить свою музыку, рассказать о ней своими словами. Сочинит симфонию — и тут же напишет книжку: мол, так и так, это и это, тут вот одно, а здесь другое. Он даже специально выучился писать стихи, чтобы в стихах пересказывать свою музыку. Но стихи остались стихами, а музыка музыкой. И ничего общего не было между ними.

Я не случайно зашел речь об Александре Николаевиче.

Потому что, едва я поступил в училище — в первую же зиму, — нас повели в Большой зал Консерватории слушать концерт.

Теперь, по прошествии лет, я удивляюсь: зачем это нас, новичков, вздумали вести на Скрябина? Ну, старшеклассников — это понятно. Им даже Скрябин не в диковину. Им и море по колено... Но нас? Ведь мы в то время, едва-едва читая ноты, раскорячив непослушные пальцы, играли на пианино несчастного «Зайку». И вдруг — Скрябин.

Однако я начинаю догадываться, что в этом не было никакой педагогической оплошности.

Ведь самый лучший способ научить детей плавать — это кидать их прямо в воду: плывите, голубчики!

Короче говоря, нас повели на Скрябина.

Мы всем училищем, всем хором заявились в этот Большой зал и чинно-благородно расселись по местам.

Зал и впрямь был очень большой и красивый. Весь такой белоснежный. А на стенах слева и справа портреты знаменитых композиторов: один с бородой, другой с усами, третий седой, четвертый лохматый, — но я тогда еще никого из них не знал в лицо, не знал по имени, а лишь догадывался, что они знаменитые.

Оркестрантов на сцене было очень много, человек сто, если не больше, и все они вдруг заиграли на своих инструментах, притом каждый пилил и дудел свое собственное, не обращая никакого внимания на то, что играет сосед. Они, должно быть, позабыли раньше настроить свои скрипки и дудки и теперь впопыхах занялись этим делом при всем честном народе. Шум, гам, с ума сойти...

Наконец они уgomонились.

Тогда, цокая высокими каблучками, вышла тетенька и объявила:

— Скрябин, «Поэма экстаза».

И так же достойно удалилась.

А вместо нее стремительным шагом, почти бегом на сцену ринулся человек в черной курточке с развевающимися сзади хвостами, в ослепительной белой сорочке и с таким же белым галстуком.

В зале тотчас же захлопали в ладоши, хотя, по-моему, хлопать-то было рановато: ведь он еще ничего такого не сделал, чтобы заслужить эти хлопки, разве что только очень лихо для своего возраста вспрыгнул на тумбу посреди сцены.

Дирижер поднял палочку. Все стихло.

И я даже не заметил, как началась музыка. Настолько она была тиха. Так тиха, что совсем не отличалась от тишины.

Я удивился: зачем же было сгонять на сцену столько музыкантов ради такой тихой музыки — на это хватило бы и трех человек, включая дирижера.

Мне сделалось скучно. Я стал глазеть по сторонам.

И сразу же обнаружил, что скучно не только мне. В соседнем ряду щупленький старикашка сложил руки на животе, прикрыл глазки и, кажется, заснул... Вот ведь какой потешный старикашка. Мог бы и дома поспать, а потащился на концерт.

Я оглянулся направо. Какой-то тип держал на коленях толстую книгу, страницы которой были густо испещрены нотными знаками, и он, этот тип, пристально читал ноты, листал страницы, изредка поглядывая на дирижера и снова читал — могу спорить, что он проверял по этим нотам, правильно ли играют музыканты, верно ли помахивает палочкой дирижер, все ли идет как надо: бывают же такие вьедливые типы!

Толстая женщина в кружевном воротничке, заметив, что я верчусь, исподтишка погрозила мне пальцем.

Я сел прямо.

Но, к моему счастью, к радости моей, чтобы я не скучал, впереди сидел лысый дядька. Совершенно лысый, ни единого волосочка не было на его голове. И вот над этой лысой головой кружилась моль. Обыкновенная моль, из тех, которые всегда выются вокруг шерстяных вещей. Но что же ей, этой глупой моли, понадобилось на дядькиной лысине, чем она собралась пожить, когда там ничегошеньки нету?.. И, будто угадав мои мысли, моль разочарованно отлетела прочь.

Только теперь я обратил внимание на то, что оркестр играет уже значительно громче. И скрипачи настойчиво водят смычками, и трубаچی надувают щеки, и барабанщик хлопает над своими барабанами.

Я попытался сосредоточиться. Ведь меня привели сюда слушать музыку, а не смотреть по сторонам.

Надо слушать. Надо уловить какую-нибудь, что ли, мелодию, ведь я их с раннего детства привык схватывать на лету, а потом подбирать на детдомовском пианино. Ну-ка, попробуем. Я наострил уши.

Но никакой мелодии не было. Я не мог уловить ее в густом сплетении голосов и звуков — нету...

Впрочем, вот одна самая звонкая труба, отделяясь от всего остального оркестра, затаила свое собственное: «Та-таам, та-таам, та-там» — все вверх, «та-та-та-та» — уже вниз. И снова, еще настойчивей: «та-таам, та-таам!..»

Но разве это мелодия? Какая же это мелодия! Ее, поди, и запомнить невозможно.

А я, между прочим, слышал от старших ребят, что если трубачу, когда он играет на трубе, показать лимон — хотя бы издали, — то он не сможет дальше играть, потому что у него сразу сведет скулы от вида этой кислятины. Вот бы проверить, кабы у меня тут с собой оказался лимон...

В оркестре между тем продолжала нарастать сумятица. Все новые и новые голоса врывались в общую неразбериху, и порой внезапные скрещения этих голосов были так резки, что я вздрагивал.

Дирижер отчаянно размахивал руками, наклоняясь то в одну, то в другую сторону.

И тут мне опять пришлось отвлечься от музыки.

Я заметил на носу дирижера капельку.

Дело в том, что я сидел довольно близко от сцены и чуть сбоку. И мне отчетливо была видна капелька на носу дирижера — она повисла на самом кончике его носа. Может быть, это была капелька пота, сбегавшая со лба: уж очень сильно размахивал дирижер руками, могло, конечно, и потом прошибить от такой работы. А может быть, у него про-

сто был насморк, у дирижера,—ведь уже стояла зима, и он мог простудиться на улице, пока шел сюда.

Наверное, сам дирижер тоже чувствовал, что на носу у него висит капелька. И хотел бы избавиться от нее, смахнуть. Но нельзя! Ведь все эти сто оркестрантов одним глазом смотрят в свои ноты, а другим глазом внимательно следят за каждым движением дирижера. Достаточно ему, хотя бы украдкой, мазнуть рукой по носу — и оркестранты растекаются, собьются, все пойдет прахом...

Однако сейчас в оркестре снова наступил покой. Только короткие порывистые вздохи напоминали о том, что здесь недавно было, и я чувствовал по собственному дыханию, как нелегко перевести дух после эдакой ярости.

А голосистая труба, спорившая со всем оркестром, куда-то спряталась. Но мне показалось, что настойчивый, требовательный ее клич бродит отголосками среди этого покоя то там, то сям...

Да, покой был недолог.

Все разыгралось с новой силой. Никто из ста музыкантов теперь не бездельничал. Я едва успевал перебрасывать взгляд со скрипок на флейты, с виолончелей на какие-то деревянные дудки, стоявшие торчком. Они играли все разом, и я ощутил боязнь, как бы мне не заблудиться в этих разноголосых дебрях, среди стонущих, звенящих, орущих чудовищ.

Не глазами, а слухом я нашел в оркестре громадную, свившуюся удавом, разинувшую пасть трубу, которая вдруг исторгла дикий рык: звук становился все ниже, ниже, падая в тартарары, и внезапно этот звук уже перестал быть целым звуком — он будто рассыпался на отдельные кусочки, и каждый такой кусочек, достигая ушей, заставлял дребезжать перепонки...

Я сидел, потрясенный. Я уже ничего не замечал: ни лысого дядьки, ни этого типа с нотами, ни люстр, ни стен, ни портретов на стенах.

Но вот что было удивительно: музыка, которую я слышал, совсем ничего не напоминала мне. Никаких таких картин. Хотя при желании, конечно, и можно было представить себе одну знакомую картину (я ее где-то видел): буря на море, обломок мачты, люди, вцепившиеся в него... Или можно было вообразить войну... Однако воображать это — значило бы обманывать самого себя, выдумывать неправду. А тут, я чувствовал, все было правдой. Без обмана. Только не буря и не война...

(А что же? Тогда я не мог знать этого.)

Вот теперь, когда я пожил на свете, когда я сто раз слышал «Поэму экстаза», когда я могу, закрыв глаза, не шевельнув пальцем, молча продирижировать этой вещью все двадцать две минуты, которые она длится,—вот теперь-то я знаю: бывает нечто и страшней бури на море — обыкновенное иступление человеческих чувств.)

...Уже будто сквозь сон слышал я, как зазвонили колокола, дохнул орган, один за другим взорвались от натуги барабаны.

И потом наступила тишина.

Но я в нее не поверил. И, должно быть, никто не поверил. Все сидели, не шевелясь.

И правильно делали. Потому что музыка еще не кончилась. Эта неправдоподобная тишина была тоже музыкой. Просто длились такты молчания. Собрав последние силы, оркестр заиграл снова. Дирижер своей властной палочкой взбадривал изнемогших музыкантов. И они, молодцы, нашли в себе мужество доиграть до конца и даже выдать напоследок всеобщий могучий и радостный аккорд.

И только тогда зал громыхнул рукоплесканиями.

Дирижер обернулся и стал кланяться.

Что ж, вот теперь заслужил.

Скрипачи застучали смычками по пюпитрам. Но при этом они почему-то смотрели не на дирижера, а назад, в глубь оркестра. И сам дирижер вдруг захолопал в ладоши, выискивая кого-то глазами среди своего войска.

Тетенька на высоких каблуках появилась снова и сказала:

— Исполнением «Поэмы экстаза» оркестр отмечает шестидесятилетие со дня рождения и сорокалетие творческой деятельности заслуженного артиста республики Дмитрия Федоровича Кузнецова...

В глубине оркестра поднялся человек — тот самый, что играл на звонкой трубе, тот, которому я хотел показать лимон. Смуценно нахохлясь, он стал пробираться меж пюпитров, меж дружно стучащих смычков. Он вышел и неловко поклонился. Должно быть, ему не часто доводилось раскланиваться перед публикой. Дирижер соскочил с тумбы, они обнялись, расцеловались.

Я оглянулся.

Въедливый тип, захопнув свою папку, усердно отбивал ладони. У строгой женщины в кружевном воротничке на глазах были слезы.

Я слышал, как лысый, что сидел впереди меня, сказал, наклоняясь к соседу:

— На пенсию идет Дима. Все... Другого такого Димы не будет.

С концерта мы возвращались домой пешком. Это ведь недалеко: все прямо и прямо, вверх по улице Герцена, минуя Никитские ворота, и опять по улице Герцена, затем пересечь Садовое кольцо, а там и наша Пресня.

Мы шли не строем и не гурьбой, а узким клином, рассекая встречную толпу прохожих, растянувшись на добрый квартал, но стараясь не терять из виду ни головы, ни хвоста нашей процессии.

Мальчики на ходу переговаривались между собой. До меня донесся спор двоих:

— ...ну и что? У Шостаковича, в Пятой, там в финале литавры — соло!

— Сказал. Так ведь Шостакович — это теперь, теперь! А то когда? «Поэму экстаза» еще Римский-Корсаков слушал.

— Не слушал.

— Слушал! На рояле ему сам Скрябин играл... А Римлянин потом ругался.

Спорили старшеклассники. Но я не понимал, о чем они спорят. Я их и самих-то едва знал: они уже не ходили на спектакли.

Впереди открылась площадь Восстания. Тяжелой громадой навис над нею знакомый высотный дом. Его шпиль то вдруг замутнялся, исчезал, то снова появлялся: это космы облаков задевали его. Облака неслись быстро, всполошенно. Они были желтые снизу — их подсвечивало городское зарево. Вдруг на какой-то миг облака прерывались, и тогда было видно зимнее небо, виднелись ясные звезды. Их снова смазывала туча...

«Та-таам, та-таам, та-та-та-та...»

Что?

Это был голос трубы. Той, что все время заявляла о себе и спорила с оркестром. Той самой, на которой заслуженный артист Дима напоследок, уходя на пенсию, выдал класс...

Да, это ее голос — трубы. Но ведь это не мелодия? Почему же она вдруг так внятно прозвучала в моей памяти? Разве может запомниться то, что вовсе не мелодия? А если запомнилось, то неужели ее можно пропеть?

Я прикрыл рот вишневым кашне (чтобы никто не

услышал, как я пою на морозе, за это могло здорово влететь) и задудел:

— Та-таам, та-таам, та-та-та-та-та...

— Вас ист дас?

— Чего-чего?

Передо мной выросли две здоровенные фигуры. Это были старшеклассники, которые шли рядом и поминали Шостаковича.

— А ну-ка еще раз,— сказал один.

— Репетэ! — приказал другой.

Я сделал попытку юркнуть промеж них. Я испугался, что они наябедничают директору, как я тут распевал на морозе.

Но они меня поймали за воротник и снова приказали:

— Ну-ка, повтори!

— Репетэ.

Делать было нечего. Я заметил, что остальные уже ушли далеко вперед, вместе с учителями, которые сопровождали нас. И немного осмелел.

— Та-таам, та-таам, та-та-та-та-та... Та-таам, та-таам!.. — запел я довольно громко, подражая настырному голосу трубы.

Меня щелкнули по носу — не больно, впрочем.

Старшеклассники многозначительно переглянулись. Потом один из них сказал, обращаясь к другому:

— Лабух?

— Лабух,— важно изрек другой.— Лабух.

Они еще раз щелкнули меня по носу и проследовали дальше как ни в чем не бывало.

А я бросился догонять свой первый класс.

Я ничего не понял из этого разговора. Я не знал, что такое «лабух». Я не имел понятия о том, что слово «лабух» означает «музыкант». На особом и тайном лабухском языке, который изобрели музыканты, чтобы на нем разговаривать между собой и понимать друг друга, а их чтобы никто не мог понять.

Но я тогда еще не понимал лабухского языка.

Я тогда еще много чего не понимал.

Часть вторая

На лестнице — зеркало.

Точнее, не на самой лестнице, а на площадке между первым и вторым маршем. Большое, во весь простенок, поперечное зеркало, оправленное черным деревом. Оно уж, это зеркало, и темновато, и щербато, и в мелкую оспину, потому что очень старинное, лет сто ему.

Однако смотреться еще можно.

И вот, как я припоминаю, когда я только приехал сюда, в хоровое училище, и стал учиться в первом классе, то мне надо было взобраться чуть ли не на самую верхнюю ступеньку, чтобы наконец увидеть себя в этом зеркале.

А теперь мне достаточно с ходу раз-другой перепрыгнуть через ступеньку — и в зеркале уже появляется моя макушка, а вслед за макушкой и лоб, и нос, и рот, и длинная шея, и мои немного щуплые плечи, хотя я вовсе не слабак,— и вот уж я весь как есть в этом зеркале, до самого пупа.

Я на минуту задержусь перед зеркалом, поплюю на расческу, почетче раскину пробор, поправлю узелок пионерского галстука, приосанюсь...

Женя Прохоров. Двенадцать лет. Шестой класс. Не то чтобы отличник, а это самое — хорошист. Что же еще мы имеем на сегодняшний день?

На сегодняшний день мы имеем концерт в Большом зале Консерватории.

Стало быть, жили-поживали, ждали-прождали целых пять лет — и очутились там, где простились, на том же самом месте. Недалеко уехали...

Ну, это как сказать!

Ведь сегодня в Большом зале не просто концерт, а наш концерт, концерт Хора мальчиков.

Билеты, как обычно, нарасхват. С утра уже люди толпятся у касс. Лезут с записочками к администратору. А вечером на улице Герцена за версту канючат: «Нет ли лишнего билета?» «Есть,— как водится,— отвечают случайные прохожие.— В баню». Нас любят. И, признаться, мы сами любим эти концерты.

За несколько часов до начала нянечки в общестии отпирают заветные шкафы и достают оттуда аккуратно развешанные на плечиках наши парадные костюмы. Нам выдают чистые сорочки. Отутюженные галстуки. А башмаки — ну, их следует самим надраить до умопомрачительного блеска, а эта работа приятна, когда знаешь, что на тебя будет глазеть переполненный зал.

И очень волнует минута, когда в ворота училища въезжает автобус с табличкой «Заказной». Шипя, раздвигаются двери: пожалуйста, милости просим...

Мы уже много раз выступали в различных почтенных залах, названия которых пишутся прописными буквами: Колонный зал Дома союзов, Краснознаменный зал Центрального дома Советской Армии, Центральный дом культуры железнодорожников, Концертный зал имени Чайковского...

И можно бы, наверное, привыкнуть, не волноваться всякий раз. Но всякий раз волнуешься.

Что же касается нынешнего вечера, сегодняшнего концерта, то тут у меня особая причина для волнения.

Еще на позапрошлой неделе Владимир Константинович Наместников объявил:

— В концерте будет запевать Женя Прохоров. Былину о Добрыне Никитиче и «Орленка».

А перед этим произошло вот что.

То есть ничего особенного, из ряда вон выходящего не произошло.

Просто был понедельник.

По понедельникам нас всех обязательно водят к врачу, к оториноларингологу, проще — к горловику, вернее, к горловичке, ну, словом, к нашей Марии Леонтьевне.

В углу двора стоит такой ветхий домик, медпункт училища. С виду он, этот домик, ужасно обшарпан и грязен, а внутри — чистота, белизна, сверкают всякие докторские машины, инструменты и штучки.

Мы подходим один за другим к тарелочке, на которую настрижены куски марли, каждый берет по лоскутку и потом, когда настанет очередь, садится в кресло, ухватывает себя этой марлей за язык и вытаскивает его, голубчика, сколь можно длиннее:

— И-и-и...

Между прочим, когда мы только еще поступили в училище и впервые стали являться на осмотр к Марии Леонтьевне, она не заглядывала в наши глотки, а просто давала по кусочку марли, усаживала на скамейку и заставляла нас, дурачков, сидеть там, вытянув языки: чтобы мы не боялись, чтобы привыкли к процедуре.

И теперь мы уже не боялись, привыкли.

У Марии Леонтьевны на лбу круглое зеркало, отражающее нестерпимо яркий свет лампы. Этот свет нацелен прямо в раскрытый рот очередного пациента, и туда же врач сует ларингоскоп — никелированную палочку, на конце которой еще одно крохотное зеркальце.

— И-и-и...

— Хорошо, Женя. Можешь идти. Следующий.
Я слез с кресла, бросил марлю в плавательницу.
— И-и-и-и... — затаил следующий.
— Так-так, — сказала Мария Леонтьевна и, убрав ларингоскоп, наклонилась, посмотрела на башмаки пациента.
— Алиев, где ты промочил ноги? По лужам бегал?
— Я не бегал, — обиделся Маратик Алиев и честно посмотрел своими большими печальными глазами в глаза Марии Леонтьевны. — Не бегал.
(И врет, между прочим. Я сам вчера видел, как он шастал по лужам.)
— Бегал. Мне в этом зеркальце прекрасно видно, как ты бегал по лужам... — сказала горловичка. — Владимир Константинович, я отстраняю Марата Алиева от спевков на неделю.
Наместников, сидевший рядом с ней, грозно посмотрел сквозь очки на Маратика.
А в дверях уже толклись старшие ребята.
Вот плюхнулся в кресло Коля Бирюков. Тот, который был когда-то Николаем Ивановичем. Он еще больше подылдел с тех пор. И рот у него сделался еще шире.
— И-и-и-и...
Я издали залюбовался этой глоткой. Вот уж глотка так глотка! Ужас, до чего огромная глотка.
— Еще.
— И-и-и-и-и...
Мария Леонтьевна долго и пристально рассматривала эту глотку. Потом снова обратилась к Наместникову:
— Владимир Константинович, взгляните, пожалуйста.
Она слегка повернула лампу.
Наместников согнулся.
— И-и-и-и-и...
— Вам видно?
— Да... да.
— Связки сильно утолщены.
— М-да.
Мария Леонтьевна отложила в сторону ларингоскоп.
— Петя нельзя.
Коля Бирюков захлопнул рот. Недобро сжал губы.
А Владимир Константинович снял очки и принялся тщательно протирать их платком.
— Мария Леонтьевна, двадцать шестого у нас концерт... — тихо сказал он.
— Бирюкову петь нельзя. Тем более солировать.
— Может, до двадцать шестого... пройдет? — с надеждой спросил Коля.
— Нет, не пройдет. Это надолго, Коля.
Директор отвернулся к окну.
Бирюков рывком соскочил с кресла и выбежал за дверь.
— Следующий.
— И-и-и-и-и...
— Хорошо, Игорь. Отлично... Следующий.
— И-и-и-и...
— Хорошо.

А как он пел!

Мы все поем. Иначе бы нас не держали тут, в хоровом училище. Мы все неплохо поем. И каждый из нас годится в запевалы.

Но Коля Бирюков, по справедливости, пел лучше всех. У него был какой-то совершенно замечательный голос. И все эти годы запевал он. Был даже такой случай, когда Коля солировал в концерте не с нашим хором, а с настоящей взрослой хоровой капеллой. И я сам видел расклеенные по Москве афиши, где было напечатано: «Солист — Н. Бирюков».

Поэтому нетрудно догадаться, что значил для него приговор Марии Леонтьевны: «Петь нельзя».

И так же нетрудно догадаться, какой неожиданностью было для меня услышать на спевке:

— В концерте будет запевать Женя Прохоров. Былину о Добрыне Никитиче и «Орленка»...

Вообще-то я давно знал наизусть обе эти сольные партии.

И все же пришлось репетировать до одури: и с хором и без хора — с концертмейстером Сергеем Павловичем.

Сергей Павлович тоже когда-то учился в нашем хоровом училище. Только не здесь, а в Ленинграде — ведь наше училище оттуда родом. Когда началась война, когда немцы осадили Ленинград, мальчиков вывезли в Кировскую область, в село Арбаж. Там они и жили, и учились, и пели. И очень сильно голодали (мне рассказывал Сергей Павлович). Даже после того, как немцев прогнали от Ленинграда, училище не могло вернуться обратно, — там еще было страшно после блокады... И мальчиков привезли в Москву, на Большую Грузинскую, сюда.

А теперь в Ленинграде свое училище, в Москве — свое.

Это просто удивительно: вот минуют годы, минуют войны, а мальчишки все поют!

Я слышал, что Владимир Константинович тоже пел когда-то в мальчишеском хоре. В синодальном, церковном. Мне даже трудно представить себе, как это он, наш директор, стоит на спевке, коротышка коротышкой, а бородатый регент кричит на него: «Эй, ты, как тебя... Наместников, что ли? Круглей, братец, круглей... И больше серебра!»

Вот уж смех.

А потом у нашего старика, у Наместникова, учился Сергей Павлович, который теперь тоже немного седоват. Почему-то он так и не стал знаменитым певцом. И не сделался известным пианистом. Должно быть, тогда, в войну, в селе Арбаж, что в Кировской области, они слишком уж сильно голодали, ребята.

А может быть, ему самому захотелось быть концертмейстером и работать в том же училище, где учился сам.

Мне очень нравится заниматься с Сергеем Павловичем: он все знает, все слышит. Мне сдается, что каждую ноту, которую я пою, он тоже поет, но не слышно, в себе, в глубине глаз...

«Готово», — сказал накануне концерта Сергей Павлович. «Да, пожалуй», — кивнул, прослушав, Владимир Константинович.

Но когда мы расселись в автобусе, чтобы ехать, я увидел на самом заднем сиденье Колю Бирюкова, насупленного, с опущенным цигейковым козырьком шапки. На меня он не смотрел. Он ни на кого не смотрел. В окно смотрел.

И я до сих пор не знаю, почему он тогда ехал вместе с нами, хотя ему и было настрого запрещено петь: то ли напросившись, то ли без спроса. То ли на всякий пожарный случай: вдруг у меня от робости язык отнимется? То ли из любопытства: каково у меня получится в первый раз?

Замечу лишь, что от глаз Владимира Константиновича не укрылось то, что Бирюков едет вместе с нами, хотя он и загоразивался козырьком.

Он это сразу увидел, но ничего не сказал.

Ведь отвыкать надо тоже постепенно. Как и привыкать.

Мы пели в тот вечер обычный наш репертуар: «Пришла весна» Гайдна, баховский Терцет, «Колыбельную» Лядова, «В небе» Палестрины, кое-что из

новых авторов. Это кое-что из новых авторов у нас постепенно обновлялось, ведь новую музыку нужно пропагандировать — святое дело. Но Бах, Лядов, Палестрина оставались всегда и неизменно, так, вероятно, они и останутся.

Ведь, скажем, этот самый Джованни Палестрина: он жил на свете четыреста лет назад, че-ты-ре-ста!.. И песню «В небе» он в ту пору написал специально для мальчишеского хора.

Привет, Джованни Палестрина!

Мы все еще поем твою песню.

Мы поем.

Нас слушают, замерев.

На нас смотрят, боясь шелохнуться.

Досадно, черт, что я не могу видеть наш хор оттуда, из зала, со стороны. Наверное, это красиво. Ровные ряды мальчиков, одетых в одинаковые костюмы. Ряд над рядом: впереди самые маленькие, позади самые длинные. (Лично я нахожусь где-то посредине.) И я представляю себе, как за последним рядом самых длинных — так естественно, будто бы еще один ряд, будто наше продолжение, — вздымаются к потолку серебряные трубы органа, знаменитого консерваторского органа. Вероятно, им, сидящим в зале, все это видится целиком, и, может быть, им сейчас кажется, что звучит именно орган в его зазорных высоких регистрах.

Я, как и все остальные, старательно веду свою партию, но различаю отдельные знакомые мне голоса: вот Маратик Алиев, отбивший свое недельное наказание, вот Гошка Вяземский, а это Витюха Титаренко — мои одноклассники, мои однокашники.

Но я, сколько ни вслушиваюсь, не могу уловить самого знакомого мне и, признаюсь, самого любимого мною голоса — Коли Бирюкова. Его не слышно, его нет, хотя я и видел, как Николай Иванович становился в ряд, залезал на верхнюю ступеньку.

Значит, петь ему все-таки не позволили.

И, значит, все-таки запевать придется мне.

Ох, дорогие граждане, уважаемая публика!.. А, может, это и не нужно? На фига вам это соло? Разве плохо звучит наш слаженный хор? Ведь как это прекрасно: хор! И самое милое дело для хорошего певца — петь в дружном хоре, когда ощущаешь локтями локти стоящих рядом приятелей, когда тут же, впри tiroчку, совсем близко, и Витюха Титаренко, и Гошка Вяземский, и Маратик Алиев...

Зачем это дурацкое соло? Не надо, а?..

— Былина о Добрыне Никитиче, — объявляет ведущий. — Солист — Женя Прохоров.

Я, понурив голову, выхожу из тесного ряда. Прощайте, товарищи...

Я оказываюсь впереди хора.

А еще чуть впереди и чуть сбоку — Владимир Константинович Наместников. Он во фраке. Тугой белый пластрон, белая бабочка.

Он склоняется надо мною, будто надломившись в пояснице. А ведь я хвастался, что очень сильно вырос за эти последние годы, вытянулся, вымахал. И все же он, Наместников, склоняется сейчас надо мной, как над крохой. Но тут уж не моя вина — просто он необыкновенно высок ростом, Владимир Константинович, высок и сух, словно жердь.

Он вытягивает перед собой руки с костлявыми коричневатыми пальцами, подносит эти пальцы почти к моему лицу...

Я страшно боюсь. У меня дрожат колени.

Но гораздо больше, чем замершего в чуткой тишине зала, я боюсь этих длинных коричневатых пальцев. То есть я их вовсе не боюсь, а просто призыв им подчиняться беспрекословно, как божьей воле. И дрожь в коленках унимается. Весьма кстати: ведь если бы колени продолжали дрожать, то

дрожь непременно передалась бы и голосу — и вышел бы препротивный «барашек».

Стариковские руки медленно поднимаются.

То не белая береза к земле клонится,
Не шелковая трава преклоняется...

Порядок. Первые фразы спеты нормально. Как на репетициях. Правда, на репетициях мне доводилось петь в очень маленьком зале училища. Я еще никогда не слышал своего одинокого голоса в таком просторе, как этот большой консерваторский зал, который не случайно называется Большим залом. До чего же отчаянно далеки крайние ряды этого зала, как отдален и высок балкон! А ведь и там сидят люди. Они деньги за билеты платили. Слышно ли им?..

Но я уже знаю, что слышно. Я даже не пытаюсь напрягать голос, да это и запрещено нам строго-настрога, однако твердо знаю, что меня слышат в самых последних рядах. Потому что мой голос летит. Если бы даже я сейчас пел совсем тихо, пианиссимо, его все равно бы услышали там, поскольку он обладает должной полетностью. Да, услышали бы — и без всяких микрофонов, без всяких динамиков.

Нет, то сын перед матерью поклоняется...

Рука дирижера ложится на белый пластрон, на грудь. Я понимаю, что это означает. Это означает, во-первых: «Женя, поставь звук на диафрагму... Вот так, хорошо». Это означает, во-вторых: «Женя, сердечней, сердечней... ведь это сын поклоняется перед матерью». Это означает, в-третьих: «Женя, не «акай», пожалуйста, «о-о»...»

Я все это отлично понимаю. Я стараюсь. Я держу звук на диафрагме: слышите, как он глубокий? Я представляю себе, как должен поклоняться сын родной матери. У меня тоже была мама. Я поклоняюсь ей.

Я торжественно «окаю»:

...п ОклОняеца...

Привет, Джованни Палестрина! Ты, который жил четыреста лет назад. А знаешь ли ты, что эту песню, эту былинку, которую я пою сейчас, пели еще за четыреста лет до тебя? Ее пел Боян. Ее пели гуслары — зрячие и слепые. И, может быть, русоголовые мальчики-поводыри тоже пели эту песню о славном Добрыне Никитиче...

Вступает хор.

Потом долго гремят аплодисменты.

Потом я — уже не на словах, а на деле — поклоняюсь. Публике. На последних репетициях меня научили прилично раскланиваться.

— Композитор Белый, «Орленок», — объявляет ведущий.

За роялем появляется концертмейстер. Эта песня идет под аккомпанемент. Это наша советская песня. Уж не знаю, по вкусу ли она придется строгим ценителям академического пения. Но эта песня не делима от нашего хора.

Я запеваю:

Орленок, орленок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди.
Навеки умолкли веселые хлопцы,
В живых я остался один...

И тотчас я ощущаю, как что-то теснит мое сердце. Я мог бы даже сказать, что у меня комок подступает к горлу. Но это исключено. Никаких комков! Ведь я пою, и горло должно быть свободно, чисто. А вот насчет сердца — тут уж и впрямь теснит...

Я люблю эту песню. Ее суровые и честные слова. Ее мелодию. Это прекрасная мелодия. Я давно обратил внимание, как нарастают в ней высокие ноты: взмах крыльев — и спад, взмах, еще выше — и спад, и еще, еще выше — и снова спад... Там, в этой песне, есть удивительные вещи. Пятый по счету звук в начале куплета — самый низкий, си. Он повторяется

лишь в конце рефрена, итогом. Но, вот поди ж ты, в начале четвертой фразы («в живых я...») будет звучать обыкновеннейшее ре-бемоль, а оно покажется ни же начального си, хотя на самом деле оно выше. И даже мне, поющему эту песню, оно кажется гораздо ниже, — у меня даже возникает чувство, будто мне трудней пропеть это ре-бемоль, чем только что легко и свободно взятое си. И тут — вот тут! — следует неожиданный взлет, это отчаянная, как вскрик, октава: «навек-и-и...» Нет, это очень здорово!

Я люблю «Орленка». И часто размышляю о нем. Как написал композитор эту песню? То ли пришла она к нему сама в счастливый час, разом вырвалась из души? Или же он долго, мучительно прокладывал эти мелодические ходы, строил чередования высот, перепады ладов? Как вообще сочиняют музыку?..

И вот «Орленок» допет.

Кажется, я вполне прилично спел свою партию. Не хуже Коли Бирюкова.

Но что тут началось в зале — в этом благородном и чинном консерваторском зале!..

Я было откланялся и вернулся на свое место в середине хора. Однако публика продолжала хлопать прямо-таки неистово. Владимир Константинович сделал мне знак: мол, выходи, поклонись еще раз (а он, Наместников, страшно не любит этих оваций, всяческих «бисов», потому что он, наш директор, прежде всего педагог и он лучше всех понимает, до чего это неумно со стороны публики устраивать овации и кричать «бис» таким вот, вроде меня, у которых еще молоко на губах не обсохло).

Однако он сделал мне знак, и я снова вышел кланяться.

И в этот момент откуда-то из задних рядов выскакивает девчонка с розовыми бантами, в розовом платьице и бежит по проходу прямо к эстраде. А в руке у нее букетик цветов, каких-то белых с желтым, нарциссы, что ли. И этот букетик она, подтянувшись на цыпочках, кладет к моим ногам, к моим надраенным башмакам, и убегает обратно.

Я стою ни жив ни мертв.

В зале хлопают, не жалея ладоней.

Владимир Константинович Наместников, с явным усилием изобразив на своем лице снисходительную улыбку — это для публики, конечно, — показывает мне рукой: что ж, дескать, бери свои цветочки, раз тебе их поднесли, бери поскорее и отправляйся в строй, а завтра мы с тобой, Прохоров Женя, побеседуем в директорском кабинете.

Я нагибаюсь, беру этот окаянный букетик, и вдруг из букетика вываливается на пол сложенная вчетверо записка.

Я краснею, будто рак в кипятке.



В зале теперь хохочут, как если бы здесь была не Консерватория, а цирк.

Владимир Константинович смотрит на меня в упор с выражением такого полного спокойствия, что сомнений не остается: случись это не в наше советское социалистическое время, а до революции, быть бы мне нынче вечером пороту розгами...

Я поднимаю записку с пола, сую ее в нагрудный кармашек, пробираюсь на свое место в хоре и прячусь за чужими спинами.

— Орlando Лассо, «Эхо», — объявляет ведущий.

После концерта было угощение.

Дело в том, что за эти концерты, собирающие тьму народу, денег нам не платят. То есть, может быть, училищу и полагаются за концерты какие-нибудь отчисления-перечисления (я просто не знаю, как решен этот финансовый вопрос), однако нам, певцам, исполнителям, денег, конечно, не платят. Да и было бы смешно, кабы нам вдруг стали выплачивать деньги: вот тебе, дескать, мальчик, сто один рубль и одна копейка, распишись в получении...

Зато после концертов нам выставляют угощение.

На длинном столе, накрытом белой скатертью, стояли вазы с апельсинами и пирожными, тарелки, на которых были разложены бутерброды с колбасой и сыром, блюдечки с конфетами, пышущие паром стаканы с чаем.

Мы ринулись на это угощение, будто год не ели.

А между тем никто из нас от голода не страдал. В училище нас кормили и утром, и днем, и вечером, порции давали вполне приличные, а кому не хватало тех приличных порций, не отказывали и в добавке.

Кроме того, в нашем хоровом училище были не только такие ребята, вроде меня, которых набрали из разных приютов и у которых не было родителей. В училище были и такие ребята, у которых родители — папы и мамы — существовали в полном здравии, но только они жили в других городах и оттуда присылали своим сыновьям посылки: скажем, нашему Маратику Алиеву то и дело присылали с Кавказа такие богатые посылки, что мы их ели всем общежитием, и все равно черноглазому тихому Маратику кое-что самому перепало. Помимо того, в нашем хоровом училище были еще и такие ребята, у которых родители запросто жили в самой Москве, и эти ребята, отучившись положенные часы, ехали к себе домой, ночевали там, а утром снова приезжали в училище. Это были приходящие, их сразу можно было отличить от остальных, хотя мы и носили одинаковую форменную одежду, и все же у них и башмаки были чуть моднее наших, казенных, и рубашки побелее наших белоснежных, и портфели у них были пороскошнее, и авторучки позаграничнее наших. Так вот, говоря об этих приходящих ребятах, можно вполне предположить, что дома их тоже кормят не черными сухарями с водой. Допускают, наверное, к колбаске, к сырку. Но, несмотря на эту всеобщую сытость, едва после очередного концерта на стол выставлялось угощение, вся наша братия набрасывалась на тарелки и вазы с такой жадностью, будто нас привезли с голодного острова... А буфетчицы и официантки в кружевных наколках стояли в сторонке, глядели с жалостью, покачивали головами.

Напротив меня сидел за столом Николай Иванович Бирюков и справно работал своими могучими челюстями, хотя он сегодня и не спел ни одной ноты.

А может быть, он и поехал сюда исключительно ради угощения.

Колька Бирюков посмотрел на меня, и вдруг его челюсти замерли, окаменели. Я удивился и тоже прекратил жевать. А он как-то очень странно вскинул брови, вытянул шею, стал пристально вглядываться в мое лицо. Я тронул щеку: может, измазался? Но он продолжал смотреть на меня в явной тревоге.

— Жень... что это у тебя?

— Где? — спросил я, испугавшись не на шутку.

— Да вот...

Николай Иванович приподнялся, наклонился над столом и еще озабоченней начал всматриваться в мое лицо.

— А что?

Я ощупал нос, лоб...

И в ту же секунду рука Кольки Бирюкова проворно сунулась в мой нагрудный карман и выхватила оттуда записку.

Я вскочил, рванулся, но сзади кто-то уже цепко ухватил меня за плечи. И я понял, что это Витюха Титаренко и что мне не вырваться: у него была железная хватка, у Витюхи Титаренко, он был самым сильным в нашем классе.

Я не мог шевельнуться.

А Колька Бирюков, развернув эту проклятую, вчетверо сложенную записку, торжественно провозгласил на весь стол:

— «Меня зовут Майя. Мой телефон...»

— Стоп! — раздался голос на другом конце стола.

Это был Гошка Вяземский. Также из нашего класса. Кудрявый такой, розовощекий малый.

— Стоп! — решительно скомандовал он.

— Чего еще? — нахмурился Николай Иванович.

— Сейчас будет телепатия, — объявил Гошка Вяземский. — Отгадывание мыслей и чтение текста на расстоянии. Я могу угадать номер телефона, который в записке... С кем пари? На пирожное?

— Давай, — согласился Колька и зажал в кулаке записку. — На пирожное. Только деньгами отдашь!

— Идет, — кивнул Гошка.

— И я, — поддержал спор кто-то слева. — На «эклер». Ведь ни за что не угадает!

— Я тоже, — азартно отозвался кто-то справа.

Я мучительно старался высвободиться из Витюхиных объятий.

Гошка Вяземский откинул назад свои кудри, одной рукой прикрыл глаза, а другую вытянул, растопырив пальцы, и стал ощупывать воздух:

— Дэ три-и...

Николай Иванович раскрыл пятерню, заглянул в бумажку.

— ...ноль-но-оль...

Еще несколько голов склонилось над запиской.

— ...во-осемьдесят два!

За столом воцарилось молчание.

Должно быть, в записке и на самом деле значился такой номер.

— Прошу передать сюда три пирожных, — распорядился Гошка Вяземский.

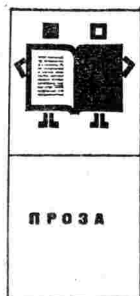
Николай Иванович, повертев записку, вздохнул и положил на тарелку свой нетронутый «эклер». На ту же тарелку легли еще два. Тарелка поплыла на противоположный конец стола.

Витюха отпустил мои плечи.

Гошка для верности тотчас откусил концы у всех трех «эклеров».

— Между прочим, это моя сестра, — объяснил он. И, хлебнув чаю, добавил: — Ду-ура...

(Окончание следует)



Борис Васильев

ПЯТНИЦА



Рисунки
М. Лисогорова.

Кровать стояла у окна, но спать все равно пришлось головой к дверям, потому что Костя постригся наголо. А рама не закрывалась с 1 мая по 7 ноября: накануне Международного праздника трудящихся Федя собственноручно обрывал шпингалеты:

— Все, слабаки, лафа кончилась. Закаляйтесь!

В комнате их жило трое: Костя, Федор и Сенечка Филин. Месяц назад Сенечка влюбился, описал это в стихах и отволоч их в заводскую многотиражку. Стихи взяли, а Сенечке вдруг разонравилась собственная фамилия:

— Понимаешь, не тот звук. Вот Лермонтов — это звук. Или Некрасов. Или, скажем, через тире: Лебедев — Кумач. Просто и революционно.

— Вот и ты давай революционно, через тире, — говорил Федя, приседая с двухпудовыми гирями на плечах.

— Думал, — расстроено вздыхал Семен. — Филин-Пурпурный? Филин-Аврорин? Филин-Красный?

— Краснов, — предложил Костя. — Коротко и ясно.

— Смейтесь все...

Неделю Сеня ходил сам не свой: кокал в столовке стаканы, выпустил кислород из баллона при сварке и прожег выходные штаны. А ночью вдруг заорал:

— Нашел!.. Ребята, нашел!..

Костя не очень переполошился, но Федор был из беспризорников, и синяк Семену достался. Зато стихи вышли в свет с гордой подписью: «Филин-Киноварь». Правда, радость оказалась недолговечной, потому что девочки вмиг переименовали революционный довесок в обидного «киноваря», но Сеня не очень огорчился.

Честно говоря, до этих стихов Сеня Филин имел другую программу: он собирался учиться на массовика-затейника и деятельно организовывал вечера с фокусами, беседы с играми и балы с научными загадками. Но, став Филиным-Киноварем, с удивительной быстротой сменил природную живость на поэтическую задумчивость и начал пропадать по ночам...

А Федор был человек самостоятельный: работал в кузнице, выжимал гири и носил тельняшку, хотя ни разу в жизни не видел моря. А главное, у него была цель: он хотел стать чемпионом. Сначала чемпионом завода, потом — района, потом — Москвы, а уж потом... Вот что будет потом, Федя представлял себе весьма туманно, но все равно никому не могло прийти в голову называть его Киновралем. Ломовиком, правда, звали, но Ломовик — это ж все-таки прозвище...

Вот какие парни жили вместе с Костей. А сам Костя существовал без всякого плана, и кто он, этот Костя, так никто на заводе толком и не знал. Ну, парень. Ну, монтерит. Ну, током однажды треснуло, еле откачали. Ну, что еще? Еще взносы платит аккуратно.

И даже когда Костя вдруг постригся под нулевку, на это не обратили внимания. Только Федор спросил:

— Для гигиены?

— Я в армию иду, — сказал Костя. — В понедельник с вещами приказано.

Конечно, постричься можно было и позже, но Костя хитрил. Он хотел поразить своим боевым видом некие серые глаза, но глаза не поразились, и Костина голова понапрасну мерзла по утрам.

Из-за этого он и проснулся в тот день ни свет ни заря. Повздыхал, повертелся, хотел было запихать голову под подушку, но тут в комнату вошел Сеня Филин-Киноварь и сообщил:

— Заря над миром мировая, о чем не думал никогда я!..

— Который час? — с тоской спросил Костя.

— Четыре. — Сеня явно был в ударе. — Рассвет пылает над Кремлем...

Тут он споткнулся о забытую Федором гирию и долго скакал на одной ноге. Потом уговорился и сел на кровать к Косте.

— А я знаю, почему ты не спишь.

— Голова босиком, вот и не сплю.

— Врешь! — Сеня засмеялся. — О Капочке думаешь, да?

— Какой Капочке, какой?.. Пошел ты!..

— Спать! — хмуро сказал вдруг Федор. — А то как дам гирей по башке...

В комнате сразу стало тихо. Костя попытался было нырнуть под одеяло, но Сеня не позволил. Зашипел в ухо:

— Массовка сегодня. Не забыл?

— Никуда я не поеду.

— Поедешь! Поедешь, потому что тебя Капа ждать будет.

— Ну, зачем, зачем врать-то?

— Будет! — Сеня тихо засмеялся. — Мне Катюша моя сказала. Сидит твоя Капочка у окошечка и звезды считает.

— Врешь ты все, Киновраль несчастный!..

Сенечка хохотал, возился, пока Федор не встал и не перебрался на соседнюю кровать. Там Сеня завернулся в одеяло и сразу уснул, потому что до выезда на массовку время еще было. И Федор заснул, погрозив на прощание могучим кулаком, а вот Костин сон куда-то пропал...

После того, как Костя побывал под высоким напряжением, в нем пробудился интерес к физике, который и привел его в заводскую библиотеку. За столом в библиотеке худенькая девушка застенчиво подняла на Костю большие спокойные глаза.

— «Кавказский пленник» есть? — посторонним голосом спросил Костя.

— У нас техническая библиотека. А вам нужно...

Костя уже знал, что ему нужно: глядеть в эти глаза и слушать этот голос. Но в нем не было ни Сенечкиной бестолковой настойчивости, ни Фединой тяжеловесной самоуверенности, и поэтому Костя молчал, когда встречался с Капой. А встречался он с нею часто, потому что Сеня вскорости влюбился в Капочкину подружку, и на первых порах они всюду ходили вчетвером. Но на этих встречах Капочка болтала со всеми, кроме Кости, и выходили одни страдания. И Костя однажды осмелел и пригласил Капочку в клуб. Там они долго стояли в углу: Капа говорила всем, что очень устала, а Костя ждал медленного танца, потому что от волнения никак не мог уловить ритм. Наконец заиграли что-то унылое. Костя, не дыша, взял Капочку за руки и тут же наступил на блестящие туфельки. В первый раз Капочка только испуганно улыбнулась, а в четвертый вдруг вырвалась и убежала. А Костя остался посреди зала, и танцующие толкали его со всех сторон.

И вот сегодня, в воскресенье, в шесть утра Капочка ждала его. Правда, Сеню недаром прозвали Киновралем, но в таком серьезном вопросе он просто не имел права обманывать. А, с другой стороны, Костя никак не мог понять, почему она тогда убежала, и поэтому вздыхал и ворочался, пока в половине шестого не прозвенел будильник...

Завком расстарался и добыл два грузовика и большой автобус. В автобус посадили девчат, ребята набились в открытые машины, и колонна тронулась в путь. Ехали по еще спящей, воскресной Москве, во все горло орали песни, и редкие милиционеры сердито грозили вслед. И Костя орал до хрипоты, потому что в сумятице у заводской проходной успел заметить, как оглядывалась Капочка, усаживаясь в автобус.

— Главное — инициатива, — поучал Федор в перерывах между песнями. — Сперва про звезды наворачивай, про мироздание. Большую Медведицу знаешь?

— Так ведь день, — сказал Костя. — Какая тебе Медведица?

— Ну, насчет стран света. Знаешь, с какой стороны муравейник строить полагается?

— Да что она, муравыиха, что ли? — рассердился вдруг Семен. — Спрячь ты свою эрудицию, пожалуйста —

ста! Девушке что нужно? Чувства ей нужны. Чувства, Костя, понял? Ты вздыхай больше. Вздыхай, цветы нюхай. А если спросит, почему грустный, отвечай: «Так...»

— А я про что говорю? — обиделся Федор. — И я про то же. Про чувства. Рассеянным стань.

— Как это? — удивился Костя.

— Ну, бормочи невпопад. А еще лучше потеряй что-нибудь. Расческу, например.

— Стихи, — мечтательно сказал Сенечка. — Основное — стихи. Выучил?

— Выучил, — вздохнул Костя. — Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, усакала от меня.

— Да... — сказали ребята.

Они очень грустно спели веселую песню, а потом Костя сказал:

— Я чего боюсь? Я боюсь, что не нужна ей такая голова.

Федор внимательно осмотрел круглую, как футболь, Костину голову, пощупал, похмурился:

— Уши торчат. Будто ты слон.

Тут они вдруг заулыбались и весело спели очень грустную песню.

Грузовики легко обогнали тяжелый автобус, и, когда девушки въехали на поляну, там уже вовсю развернулась массовка: играла музыка, летал мяч, а Федор демонстрировал поклонникам искусство выжимания тяжестей, подбрасывая захваченные из дома гири. Поэтому девичий автобус встречали двое: галантный Сеня, чудом не угодивший под колесо, и Костя во втором эшелоне. Разглядев из-за куста Капочку, Костя заорал что-то и ринулся в центр поляны, где любители перепасовывали мяч. Там он быстро сколотил две команды и стал играть с таким рвением, что пришел в себя, только наткнувшись на Катю.

— У папы было три сына: старший, средний и футболист. — Катенька была особой энергичной. — Так вот, я интересуюсь, ты до конца футболист или еще есть надежда?

— А что? — спросил Костя и покраснел от такого глупого вопроса.

Катя презрительно повела плечами и пошла. Костя откинул мяч, крикнул, что выбывает, и двинулся следом. Они свернули в кусты и остановились возле Капочки и Сени Киноваря.

— Центр-форвард в масштабе один к одному, — сказала Катя. — За мной, Филин: нам еще завтрак организовать нужно.

Косте очень хотелось крикнуть: «Не уходите!» — но Сеня с такой готовностью поспешил за Катей, а Капа так равнодушно смотрела в сторону, что Костя промолчал. И молчал долго.

— В июне будут грозы, — говорила Капа на ходу. — Вообще самый грозовой месяц — июль, но в этом году все будет раньше, я читала в «Огоньке».

Они трижды обогнули поляну. Шли аккуратно, по периметру, не вылезая на открытые места, но и не забываясь в кусты. Капочка толковала про осадки, розу ветров и влияние Гольфстрима на климат Подмосковья, а Костя слушал, как гулко стучит его сердце, и боялся, что Капочка услышит этот стук. Но она говорила и говорила, и Костя не догадывался, что она тоже боится. Он вдруг оглох, и ослеп, и слышал только, как журчит ее голос, и видел только, как бьется трава о ее колени. А вокруг играла музыка, орали ребята, в кустах целовались парочки, но это все было сейчас нереальным, призрачным и ненужным.

— Голова у вас не закружилась? — сердито спросила Катя, встретив их на пятом круге. — Иногда полезно ходить по прямой,



— По прямой?..— переспросил Костя и опять покраснел от собственной глупости.

— Вот именно! — отрезала Катя. — Топайте в лес и без букета не возвращайтесь. Это тебя касается, подружка.

Капочка молча покивала. А Сеня перехватил Костю и сунул ему свои часы:

— Отправление ровно в шесть вечера...

— Зачем?..— перепугался Костя. — Зачем мне часы?

— Чтобы не заблудиться, — вредно сказала Катя. — Умеешь определять, где юг, а где север?

— Я умею, — не глядя, сказала Капа.

И первой пошла прямо сквозь кусты...

В лесу было сыро. Солнце путалось в листьях, холодный воздух еще цепко держался под елями, и оголенные июньские комары кусали Костину голову. Он стеснялся чесаться и терпел. Капочка сорвала ветку и хлестала ею по голым ногам. Это был действенный способ, но бить хворостиной по собственной голове было унижительно. Костя изредка как бы в задумчивости проводил ладонью ото лба к затылку: башка зудела неимоверно...

— Зачем же ты постригся? — с материнской ноткой спросила вдруг Капочка. — Вот теперь напрасно мучаешься. Ведь мучаешься, правда?

Она повернулась, и Костя близко увидел ее спокойные глаза: серые, с рыжими блестками. Он никогда еще не видел их в такой пугающей близости, судорожно глотнул и сознался:

— Кусаются.

— А почему ты кепку не надел?

— Из моей кепки Федя Ломовик настольную лампу сделал.

— О господи, — совсем уж по-взрослому вздохнула Капа. — Ты пока похлопай себя, а я колпак сделаю: у меня вчерашняя «Комсомолка» есть.

Пока Костя хлопал, она быстро сложила из газеты большой корабль. Костя нагнулся, чтобы она надела этот корабль на его многострадальную голову, но Капочка сначала ласково погладила его, чтобы быстрее заживали комариные укусы.

— Плюшевый... — Она вздохнула. — Две макушки, значит, у тебя будут две жены.

— Нет! — закричал Костя. — Ни за что!..

— Примета, — важно сказала она. — И зачем ты только постригся?

— Я в армию иду, — тихо сказал он. — В понедельник к двум в военкомат.

— У нас же бронированный завод.

— Я добровольно.

— Молодец. — Капочка еще раз погладила его и надела колпак. И вздохнула. — Это ты правильно решил.

И опять, не оглядываясь, пошла вперед, похлопывая прутиком по ногам. Он глядел на эти белые ноги, видел, как легко топчут они цветы, и умилялся. Сам он сорвал три хилых стебелька, тискал их в кулаке и лихорадочно соображал, о чем бы завести разговор. Но в голове было гулко, как в колодце.

— В летчики попросишься? — спросила она.

— Нет. — Он догнал ее, шагнул рядом. — Меня в связь берут: я ведь монтер.

— Смотри, опять током треснет.

— Не треснет: там напряжение слабое.

— Три года! — сказала она. — Все-таки это ужас как долго. У тебя мама есть?

— Есть. Они с отцом под Москвой живут, в Софрине.

— А у меня только тетка. — Капочка вдруг поджала губы и липким голосом сказала: «Ну, куда, куда ты за платье хватаешься? Приличная девушка сначала одевает ноги...» — Она засмеялась. — А что мне ноги-то одевать? Сунула в тапочки — вот и готово.

— Здорово ты тетку изобразила! — восхищенно сказал Костя. — Она мизинцы оттопыривает, да?

— Все она оттопыривает, — вздохнула Капа. — Вообще-то она, конечно, заботится обо мне. Только... только она ужас какая жадная. И все велит считать и записывать. Купила спичек и — записывает. А уж про вещи и говорить нечего. Я, знаешь, как тогда наревелась?

— Когда? — со страхом спросил Костя.

— После танцев. Я ведь ее туфли надела. У меня нет на каблучке, вот я и надела. А ты их оттоптал, Собакевич.

— Капочка...

Они остановились. Капа как-то боком, как птица, глянула на него, спросила вдруг:

— Какая же я девушка: приличная или не очень?

— Капочка, ты... — Костя задохнулся от восторга и волнения. — Ты...

— Цветы собираешь? — Она улыбнулась. — Торопишься?

— Нет, что ты! Я думал...

— Думать сегодня буду я, — тихо и как-то особенно серьезно сказала она.

И, не ожидая ответа, зашагала в лес. А Костя, сбросив цветы, покорно шел следом...

Они вырвались из комариной низины, и теперь вокруг них щелкали птицы, жужжали шмели и звенела тугая листва. Пахло разогретыми соснами и земляникой, и Капочка, присев, уже собирала в ладошку редкие ягоды. Потом сказала:

— Закрой глаза, открой рот.

Костя крепко зажмурился, и она высыпала ему в рот землянику.

— Вкусно?

Он чуть коснулся губами ее сладкой земляничной ладони. Сердце грохотало, заглушая птичьи голоса, хотелось прикоснуться, прижаться хоть на мгновение к ее губам, но он не смел. Он испытывал почти священный трепет и, случайно касаясь ее платья, поспешно отдергивал руку.

— Ты хотел бы стать Робинзоном?

Он с трудом расслышал, что она спросила. Глянул, словно вынырнув:

— Нет.

— Почему же нет?

— Капиталист он. Идеология капитализма, все себе да себе.

— Так ведь не было же больше никого!..

— А Пятница? Зачем он Пятницу слугой сделал?

— Служой?... Капа подозрительно заглянула в его глаза. — Неужели для тебя это главное в Робинзоне Крузо?

— Нет вообще-то... — Костя хмурился, думал. Потом сказал: — Главное, человек не может один. Без общества, без коллектива, без... — Он запнулся. — Без друга. Ты не согласна?

— Вон ты какой, — удивленно протянула Капа и, неуловимым движением подобрав платье, опустилась на траву. — Ты, оказывается, и спорить умеешь?

— Если нужно... — Костя сел рядом, позаботившись о дистанции. — С Федей приходится.

— А с Сенечкой Киновралем?

— А зачем с ним спорить? Он в стихах весь. В стихах да в Кате.

— В стихах да в Кате... — повторила Капа. — Катя счастливая, правда?

— Не знаю. Федор говорит, что счастья вообще нет, потому что счастье — это миг.

— А ты как думаешь?

— По-моему, миг — это счастье для пауков. Словил муху — вот и все счастье. А для человека...

До сих пор он говорил, не поднимая головы, а тут вдруг поднял. Поднял и увидел ее глаза: серые, с рыжими блестками... И сразу пересохло во рту, гулко загудело в ушах, и он, уже не соображая, неуклюже, по-телячьи ткнулся лбом в ее колени...

— Эй, ребята, бычков не видали тут?

Костя рванулся в сторону, перелетел через куст, вскочил, часто моргая и задыхаясь. А Капа и не шевельнулась: одернув платье, невозмутимо поправляла прическу.

— Бычков, спрашиваю, не встречали?

Проморгавшись, Костя обнаружил маленького замшелого деда-опенка: в мятых штанах, сатиновой рубашке и нелепой соломенной шляпе с огромными полями. У деда были хитрые выцветшие глазки, плешистая борода и корявые, растоптанные ступни.

— Каких бычков?... — с трудом спросил наконец Костя.

— Колхозных. Вчерась на ферму не заявились, вот сегодня меня и послали искать заместо воскресного чина-почина. Два бурых, один пегий...

— Не знаю, — сказал Костя.

— А вскочил, будто своровал чаю. — Дед хитро посмотрел на невозмутимую Капочку. — А может, своровал?

— Он, дедушка, не грабитель, — ласково улыбнулась Капа. — Он в армию завтра идет.

— Полезное дело.— Дед уселся на соседнюю кочку и достал кисет.— Сам служил, полезное дело. Табачком балуешься?

— Я не курю.

— Ну, закуришь еще. Жизнь, она длинная, в ней обязательно даже закуришь. От тоски.

— В нашей жизни нет никакой тоски,— недружелюбно сказал Костя.

— А она не в жизни, тоска-то. Она в человеке заводится. И ежели ты не вор,— тут дед опять хитро покосился на девушку,— то может тоска та в тебе завертеться, и станешь ты ее дымом из себя выживать. Вот так-то.— Он поднялся.— Ну, счастливо вам, парочка—барашек да ярочка.

— Спасибо.— Капа встала.— А что значит счастливой быть?

— Ну, тебе, значит, жизнь перелить в сынка или в доченьку. А стриженному твоему—вырастить их да на ноги поставить.

— А вам?

— А мое счастье—помереть в одночасье,— улыбнулся дед и шустро затопал через поляну.

— Дедушка!..

Капа догнала его, о чем-то потолковала, долго махала вслед. Потом вернулась с ломтем ржаного хлеба, густо посыпанным солью. Она отломала от ломтя маленький кусочек, а остальное протянула Косте.

— И лучше не спорь. Ешь и не спорь со мной.

Костя был голоден и не спорил. Только дожевывая этот необыкновенно вкусный хлеб, проворчал непримиримо:

— А насчет счастья он неправду говорил, дед этот. Неправильное у него представление о счастье, частное какое-то.

— Как у Робинзона Крузо?—не без ехидства спросила Капа.

— В общем, да,—сказал Костя.—Зачем он жил, Робинзон этот?

— Как зачем? Чтобы выжить.

— Значит, есть, пить, спать? Так для этого и те бычки живут, которых дед искал. А я человек, мне этого мало.

— А что же тебе надо?

— Не знаю.—Костя вздохнул.—Может, это еще понять нужно? И, может, человеческое счастье в том и состоит, чтобы понять, для чего ты на свете живешь?

— Может быть...—Капа тоже вздохнула.—А я знаю дорогу в деревню.

— А зачем нам в деревню?

— За молоком,—неопределенно сказала она.—Сколько времени?

— Двенадцать часов без четверти.

— Вот видишь.—Она опять вздохнула.—Кажется, нам пора.

Мир стал тускнеть, наливаясь свинцом, и даже сосны вдруг зашумели тревожно. Костя огляделся. С запада шла низкая черная туча.

— Гроза,—сказала Капа.—Все равно придется идти в деревню.

Костя промолчал. Она подождала ответа, вздохнула и пошла вперед: вниз, к невидимой речке. А он послушно шел следом...

Сосновый лес незаметно перешел в сырой осинник, сквозь кусты блеснула медленная и запутанная лесная речка. Они спустились к воде и нашли кладку: два неощипанных березовых ствола. Капа сняла тапочки, первой осторожно ступила на скользкие бревна.

— А знаешь, зачем я у дедушки хлеб выпросила?—вдруг спросила она.—Есть такая примета: если поест от одного куска...

Босая нога соскользнула с гладкой березы, Капочка взмахнула руками и, ахнув, полетела вниз. Костя прыгнул следом: ему было по пояс, но Капа падала боком и угодила под воду с головой. Костя подхватил ее, мокрую, испуганную, жалкую. Схватил, прижал к груди и замер, боясь, что она рванется, оттолкнет... Но она молчала, и он долго стоял в воде, бережно держа на руках ее невесомое тело.

— Тапочки!..—вдруг крикнула она.—Я же тапочки утопила!..

Они бестолково бросились к берегу, завязли в осоке, упали.

— Может, они еще плавают?

Костя побежал, шурша мокрыми штанинами. Метался по берегу, распугивая лягушек,—тапочек нигде не было. Так и вернулся ни с чем, а Капа еще издали закричала:

— Не подходи!..

Сквозь листву смутно белело что-то. Потом над кустами взлетели руки, и Капа спросила:

— Ну, где ты там?

Костя подошел: она наспех одергивала кое-как отжатое платье.

— Утонули.

— Знаешь, я платье порвала,—тихо сказала она.—Вот.

Повернулась, чуть выставив ногу: на мгновение мелькнуло голое бедро и сразу исчезло.

— Не расстраивайся...

Тут он вспомнил про часы. Поболтал: в корпусе хлопала вода.

— Стоят.

— Господи, какая я нескладеха! — с досадой воскликнула она.—Ты один в деревню пойдешь.

— Почему один?

— Я заявлюсь в рваном платье и босиком, да? Ты выпросишь иголку и ниток. Белых! И узнаешь, как нам до своих добраться.

— Ты здесь ждать будешь?

— Здесь меня комары сожрут: они обожают мокрых. Иди вперед.

— Почему?

— Господи, какой ты глупый! Да потому, что я страшная, вот почему. И смотреть тебе не на что.

Костя хотел сказать, что смотреть ему есть на что, но не решился. С темного неба тяжело упали первые капли.

— Дождика нам еще не хватало,—вздохнула Капочка.—Ох, какая же я телема!

— Кто?

— Не оборачивайся! Телема—значит нескладеха. Так меня тетка величает.

Они миновали кусты, и справа показался полуразрушенный сарай. Костя добежал до него, открыл скрипучую дверь, заглянул.

— Иди сюда!

В сарае еще недавно хранили сено. Костя сгреб остатки в одно место, взбил, сказал, не глядя:

— Грейся. Я мигом...

Низкие тучи металась по небу, но дождь все никак не мог разойтись. Часто грохотал гром, желтые молнии вспарывали пыльный небосвод, а капли падали редко, словно прицеливались, куда ударить.

Костя бежал к деревне, а невесть откуда взявшийся ветер бил в лицо, прижимал к телу мокрую одежду. Луга кончились, по обе стороны проселка, чуть прибитого робким дождем, тянулись поля; гибкая рожь стлалась под ветром. За полями совсем близко виднелись первые крыши. Костя избежал на бугор, за которым шли огороды, и... И остановился.

Вой стоял над деревней. Жуткий, бессмысленный бабий вой над покойником, над минувшим счастьем,



над прожитой жизнью. Безостановочный, пронзительный плач метался со двора во двор, из избы в избу, и не было в нем ни просвета, ни передышки, как в том низком свинцовом небе, из которого хлынул наконец ливень. И Костя мок под ливнем и не смел войти в эту деревяню, в этот страшный, кладбищенский плач, древний, как сама гроза.

Вымокнув до нитки, Костя пошел назад, подгоняемый чужим стонущим горем. Добрел до сарая, проскользнул в скрипучую дверь и чуть не заорал, увидев что-то белое, что мерно качалось под перекладиной. Но тут сверкнула молния, и он успел заметить, что на палочке болтается Капино платье.

— Промок? — тихо спросила она из угла.

— Я не принес ниток, — вздохнул он. — Там несчастье какое-то, в деревне: воют все разом, будто в каждой избе по покойнику.

— Ты простудишься, — сказала она. — Сейчас же все сними, слышишь? Я отвернусь.

Костя покорно стянул липнувшую к телу рубашку и Брюки, отжал, раскинул на загородке. Снаружи по-прежнему лил дождь, сквозь дырявую крышу капало, и Костя, поеживаясь, все выбирал посуше местечко...

— Ну, где же ты? — шепотом спросила Капа. — Ты же простудишься так. Иди сюда: в сене тепло...

Он не помнил, как сделал эти четыре шага. Шел, как слепой, вытянув руки, наткнулся на Капочку, упал рядом.

— Мокрый, — озабоченно сказала она. — И вытереть-то тебя нечем. Ближе ложись, я тебя сеном укрою.

Как пахли ее волосы! Сеном и дождем, солнцем и земляникой, женским теплом и сосновой смолой. Не смея прикоснуться, Костя держал руки по швам, боясь шевельнуться, боясь спугнуть, боясь оскорбить эту немислимую щедрость...

— Обними меня...

Неужели ночь сменяет день только потому, что земля вращается? Неужели все льды Арктики нельзя растопить теплом одного-единственного человеческого сердца? Неужели есть на земле рыдающие деревни и черные грозы? И неужели может быть на свете вторая, третья, десятая любовь?..

— Я люблю тебя. Слышишь? Я люблю тебя!..

— Говори. Говори, что ты любишь меня. Говори.

— Я люблю тебя.

Он чувствовал себя взрослым, могучим, готовым сделать все, что прикажет эта единственная во всем мире женщина.

— Меня нельзя любить, — вдруг сказала она. — Разве можно любить девушку с таким длиннющим именем — Капитолина?

— Капелька!.. — Он зарылся лицом в ее волосы. — Я знаю, что такое счастье, Капелька. Счастье — это ты.

— Неправда! — Она радостно засмеялась. — Сам на дедушку накричал...

— Счастье — это ты, — убежденно повторил он. — Знаешь, каждый из нас в юности высаживается на необитаемый остров. Каждый из нас строит свой собственный дом и сажает свой собственный хлеб. У кого-то этот дом течет, а хлеб получается горьким, но это не беда. Главное, что все мы Робинзоны, и все ждем свою Пятницу. И когда приходит она...

— Вы делаете ее слугой.

— Нет, Капелька! Я дождался тебя в воскресенье, значит, ты не Пятница. Ты мое воскресенье.

— Я твоя Пятница. Твоя Пятница, слышишь?.. Обними меня. Крепко, крепко!..

— Завтра мы пойдем в загс...

— Зачем?

— Разве мы не муж и жена?

— Мы муж и жена. Но лучше ты спроси меня об этом ровно через три года.

— Но почему, Капелька?

— Надо уметь ждать, Костик. Считать дни и часы, мечтать о встрече, писать письма и все время думать друг о друге. И я хочу ждать. Хочу плакать в подушку, хочу мечтать о тебе. Наверно, это и есть счастье: уметь мечтать и верить в свою мечту.

— Я люблю тебя. Слышишь? Я просто люблю тебя.

— Какой сегодня удивительный день!..

Разве существует время? Нет. Остановились все часы, и только два огромных человеческих сердца грохочут сейчас во всей вселенной...

— Я люблю тебя.

Разве существует пространство? Нет. Оно до отказа заполнено тобой. Твоими глазами. Твоей улыбкой.

— Я люблю тебя...

— У нас будут дети. Трое: девочка и два мальчика.

— Хорошо бы близнецы...

— Глупый! Это, знаешь, как редко случается?.. Ужас!.. Но ты не бойся: я крепкая.

— Ты красивая. Ты очень красивая.

— Что ты! Я телема. Это просто счастье во мне светится. Как лампочка.

— Пусть дети будут похожи на тебя.

— Мальчики — на меня, а девочка — на тебя: есть такая примета. И еще: первой обязательно должна родиться девочка.

— Почему?

— Она будет мне помогать.

— А как мы их назовем?

— О, это нельзя решать заранее! Есть имена весенние, а есть осенние, и все зависит от того, когда человек рождается.

— У тебя весеннее имя, Капелька...

Гроза давно прошла, тучи разогнал ветер, и над миром опять светило огромное и равнодушное солнце. А в деревне все еще женщины плакали, бились о твердую землю, рвали на себе волосы. И в старом сарае на охапке прошлогоднего сена сидели двое: стриженный парнишка и большеглазая худенькая девочка...

А времени действительно больше не было: часы Сени Киноваря остановились на трех минутах первого в воскресенье 22 июня 1941 года...

☆

В этот день, ровно в четыре утра, мой сосед, скрипя протезом, неторопливо спускается во двор. Когда он проходит мимо дворников, они, оставив работу, приподнимают пыльные кепки, долго по очереди тискают его руку и уважительно протягивают папиросы. Он садится на скамейку у детских качелей и закуривает. А над Москвой тихо всплывает заря. Розовеют сонные облака, вздрагивает листва на деревьях, медленно светлеет тяжелый от росы песок в детских песочницах. И дворники тоже курят и тоже смотрят, как поднимается над землей мирная, румяная со сна заря.

Константин Иванович, угрюмо нахохлившись, разглядывает папиросу и вспоминает тех, кто никогда не увидит ни зари, ни заката.

И дворники тоже вспоминают. Вспоминают своих поэтов и своих кузнецов...

У Константина Ивановича большая семья: два сына и дочь, только сыновья родились сначала. Они много путешествуют, молодежь ходит в походы зимой и летом. Один раз всей семьей они были в Польше и медленно прошли весь Освенцим — от ворот до печей — тем самым путем, которым прошел его когда-то заводской поэт Семен Филин-Киноварь. А однажды они заехали в Севастополь: постояли у обелиска, на котором пятым сверху значится старшина Федор Ломов. Нет, московский кузнец не зря носил тельняшку.

А вот в Смоленск Константин Иванович всегда приезжает один. Он копит отгулы, чтобы раз в году выйти на огромную пустую площадь. Ветер гоняет рыжие кленовые листья, треплет седые волосы Константина Ивановича. Но он стоит долго и одиноко, стоит, не шевелясь. Стоит на том самом месте, где 17 октября 1942 года гестаповцы повесили партизанскую связную со странной подпольной кличкой «Пятница»...

И о ней он никогда не рассказывает. Никому...

А потом по асфальту звонко стучат каблучки:

— Папка, я пошла!..

Константин Иванович машет рукой, и тяжелые солдатские медали чуть звякают друг о друга. И мне всегда кажется, что он шепчет вслед этим веселым, звонким каблучкам:

— Возвращайся счастливой, дочка. Пожалуйста, возвращайся счастливой!..

У его девочки редкое и очень длинное имя: Капитолина. Капелька...



Василий Бочарников

ЖИВУ В ЛЕСНОЙ ДЕРЕВЕНЬКЕ...

Миниатюры

Рисунки В. Былинкина.

Я всегда любил волшебство
деревни.
Антуан де Сент-Экзюпери.

1. АРКА

Под эту арку водить бы новобранных — никогда бы не было разводов.

Лес прорублен дорогой, с моего увала видно, как дорога упала перед лесом на колени, вясь, побежала низом, низом и, только вымолив прощение, поднялась в гору.

Где-то на середке меж увалами вознесена арка, белая, тонкая, с женскую руку. Арка соединяет лес по левую сторону дороги с лесом по правую сторону дороги.

Если вы думаете, что кто-то врыл столбы и соединил их изогнутой алюминиевой трубкой, покрасил трубку серебристой краской и так получил арку, то это будет кощунственно. Живая арка, друзья, живая! То береза так нагнулась, не утерпела, перебежала вершинкой к соседям пошептаться, новостихи, узнать, а Берендей, застав ее на месте преступления, повелел с того часа так стоять.

И стояла она белой, живой аркой. Бежит под ней дорога, люди идут, удивляясь.

Под эту арку водить бы новобранных — никогда бы не было разводов.

2. ФУТБОЛ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

Ребята нашей деревни пригласили на товарищеский матч футболистов из ближней деревни Аристово. Аристовские вызов приняли. И вот за полдень появились юные футболисты — кто на мотоцикле, кто на мопеде, кто на велосипеде. Ни одного пешего!

Хозяева и гости оглядели поле на луговине у речки.

— Нужно бы прокосить штрафную площадку у западных ворот, — сказали аристовские.

Принесли косы, и футболисты показали, что и это дело им привычное.

— Не хотите ли, ребята, освежиться перед матчем? — радушно пригласили хозяева своих гостей.

Обе команды полезли в речку. И взбурлилась, вспенилась Сутка.

Футбол был по всем правилам и, как водится, с болельщиками. И счет — это вам не «Спартак» и «Зенит» — солидный: семь—три в пользу ребят нашей деревни.

А час спустя после матча я видел нападающих и защиту на телегах с сеном, у козел перед грудой березового кошеvníка, шагающими с ведрами по тропинкам от своих огородов к речке.

3. КОНИ

В досталь колхозной работы и грузовикам, и тракторам, и комбайнам, и самоходным косилкам. Но сколько бы они ни брали ее на себя, все равно коню останется его доля работы.

Раскисли от дождей дороги, и вместо молоковоза отпотевшие после ледника сизо-белые, цвета капустного листа бидоны покати́л Воронко.

Мост в половодье сорвало, понуро ждут машины переправы, а на лесопилку подавай кражи, и уже поругивает председатель бригадира Терентия, и тому нечего возразить: в его бригаде был и уллыл мост. Но найден выход: дед Степан снимает с телеги передок, выпрягает Метеора, и Метеор, гнедой грудастый мерин, на которого сажай хоть самого Илью Муромца — будет картина! — тащит через сбесившуюся речонку три крепко прихваченных к передку пеньковой веревкой бревнища.

— Но-о, Метеор! — покрикивает дед Степан. — Но-о, мила-ай!

Пашут концы бревен землю. И уже застучала обредованная пи́лорама на лесопилке.

А кто отнимет у коня его свободный маневр — в поле, в лесу? Куда задумал подъехать, туда и подъехал. Кто, к примеру, вытянул у нас с толкого луговища сено на волокуше? Воронко, Метеор, Барон да Маруська.

Конь не любит асфальта, верно, ему копытами бить землю, землю в росе, в дожде, сухую, но подающуюся копыту, и он тогда будет везти долго...

А ночное! Скажи моим ученикам Сергуньке Березину, Витьке Водовозову, любому: «Сегодня по телевизору футбол СССР — Австрия, поведете коней в ночное?» — и ответ будет: «Знаю, поведем... Футбол еще будет».

И еще я знаю, что и Юрий Гагарин, и Герман Титов, и Андриян Николаев осваивали первую космическую скорость на земле, на колхозном коне. Да-да, конь приучает быть смелым человеком.

На приречном лугу пасутся кони. Хрустят травой, фыркают, тяжело вздыхают, время от времени, подняв голову, словно вызывая заречных гороховских коней, ржут, и трубные звуки их лопят лес, река, деревня. А мы вырвались из се-

нокосной горячки и купаемся в Сутке. И нам как-то уютно и спокойно оттого, что рядышком с нами кони.

4. РЕМОНТ ИЗБЫ

Избу срубили еще при царе. На бревна возили ели из Ковальцовского леса. Громадные. Только по одной, поднимая вагой, привязывали к передку. Коняга напрягался, веревочное крепление скрипело, и бревнище, бороздя концом землю, ехало на новое место своего жительства. Тогда в деревне Лотково, как и в других деревнях, и в помине не было ни тракторов, ни автомашин — вообще не было никакой техники, кроме маленького плужка какой-то иноземной фирмы.

Каждый паз сруба проложили седым мхом, который перед тем для мягкости били цепами, и на эту подушку легли вековые и навек ели Ковальцовского леса. Звонкая, славная изба вышла: зимой тепла, летом прохладна.

Три поколения Березиных выросли в этой избе — люди трудовые, сильные. Хлеб сеяли, города строили (больше по топорной части), а припекало — и врагов били (всегда находились охочие до русской земли...).

А еще изба та, по подсчету деда Степана, выпустила — с первого и по нынешний — шестьдесят пять поколений ласточек. Под ее приветливым карнизом росли крылышки, может, и этих ласточек, что ходят стремительными кругами над солнечным Лотковым.

Люди стареют, и — дерево. Почернели, потрескались бревна, и как-то грузно, неловко, не по своей воле, осела и подалась наперед изба.

— Нужно бы пояска три споднизу пропустить, — решили Березины на семейном совете.

Дело летнее, заботливое. Все Березины заняты, кроме деда Степана. Но и ремонт на другой срок относить уже нельзя. Плотников рядить? Почто! Да в нашей лесной сторонке каждый с малых лет ловчит руку к топору. Сами взялись. Пригнал Васятка, внук деда Степана, два пятитонных автокрана, зацепили избу крюками под низ, предварительно опилив печное чело, да и подняли избу. В один вечер пропустили три пояска из новых елей. А на другой вечер косяки вставили. И обновленная изба встретила новое утро с таким видом, будто говорила: «Еще столько же проживу».



5. ГОДКИ

Сприходом в деревню вечера небо делается просторным и мягким для глаза. Каждое дерево, если глядеть снизу на пригорок, где деревня, похоже на часового, которому доверено охранять тишину изб, сараев, бань, колодцев.

Я знаю, что и сегодня увижу у избы, на лавочке под тополем, дядю Костю, чисто вымытого, в синей расстегнутой косоворотке, какие теперь шьют разве только для солистов народных хоров. На коленях у него будут лежать жилистые, загорелые руки. Он мне не раз их показывал со словами:

— Вот, пятый год на пенсии, а мозоли не сходят... Так? А ведь я, по-хорошему разобраться, интеллигент — ветеринарный фельдшер.

Вся округа знать не хочет, что дядя Костя на пенсии, уверовала в человека. А он вдобавок еще плотничает, а он еще на сенокосе молодого за пояс заткнет, а он еще крутит ручку медогонки не только в своей, но и в других избах, и пасечника нет лучше его. Но по секрету скажу (только бы тетя Настя не прознала!), что мозолям своим рад он. Рад.

Тополь, под которым любит сидеть дядя Костя, высоченный-высоченный, крепок стволом и с раскидистым верхом. По тем корням, что из земли вышли, видно, какой круг он себе отхватил от лотковской общей земли; кора у тополя в трещинах, затвердела от ветров да морозов.

Дядя Костя и тополь — годки. Родился, и в его честь дед посадил деревце. И росли рядом: человек и дерево, на одной земле, с одной судьбой. Были у них разлуки, встречи были, свои секреты — как водится.

Человек состарился, дерево — нет. Теперь все чаще и чаще видят их лотковцы вместе — дядю Костю и тополь. Тополь спустил ветви долу и слушает, о чем это говорит сам с собой его друг. А то сам примется рассказывать ему разные разности, только слушай. Я знаю, что зеленый годок доверяет седому годку и все свои секреты: поди, рассказывает, кто с кем встречается, когда отцы и матери спят, и про меня наверняка доложил, как мы с Никой обсуждали тут первые дни своей жизни в Лоткове.

— Эко не могут друг без друга и дня обойтись! — кивают головами лотковцы, но я заметил, что при этом глаза у них теплеют.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Косили клевера перед Козловским лесом. Славно уродились — тракторные передние колеса тонули в них; каждая головка мохнато-крупная, розовая, словно в солнце обмакнули.

Косилкой управлял Кешка. Кешка недавно вернулся в колхоз из училища механизации.

К косцам на мотоцикле подкатил председатель колхоза Глеб Иванович. Прошелся по покосу, цепляя рукой пучки клевера там и там, разглядывая и нюхая их, последил глазами, как горбится на сиденье голый по поясу, бронзовый от загара Кешка, остановил трактор.

— Высоко берете, ребята. И пропуски находил... Это при нынешней золотой погоде-то...

Кешка озлился. Не замечая укоризненного взгляда тракториста Васи Березина, выпалил председателю:

— А ты сам сядькошь на мое место и покажи, как надо!

— Сядькошь?.. Словечко-о!.. — усмехнулся Глеб Иванович. И приказал Васе: — Пошли.

Высокий, в летней белой шляпе, в сандалиях на босу ногу, председатель ловко впрыгнул на сиденье, выкинул подстилку и скомандовал, оживляясь: — Трогай.

Трактор сильно, грудью, пошел на клевера. Застрекотала косилка, широкая ровная полоса сваленной травы потянулась за ней.

Председатель успевал приноровиться к ходу трактора, прицеливался к бежавшему навстречу клеверному полю и легко пускал ножи. Работал молодецки — это понял Кешка уже на первом круге. И, смущенный, поднял руку, останавливая косцов.

— Погоди-и да погляди-и! — весело крикнул председатель, ловко управляясь со своим штурвалцем.

Над клеверным полем пели жаворонки, Кешка удивился: как же он не слышал их раньше?



7. ЧЬИ ГРИБЫ ЛУЧШЕ

Случилось так, что сошлись мы с дядей Костей перед деревенской заставкой у изгороди; дядя Костя нес корзину-плетюху, полную грибов, из Сенчихинского леса, а я из Ковальцовского. Наверх я специально выложил боровики-красношапочники и пару груздей, а у него поверх поплавок — так у нас сыроежки называют — россыпью желтели листочки.

— Ну, Константин Андреевич, чьи грибы лучше? — пошутил я.

— А вот доживем до вечера и узнаем, — отвечал он, щуя глаз, убитый глаукомой.

— Почему же до вечера, почему же не сейчас? — удивился я.

— А ты подумай. Подумай... — отвечал он и пошagal, помахивая палочкой.

Часа через три, искупавшись, позагорав, почитав в прохладе сеного сарая «Воспоминания» Ромена Роллана, я наведалься к Озеровым.

— Тетя Настя, а где же дядя Костя?

— Твое дядю Костю собаками ищи — не сыщешь. Как проводил корову в стадо, так и подался с бригадой косить травы по Аристовской речонке, оттуда пошел шастать за грибами, грибы принес, пообещал — пошел на лесопилку помогать бревна пилить: сарай строят; а оттуда, мне уже сказывали, увели дружка нашего в Анжурово, на помощь — у коровы живот вздуло... Вот он у меня какой — пенсионер! — Засмеялась.

Теперь, даже до вечера не дождавшись, знал я, чьи грибы лучше.

8. КРУЖКА МОЛОКА

Мать у Вовы — доярка на ферме и каждый раз перед вечерней дойкой ходит косить подкормку коровам.

И сегодня собралась. Вова сказал:

— И я с тобой, мама.

— Ладно. Двоим-то нам веселее будет... — отвечала мать.

Пришли на поле с зеленым горохом — тут подкормку косили, мать сказала ласково:

— Сядь, попасись. Ишь — стручки какие бокастые, поспели.

Вова взял косу у матери, поплевал на ладони, как делал умерший отец, и стал косить. Конечно, у двенадцатилетнего мальчишки какой замах? Ширял косой, пожалуй, слишком часто, но за собой никаких следов не оставлял.

Мать, выжидая, постояла, постояла, потом села лицом к сыну, а сын все косил и косил.

А горохом полакомился Вова только тогда, когда на дорогах везли они его на ферму.

Раньше мать ставила на стол, старый стол, у которого от скобления доски были желто-белыми, кружку молока, отрезала ломоть хлеба и, помнится Вове, ничего не говорила, уходила к своим делам. А сегодня налила молока в ту же самую кружку, отрезала такой же ломоть и сказала:

— Пей... Заработал...

Показалось Вове и молоко вкуснее и хлеб.

9. ДВЕ ТРОПКИ

К дому дяди Кости две тропки: одна — к крыльцу, вторая — к окошку горницы. Днем в постоянной работе первая тропка: вызывают старого ветеринарного фельдшера, что называется, по боевой тревоге — теленок захворал, корова трудно телится. А ночью работает вторая тропка: прибежит перепуганная бабенка с фермы, потянется на цыпочках и нетерпеливо забарабанит кулаком по раме или зачистит прутиком по стеклу, аж замазка отскакивает:

— Дядя-а Костя-я!

— Иду-у! — несется в ответ. Другого ответа не слыхивали от дяди Кости вот уже сорок лет подряд.

Обновляя замазку, примется тетя Настя корить мужа:

— На пенсии ведь ты-ы!.. Мог бы объявить — усовестить: дайте, мол, отдохнуть человеку. Люди ведь вы!..

Дядя Костя смеется. Сносит ругань, а когда уж надоест, отвечает:

— На полтора десятка деревень у одного у меня две тропы к дому. Две-е!.. Понимать надо...

Нет конца затяжному дождю. В дождь ночь еще темнее. Старый фельдшер в резиновых сапогах по грязице не идет, а плывет в соседнюю деревню. Срочный вызов.





Евгений
Винокуров

Фантазия

Фантазия взрывает города,
Ломает скалы и дробит камень.
Она туда приходит без труда,
Куда попасть нельзя без разрешения.
Фантазия, подобная ужю,
Вползет в подполье через плющ бойницы.
Мгновение — и я уже кружу
Над старым замком наподобье птицы.
Фантазия вручает нам ключи
От тайников и заповедных комнат,
В которых год хоть на голос кричи...
С ней помнят то, чего уже не помнят.
Лишь отними — какой унылый вид,
Как люди робки и как неумелы...
Фантазия безумие плодит,
Творит фантомы, создает химеры.
Как радужные водоросли с дна,
Она встает. Ее бунтуют кони...
Весь этот мир — фантазия одна,
За исключением хлеба на ладони.



Что молодость — экое дело!
Прошла, хоть мила не мила!
Ты черное платье надела,
Ты белое платье сняла.
А мне-то вот как разобраться
В себе, ты сама посуди:
Я только лишь стал оперяться,
А молодость позади.
Так что же, прошло то, что снилось!
И вспомнить уже недосуг!
Осталась лишь детская хилость
Уныло опущенных рук.
Так что же, ушло то, что пелось!
Осталась какая-то муть
Да детская неумелость
Пуговицу застегнуть.
Так что же, все то, что хотели,
Вот так-то и не сбылось!
Ломота какая-то в теле
Да боль под лопаткой насквозь.
Так что же, не значит ли баста!
Тревожить по пустякам!
И, значит, осталось — лекарство,
Сошкурившись, капать в стакан.
И все ж я о чем-то гадаю,
Не успокоюсь на том.
Я молодость лихо глотаю
Соленым от сухости ртом.

Так что ж: я играю без правил,
И, значит, назад 'сади!
Я крылья еще не расправил,
А молодость позади.

Змея

Любитель странных аллегорий,
Ценю подъятую в бою
Хоругвь, там, где святой Егорий,
Копьем пронзающий змею.
Еще ценю, как древний гностик,
Картину: девица мила
И держит яблочко за хвостик.
Змея же ветку оплела.
Вот целомудрие. Вот доблесть...
...Еще я рад, что обрело
Такой простой и четкий образ
Навеки мировое зло.

Европа, 1940

Тесали камень, грунт мостили
И стены клали в пять рядов.
Так образовывались стили
У европейских городов.
Какой линейкою измерим
На фризах вычурных цветы
И бастионы те, что хмелем
Застенчиво перевиты!
И храм, где рядом луг газонный,
А дальше домики крестьян,
Где у ворот висит пронзенный
Стрелой смертельной Себастьян,
Где ветки в парке никнут на лед,
Амурчик выставил пупок...
...Неужто это все раздавит
Солдатский кованый сапог!

Женщина на берегу

Тело твое — ты спишь —
Раскрылось. Песку нанесло.
Кругло оно, как голыш,
Гладко оно, как стекло.
Белый таит покров,
Будто бы дальний свет.
Нет у него углов,
Ломаных линий нет.
Все ж не годится, по мне,
Так раскрываться днем!..
...Ты ж разметалась во сне
И позабыла о нем.

Молоко

Была бы пагубной попытка
Отделаться на все века
От благородного напитка —
От пенящегося молока.
Смотри: в нем плавает соринка!
В нем трав запутанных настой.
Смотри: вон запотела крынка
В ладони женщины простой.

Смотри: рыжи, белоголовы,
Среди ромашковой пыльцы
Топырят мрачные коровы
Свои вселенские сосцы.

Так припади же ртом и прямо
Тяни, руками теребя.
Как бы сама проматеръ, Брама,
Питать вдруг начала тебя.

«Еще, мол, не обсохло...» — шутка!
Оно поспорит с мышьяком:
Ведь отравление желудка
Излечивают молоком.

И головы ломать ученым:
В чем счастье все! В чем радость вся!
Ни порошковым, ни сгущенным
Такое заменить нельзя.

Пусть холод за окном, пусть сыро,
Но ты в стакан его налей:
В нем сконденсирована сила
Июльских солнечных полей.

Пусть будет даже водянисто
Иль пленка желтая жирна,
Густая сила материнства
В нем, в глубине заключена.

Я верен старому устою...
Но не с вином, но не с водой
Стакан подымаю пред собою —
С той древней жидкостью святой.

□ □ □



**Камиль
Мустафин**

Матросы двадцатых годов

Опять вспоминают матросы
невзгоды двадцатых годов,
широкие алые ленты
достав из своих сундуков.

Тех лет героических фото
мальчишкам волнуют умы:
вот это, мол, с Лениным рядом
персоною собственной — мы!

А в праздник, на улицу выйдя,
мурлычат знакомый мотив,



широкие алые ленты
к своим пиджакам прицепив.

Волнуются, звезды увидев
и древний кремлевский кирпич,
как будто на площади Красной
их снова встречает Ильин.

Улыбка

Улыбнулся малыш.
Улыбнулся малыш,
в первый раз улыбнулся мне,
и все голуби тихо
спустились с крыш,
и все звезды
застыли в окне.

Удивительный мир
наступил вокруг —
в доме, в городе, на земле...
А ведь был и Освенцим,
и Равенсбрук,
и трава в человеческой золе.

Много вынесли люди
суровых гроз —
непосильный для сердца
груз,
чтобы жил, и смеялся,
и к солнцу рос
этот маленький карапуз.

Пусть растет он и помнит
простого бойца,
что у нас в саду
погребен...
И улыбку свою
сбережет до конца,
до конца,
как последний патрон.

Листок

Лежал листок меж листьями сухими.
Подняв, я рассмотрел его на свет.
Живыми очертаньями своими
Напоминал он сердца силуэт.

Морозом ранним был он чуть прихвачен,
Как кровь, алели рваные края...
Его негромкой смертью озадачен,
Круговорот природы вспомнил я.

Еще немало на осенней тризне
Сорвется листьев, крашенных в багрец.
Еще немало на дорогах жизни
Останется поверженных сердец.

Историк! Если чье-то сердце ляжет
Тебе под ноги золотым листком,
Возьми его — оно тебе расскажет
О времени великом и простом.

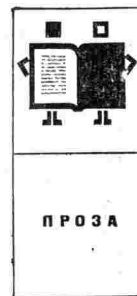
Оно, тепла лишенное и силы,
Вновь оживет в ладонях у тебя,
И ты увидишь, что сердца красивы.
Как листья на исходе октября.

Их тоже опалили грозные
Ветра и бури, песня и страда...
На них знамена наши боевые
Оставили свой ответ навсегда!

Перевел Лев СМИРНОВ.

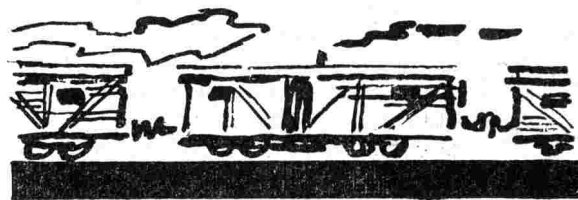


Рисунки Ю. Цивевского.



Иосиф
Герасимов

РОМАН



Часть вторая

РУБЕЖ

I

Весь день было солнечно, над землей и дорогами трепетал влажный воздух, за ярко-зелеными взгорками, поросшими негодной травой, отливала стальным блеском вода Амура. Нас построили возле казармы, справа и слева стояли самоходки и машины. И мы услышали: Советское правительство заявило японскому послу в Москве, что с завтрашнего дня Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией.

Сильный голос читал о том, что после разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны. Япония отклонила Потсдамскую декларацию США, Великобритании и Китая с требованием ее безоговорочной капитуляции.

— Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира, — раздавалось в тишине. — Советское правительство считает, что такая его политика является единственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пере-

Окончание. Начало см. в № 5 за 1970 год.

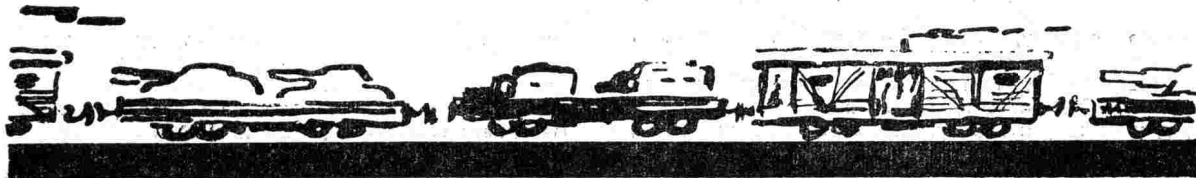
житы Германией после ее отказа от безоговорочной капитуляции.

Был митинг, а потом до самой темноты мы получали у старшины гранаты — по шесть на солдата, — ножи в металлических ножнах, дополнительные диски к автоматам; все это надо было разместить на себе да еще скатку, плащ-палатку, вещмешок с сухим пайком на три дня. У каждого из нас кое-что было в записке: я вынул «вальтер» с запасными обоймами — небольшая никелированная игрушка, похожая на детский пугач, но я-то знал, как она может пригодиться, если придется вваливаться в траншею и вести рукопашную. Это на расстоянии «вальтер» ничего не стоит — на то есть автомат, а вблизи он совсем неплох. Удодов сунул казенный нож в вещмешок, а на пояс нацепил тот, который я хотел у него махнуть на реке Великой. Но больше всех меня удивил Логачев: он извлек на свет божий офицерский парабеллум и, подняв гимнастерку, сунул его с правой стороны у бедра за брючный ремень.

К вечеру внезапно нанесло тучи, они быстро заполнили небо, и рванула гроза, дождь прошел сильный, с нахлестом и сменился размеренным лив-

нимались мной как освобождение от унижительного ожидания. И с первым рывком вперед легкие до отказа наполнялись воздухом, чтобы тут же вырваться крику, может быть, даже беззвучному, и приходило ощущение твердости, граничащее с блаженством оттого, что тело вновь обрело свой вес. И тут же наступало полное отрешение от окружающего — все подчинялось не мысли, а инстинкту, все движения координировались не тобой, а той массой людей, что бежали рядом, будто единый нерв связывал всех и кто-то свыше руководил им; у тебя были только глаза, руки, ноги — они все сами отмечали и действовали сами. Но стоило оборваться этому нерву — кто-нибудь, не выдержав бега под огнем, падал на землю, а за ним второй, третий, тогда и ты тыкался носом за бугорок, возвращая себе сознание, и все начиналось сызнова.

Так это было у меня. А у других... Рядом, привалившись ко мне плечом, полулежал Коваль и спал. Я слышал его слабое посапывание. Этот черноглазый, толстогубый парень с лохматой головой засыпал стремительно, едва коснувшись твердого щекой. Нет, он не был флегматичным, наоборот, всегда легко и



нем — только было установилась солнечная погода, как опять эти тяжелые потоки воды.

Мы двинулись пешком к Амуру, до нас прошли туда самоходки и танки, дорогу так разделили, что пускать по ней машины было опасно, и мы двигались, положив друг другу руки на плечо, чтобы не наскочить в мокрой и непроглядной мгле на передних. Ноги то и дело оскальзывались, попадая в выбоины, оставленные траками, и за эти три километра, что было от казарм до берега, мы порядком вымотались и, когда достигли заданного рубежа, повалились на мокрую траву. Курить было приказано скрытно, да по-другому и не получалось: сигарку можно было свернуть только под плащ-палаткой, обтерев руки о гимнастерку, иначе она мгновенно размокала.

Странное чувство — ожидание боя; я много раз читал о нем в старой и новой литературе, и всегда про это писали по-разному. У меня не было поводов сомневаться, что тот, кто делился своим чувством, не пережил его, — большинство писавших были настоящими войками, и только потом я понял: сколько людей, столько и ощущений, здесь не может быть выведено единого закона, как нет одинаковости в первой любви и первой встрече с женщиной.

У меня в минуты ожидания боя всегда возникала легкая тошнота и, какая бы погода ни стояла — холодно ли, жарко, — начинало знобить. Это было скверно, чудилось, будто все окружающие замечают твоё состояние и смотрят с укором. Все тело становилось липким и, как я ни старался подавить тошноту и озноб, переключая свои мысли на черт знает что — от мелочей: какой вкус был нынче у пшеничного кулеша, до размышлений о жизни, — все это во мне только усиливалось и достигало такой точки, что казалось: сейчас меня начнет выворачивать наизнанку и будет трепать при этом, как в лихорадке. Потому-то сигнал или команда к атаке при-

быстро принимал решения, но, видимо, у него так были организованы нервы, что он мог спать даже в минуты ожидания боя. Да, каждый жил сейчас посвоему. Я же молил судьбу — скорее бы все началось, раз оно неизбежно должно начаться, — и с жадностью прислушивался к тому, что происходило внизу, у воды.

Там, в темноте, шли какие-то работы; наверное, еще раньше с берега спустились саперы. Сквозь плеск волн и шум ливня долетали слабые команды и удары топоров, потом слышался гул моторов, очень тихий, на малых оборотах.

— Катера подают, — сказал Логачев.

— Приготовиться! — отдал команду Катанцев, и в это время, распарывая мглу, взлетела в небо ракета и не спеша стала опускаться вниз, озаряя густым малиновым светом воду, и она казалась багрово-синей, но длилось это недолго, ракета угасла, словно ее прихлопнула тьма.

Я машинально взглянул на светящийся циферблат ручных часов. Был час ночи по-местному.

Справа и слева роты начали спускаться к воде.

— По — одному! — скомандовал Катанцев. — Держаться друг за друга.

Мы шли гуськом, под подошвами скользила трава, кто-то упал, я не заметил, кто, но его тут же подхватили, поставили на ноги. Сначала захлюпала вода, потом надо было взбираться по чему-то округлому и скользкому, пока под сапогами не почувствовались доски — скорее всего это был трап; он трещал и качался. Кто-то в темноте подал мне руку, я не увидел ее, только ощутил крепкую ладонь.

Так мы забрались на палубу катера, меня прижали к металлической стенке, снизу шло тепло и пахло машинным маслом; потом раздался приглушенный команды, и я почувствовал, что мы плывем, нас легко подняло на волне и опустило. Тут я понял: ожидание не кончилось, оно только началось. Но вопро-

ки привычным для меня в этой ситуации ощущениям вдруг пришло полное успокоение: то ли подействовало тепло, идущее снизу, и этот уютный запах машинного масла, а может быть, я представил, что если с другого берега сейчас рванут снаряды, то никуда бежать не надо будет: мы все останемся здесь, на палубе, или уйдем в непроглядную черноту воды. Внезапно вспыхнула молния, она ударила где-то очень далеко, потому что звук грома шел до нас долго, но она успела выхватить из черноты окружающее, и я увидел ствол орудия над собой, головы солдат, а за ними тяжелые глыбы воды.

Берег, к которому мы шли, молчал.

Я присел на корточки, поставил автомат между колен, укрыв его плащ-палаткой, чтобы не затекало в ствол, и задремал. Наверное, многие дремали, пока шел наш катер, а шел он долго, пожалуй, часа три.

Когда мы остановились, что-то изменилось вокруг, я не сразу понял, что же именно, потом увидел: дождь перестал, сверху чуть просветлело, и там белой, слабой точкой висела звезда; впереди разределась мгла, можно было угадать границу берега и неба. На палубе все поднялись, я услышал, как над головой прошелестел, словно напрягаясь, ствол орудия.

— По одному, быстро! — шепотом раздалась команда.

Мы сбегали по трапу на что-то плавающее, скорее всего это был понтон, прыгали в воду и по твердому дну бежали к берегу. Цепляясь за ветви ивняка, поднялись вверх и залегли цепью в траве. Начало светать. Но даль не проглядывалась, густой желтый туман стоял стеной, в нем мелькнуло несколько теней — там работали саперы, и слух мой уловил слабое позвякивание проволоки.

— Вперед! — крикнул Катанцев.

Пригибаясь, не спеша, готовые в любую минуту залечь, мы двинулись вперед в густом тумане. Мы шли по маньчжурской земле.

Было десятое августа.

В ту же ночь и в то же утро перешли границу войска на всех направлениях. Потом я слышал рассказы ребят, как шли они до этой самой границы через монгольские пустыни, по барханам, мучаясь от жажды, вглядываясь в дымящуюся от песка даль, а потом обдирали руки в кровь, карабкаясь по скалам Большого Хингана; как шли корабли Тихоокеанского флота к корейской земле, к Сахалину, к Курильским островам.

И в тот же день в Токио, во дворцовом убежище, военный министр Японии Анами произносил речь:

— Необходимо выполнить наш долг перед императором, даже если вся наша нация погибнет. Не может быть сомнения в том, что мы должны вести войну до последней возможности и что мы еще имеем достаточно сил воевать.

А мы шли в тумане по мокрой и густой траве, в предутренней тишине, оставив позади себя колья с колючей проволокой. Справа далеко вспыхнула пулеметная очередь, мы замерли, тут же раздался хлопок гранаты, и опять наступила тишина.

Быстро светало, туман поредел, но не развеялся, впереди можно было различить куполообразное очертание горы. Я оглянулся. Солнце косым лучом упало на Амур, нашего берега не было видно, а ближе сюда на темной воде вырисовывался паром и на нем силуэты четырех танков. Я остановился и вдруг рассмеялся громко, надрывно, и от этого смеха приостановилась цепь.

— Что там? — подскочил Катанцев.

А я смеялся, не знаю уж, что это было — то ли разрядка после пережитого напряжения, то ли дей-

ствительно мне показалось что-то смешным, — не знаю, не могу вспомнить.

— Шальной, — сказал Катанцев и тут же скомандовал: — Вперед!

И мы пошли, приминая мокрые травы.

2

В этот бой мы попали спустя сутки...

Конечно же, я не смогу описать, что происходило с нами день за днем, час за часом, хотя война шла не так уж долго и полный разгром Квантунской армии был завершен за декаду. Все же, сколько бы ни шла война, пусть даже два-три дня или несколько часов, для тех, кто участвует в ней, — это целая жизнь: иногда полчаса боя могут засесть пожизненным осколком в душе, и тебе хватит этого боя до самой старости. На войне другое время — там стреляют, там убивают, там кончаются и начинаются биографии, оттуда уходят в забытие или бессмертие, стареют за несколько минут и обретают себя в мгновение, потому-то каждый день войны не имеет никакого эквивалента в любой протяженности мирного времени.

Почти сутки мы двигались по размытой дороге, глина на ней была вязка, из нее с трудом выдирались сапоги, мы пробовали двигаться по траве, но и там было не лучше — почва зыбка, как на болоте, жесткие стебли накручивались на голенища, желтые туманы поднимались над землей.

Иногда мы натыкались на брошенные доты, в них валялись пустые крохотные баночки из-под консервов, обрывки тонкой и жесткой бумаги с иероглифами, объедки черных галет — это было похоже на дни наступления сорок четвертого, когда немцы ночью снимались со своей обороны, чтобы перейти на новый укрепленный рубеж, и мы гнались за ними. Тогда так и говорили: «Потеряли противника». Видимо, и здесь части Квантунской армии снялись, чтобы где-то собраться в кулак и дать бой, и мы двигались, все время ожидая, что внезапно воздух распорет полет снарядов и заберется в припадочном гневном гудении пулеметы. Но была тишина.

Правда, к нам дошел слух, что где-то на правом фланге наши ребята наткнулись на дот, в котором был прикован цепью японский пулеметчик-смертник; но когда это было — то ли в ночь перехода границы, то ли позднее, — толком никто не знал.

Танки наши почему-то отстали, но по реке все время двигались военные катера и мониторы.

Когда стало ясно, что наступать нам черепашьим маршем по пустому берегу нет смысла, нас снова погрузили на катер.

Теперь мы шли по Сунгари. Мутная вода цвета разжиженной глины плескалась за бортом, по ней плыли навстречу нам бревна — это японцы спустили на воду лес, видимо, надеясь задержать продвижение кораблей; но Сунгари разлилась от ливней так же, как и Амур, и бревна разметало по реке, за ними охотились на дуйцами — плоскодонных лодках типа наших дощаников — китайцы. Мы видели их издали, они не подходили близко к катерам, махали руками и веслами; на бревнах, которые они буксировали, торчали красные флажки.

Мы сидели на палубе, небо было окутано желтыми хлопьями.

Нет, это были не облака, а именно хлопья испарений, идущих от реки и земли, иногда они золотились вверх, словно туда залетал густой рой мошкары со слюдяными крыльями, и солнце виделось белым кругом, как это бывает у нас в России в сильный мороз, но сейчас было жарко и душно.

— Прочешем до самого Харбина, — сказал Логачев. — Может, самураи рванули так, что не догонишь.

— Черта с два, — сказал Удодов. — Ты что, не слышишь?

Он стоял, облокотясь о перила, и правое ухо его, то самое, что было побольше, торчало локатором из-под пилотки. Я прислушался и различил гул разрывов, как при бомбежке, и слабый шум моторов самолетов.

— Бомбят, — сказал Коваль. — Но это далеко. Очень даже. То ли бой, то ли просто бомбят.

— Бой, конечно, — сказал Удодов.

— У тебя, однако, слух, — удивился Коваль. — Берешь, как приемник.

Далекая канонада вскоре стихла, но мы еще долго сидели, глядя ваясь в берег.

И дождались...

Бой шел в долинке между двумя сопками, которые глинистыми обрывами нависли над рекой, дальше были видны белые дома и в тумане очертания города. Монитор, покачиваясь на воде, бил из орудий, и было видно, как там, у белых домов, вспыхивали разрывы.

Катер наш развернулся и пошел к обрыву, с сопки полоснула пулеметная очередь, взбиз у самого носа катера рыжие фонтанчики воды. Монитор повернул орудийную башню и выстрелил по вершине, оттуда посыпались вниз комья земли, ветви деревьев, и пока на нас надвигалась глинистая стена со спутанными корневищами и коричневым камышом у основания, монитор послал на сопку еще два снаряда. Пулемет замолчал.

К берегу прибило несколько бревен, часть из них уперлась концами в глину, застряла в камышах, образуя нечто вроде причала, на них кинули трап, и мы по одному сбегали на бревна, они разъезжались под ногами, и кое-кто попадал в воду, но тут было неглубоко. Потом мы карабкались вверх, прижимаясь к мокрой глине.

За ветлами сразу начинались огородные грядки, где густо росли помидорные кусты; высокие, подпертые тычками, они сгибались под тяжестью ярко-красных овощей.

— Сила! — сказал Логачев. — На нашей стороне еще все зеленое, а тут... и, сорвав помидор, смачно откусил.

Несколько пуль сбило вершинки кустов.

— Нашел когда, — скривился Катанцев. — А ну, вперед быстрее!

Так, по огороду, мы доползли до кювета, в котором залегла длинная цепь солдат; видимо, они тут давно торчали, потому что многие откопали ячейки, скорее всего они двигались по дороге, а потом их прижали к земле огнем. Ребята в цепи были совсем молоденькие, последнего призыва, и когда они увидели, как мы вваливаемся в кювет, то на этих безудных лицах обозначилась радость.

— Ну, как он тут? — спросил Логачев у розовощекого белобрысого паренька и подмигнул: — Дает?

— Дает, — ответил тот. — Башки не поднимаешь.

— А поднимали?

— Два раза пробовали, да тут в лоб не попрешь.

— Ого, парень, да ты стратег. Из минометов плюется?

— Нет. Пулеметы. Сначала было пять, да вот монитор помог, и еще саперы один дот взорвали. Два стучат. Да он всю долину прочесывает.

Командиров взводов вызвали на КП, и Катанцев наш подался влево по кювету; туда, где был небольшой холм, густо поросший кустами.

— А вы тут ничего, сачкуете, — сказал Логачев. — Еще бы постного маслица, и рубай салат из помидоров.

— У них соевое, — сказал белобрысый. — Я пробовал.

— Ну, тогда порядок, — подмигнул Логачев и кивнул мне. — Поглядим, сержант.

Справа у дороги росло несколько старых ив, ветви их были посечены пулями, мы подползли к ним, осторожно выглянули из-за стволов. Впереди была мокрая долина, поросшая бурьяном, с выбоинами, залитыми водой, а дальше, на взгорке, стояло несколько белых двухэтажных каменных домов, верхние этажи их и крыши были разрушены, а слева углом тянулась глинобитная стена, в нее тоже угодила снаряд, и небольшой дом за ней совсем развалился. Пулемет работал с нижнего этажа длинного дома; пока мы смотрели, очередь прошла по грязной, залитой водой дороге, и комок глины шлепнулся мне о щеку.

— Два-три танка, и делать не хрена, — сказал я, когда мы спустились на дно кювета.

— Да-а-а, — протянул Логачев. — Потонули они, эти танки, что ли? А салажат класть тут в атаке тоже не дело.

Мы вернулись к своим, ребята лежали на траве, курили; низко шелестя, пролетел над нами снаряд, пущенный с монитора, и тут же ухнул разрыв, отдавшийся тяжелым ударом в землю. Я невольно вздрогнул. Это не ускользнуло от Логачева.

— Отвык, сержант? — усмехнулся он.

— Отвык, — признался я и вспомнил, как возвращался однажды на передовую из госпиталя лесом и, когда неожиданно заработали наши батареи, упал, зарывшись под куст, и, хоть рядом никого не было, почувствовал стыд оттого, что не смог различить выстрелов своих орудий от разрывов немецких снарядов. И, вспомнив об этом, я подумал: опять все то же самое, словно и не было конца войны и мы сейчас не в Маньчжурии, а там, на западе, даже не в сорок пятом, а где-то в сорок четвертом, когда исползали немало таких мокрых придорожных кюветов. Видимо, все наши это поняли, потому что Удодов сказал успокаивающе:

— Бывает. Иногда недельку в тылу покантуешься — и то отвыкаешь.

— Ничего, к этому быстро притрешься, — поддакнул Коваль. — Важно начать.

Вернулся Катанцев, и по сухому взгляду его маленьких глаз я как-то сразу понял, что он получил приказ. И точно, он тут же назвал нас четверых пофамильно и сказал:

— За мной!

Мы двинулись, пригибаясь, по кювету, мимо цепи солдат, ребята оглядывались на нас с любопытством. Мы дошли до оврага, в котором прочно засел «студбеккер», задний борт его был открыт, тут же топтался усатенький капитан с погонами сапера.

— Ага, — завидев нас, сказал он и указал на машину. — Забирайте.

Там стояли два зеленых ящика, мы попарно подхватили их. Ящики были небольшие, но тяжелые. Катанцев сразу же пошел вперед. Мы месили глину, пока не перелезли через бугорок в густые заросли кустарника, и тут Катанцев подал нам знак остановиться. Он еще раз поочередно цепким взглядом оглядел всех и сказал:

— Идем саперам на помощь. Тол надо доставить. Они там один дот взорвали, а на второй взрывчатки не хватило. Времени — сорок пять минут. В восемнадцать ноль-ноль атака. Двигаемся по нитке. — И он указал на оранжевую жилку телефонного провода, что уползала в кусты. — Задача понятна?

Он опять пошел вперед, перекинув на руку автомат.

В лощинке, куда мы спустились, скопился туман, все-таки был он здесь странным, не заволакивал всего пространства, в отдельных местах его и вовсе не было и даль просматривалась хорошо, а в других — туман держался клочьями и очень стойко, словно в этом месте был какой-то источник, поставляющий в воздух теплые, мутные струи, и когда мы вошли в эту муть, то почувствовали, как оседает влага на лице и руках.

Ящики тащить было неловко, один его на хребтину не закинешь: тяжело, надо нести вдвоем за деревянные ручки, — а в узкой лощинке мы с Удодовым то и дело натыкались на кусты, бились ногами о края ящика.

Лощинка кончилась, и тут же рассеялся и туман; у обрывчика росли кусты, а за ними открывалась ровная плешивая площадка, дальше виднелась глинобитная стена и тот небольшой развороченный снарядом дом. Возле стены, ткнувшись лицом в землю, неестественно скорчив ноги, окруженные светлыми обмотками, лежал убитый солдат, карабин его валялся рядом. То, что это не наш солдат, а японский, мы поняли по этим обмоткам и по короткому поперечному погону на его гимнастерке.

Оранжевая жилка телефонного провода ползла через площадку за разрушенную стену; каменный дом, откуда бил пулемет, стоял справа, и было ясно, что это гладкое пространство оттуда хорошо проглядывается, и хоть до стены было метров шестьдесят, но выскочить на эту плешину — значит стать хорошей мишенью. Но ведь как-то прошли здесь саперы. Мы полежали за кустами, прислушиваясь. Пулемет то замолкал, то опять начинал свою работу.

— Ну что ж, — сказал Катанцев, — времени нет. Я первый, потом...

— Обождите, — перебил его Удодов. — Лучше мы сначала. С ящиком. — Лицо его перекопилось в решимости, и не успел Катанцев возразить, как он вскочил, увлекая меня за собой, и я только поглубже вдохнул в себя воздух. Мы подхватили ящик и побежали, вжав головы в плечи.

Вот уж мелькнули мимо ноги в обмотках убитого солдата; я не услышал выстрела, только увидел, как пуля взбила пыль впереди, и тут же мы перелетели через расщепленное бревно и повалились на землю. Я ушиб колено, да так, что потемнело в глазах, и когда поднял голову, то увидел землю, усыпанную известью, опрокинутую бочку и разбитую собачью будку.

— Не задело? — спросил Удодов.

— Ничего, — ответил я, садясь и растирая колено. Но он не обратил на это внимания, подполз к стене, вглядываясь в каменный дом, потом пристроил автомат.

— Давай вон туда, за бревна.

Я понял, что он задумал: надо было помочь нашим проскочить эти шестьдесят метров, прикрыть их огнем автоматов. Я заполз за бревна. Начали мы почти одновременно, дав короткие очереди по дому. Краем глаза я увидел, как выскочил из кустов Логачев, навалив на спину ящик, и, согнувшись под ним, побежал большими шагами. Я успел подумать, что зря он заслоняется ящиком: а если попадет в него разрывная — там ведь взрывчатка. Но я не видел больше, как он бежал, а, прижав полнотнее автомат к плечу, стал бить из него, стараясь послать очереди в темные провалы верхнего этажа.

Логачев добежал хорошо, это я понял, когда услышал за спиной его тяжелое дыхание и удар падающего ящика. Тут я подумал, что не дай бог, если японцы переключат огонь пулемета сюда, на эту площадку, тогда уж ни Катанцев, ни Коваль не

сумеют проскочить. Но пулемет по-прежнему держал под огнем равнину и дорогу; может быть, у него был ограничен сектор обстрела. Я бил из автомата до тех пор, пока не клацнул бесполезно затвор. Это кончился диск. Надо было сменить его.

Я стал шарить у себя на поясе и тут увидел, как бежит Коваль. Он летел через площадку, делая зигзаги, устремившись вперед всем туловищем, почти пластая над землей, и было странно, что он мог сохранять равновесие в таком положении. Я невольно улыбнулся, но тут Коваль вдруг взмахнул руками, перевернулся через спину и замер рядом с убитым японцем.

У меня задрожали пальцы, и я не мог закрепить диск в автомат. Катанцев выскочил из кустов и побежал, грузно топя сапогами, не спеша, словно выбегал из строя по команде старшего; слева от меня отчаянно захлебывались автоматы Логачева и Удодова. Наконец мне удалось закрепить диск, но, прежде чем стрелять, я опять взглянул туда, где лежал Коваль. Катанцев был от него в трех шагах. И тут-то Коваль вскочил, подпрыгнул и, пока он это проделывал, Катанцев добежал до него, и они вместе влетели за стену. Логачев и Удодов перестали стрелять.

Мы собрались за стеной возле разбитой собачьей будки, из нее несло псиной и дохлятиной. Катанцев, хмуро отдуваясь, смотрел на Коваль.

— Что у тебя? — зло спросил он.

— Да вот, — ответил Коваль и показал на сапог. И мы увидели на голенище две дыры от пули. — Повезло. Хорошо, что широко.

Это действительно было чудо: пуля пробила сапог и не задела голени.

— А ударило, — сказал Коваль удивленно. — Как прутком хлестнуло.

— Это ты здорово везучий, — рассмеялся Логачев.

— Сплюнь три раза, — ответил Коваль.

— Кончай! — зло сказал Катанцев и утер пот со лба. — Пошли.

Мы опять подхватили ящики и двинулись вдоль стены. Забуревшая, колючая трава росла возле нее, торчали острые камни. Эта стена шла углом почти до самого каменного дома. Боль в коленке у меня прошла, или я притерпелся к ней.

Впереди были навалены пустые металлические бочки, и Катанцев, дойдя до них, сделал нам знак остановиться. Мы поставили ящики на землю и прилизались к нему.

Оранжевый провод обрывался, конец его, сделав петлю, лежал в колючей траве. Катанцев, держа палец на спуске автомата, осторожно заглянул за бочки и охнул с болью, будто наступил на что-то острое. Мы шагнули за ним и увидели: наш солдат сидел, прижавшись спиной к бочке, голова его была откинута на плечо, гимнастерка во многих местах разорвана, на ней густо запеклась кровь; по маленькой воронке рядом с ним и по дыркам в бочке можно было понять: тут разорвалась граната, — а слева от него лицом в грязной колючей траве лежал другой, и меж лопаток у него торчала черная витая ручка ножа. Катанцев присел возле этого лежащего, потому что с тем, в рваной гимнастерке, все было ясно с первого взгляда.

Катанцев поднялся, глаза его были пусты.

— Третий должен быть, — тихо сказал он.

Но третьего не было.

Когда это произошло: час, полчаса назад?

Катанцев перевел взгляд на ящики, сказал:

— Пока оставить здесь.

Те, кому мы несли этот тол, были мертвы.

Катанцев взглянул на часы и подал нам знак двигаться за ним. Мы обошли бочки и очутились возле

угла дома, ближе к нам часть белой стены была целая, а дальше все раскорячено взрывом, торчал дробленый камень и арматура железобетона — этого не мог сделать снаряд; наверное, здесь и устроили взрыв те ребята из саперной роты, которые лежали сейчас у бочек. Пулемет стрелял из амбразуры правее провала в стене — значит, в этом доме, в нижних этажах, были понаделаны доты.

Катанцев прыгнул вперед и прижался к стене. Мы последовали за ним, и когда я остановился, то увидел равнинку, ту самую, которую мы наблюдали из-за ив, мокрую дорогу и дальше меж сопкок реку, монитор на ней. Тут же я представил тех розоволицых салажат, что лежали в кювете. Да, если они кинутся через равнинку, то из пулемета их многих можно положить, а тем путем, каким добирались сюда мы, роту или батальон не погонишь. И я подумал, что командиру батальона, видимо, уж здорово врезают по радиции с полкового командного пункта за то, что они не продвигаются, а лежат полдня, когда какие-нибудь соседи справа давно рванули вперед. И еще я подумал, что командир батальона был прав, что не послал своих необстрелянных ребят под пулеметы, но он пошлет их минут через семь: примерно столько осталось до начала атаки, — пошлет, потому что у него тоже есть начальство, а у того свои планы, которые сводятся в один — общего наступления. И если на каком-нибудь участке заест, то и вся операция может пойти колесом. Так что никто не виноват, если пойдут эти салажата в атаку, — ни командир батальона, ни самое высокое начальство, только война, а у нее, как известно, свои законы. Все эти мысли мелькнули у меня, может быть, за доли секунды.

Катанцев метнулся в яму, к провалу, и мы кинулись за ним. Теперь было ясно: он хочет добраться до дота через дом и попробовать подавить его гранатами. Он остановился и указал, чтобы я выдвинулся вперед. Я шагнул к провалу и различил за грудой камней противоположную темную стенку, опрокинутую железную койку, и за ней метнулась тень. Я нажал на спусковой крючок, дав короткую очередь, и хотел было перемахнуть через камни, как сверху полетели комья земли, и тут же я получил сильный удар в плечо. Дикая боль прожгла тело, я отлетел на несколько шагов, стукнулся о камни и осел на дно ямы. Рядом сухо щелкнул выстрел.

Сквозь розовый туман, набежавший на глаза, я увидел, как Катанцев схватился за левую руку и тут же на него навалился низкорослый солдат, прижимая к земле. Катанцев не удержался, упал на дно ямы, а японец уж сидел на нем. Он был обращен ко мне лицом, закопченным, с красными, кровавыми веками, взбухшими на узких глазах; черные, жирные волосы его плотно прилипли к черепу. Я рванул автомат, чуть не потеряв сознание от боли, но выстрелить не успел. Над японцем навис Удодов, нож мелькнул в его руке и опустился. Лицо японца искажилось, обнажив желтые зубы, и он повалился на плечо Катанцеву, открыв для меня Удодова. А тот еще раз взмахнул ножом, всадив его в спину японца, и на этот раз медленно вынул его. Щеки, лоб и даже глаза у Удодова стали белыми. Он откинул японца в сторону, и Катанцев, кривясь от боли, стал медленно подниматься. В противоположном углу ямы Логачев и Коваль расстреливали из автоматов двух прижатых к камням японцев. Они были мертвы, но Логачев и Коваль стреляли, словно не замечая этого.

— Кончай! — хрипло крикнул Катанцев.

«Значит, их было трое», — решил я, поднимаясь. Плечо разрывалось, я подумал, что, наверное, перебила ключица, меня или стукнули чем-то тяжелым, или один из этих японцев прыгнул сверху, может

быть, даже со второго этажа, и саданул каблуком. Я распахнул ворот гимнастерки, ощупал левой рукой плечо. Там была большая ссадина и опухоль, но кость все же, видимо, была цела.

Удодов успел распороть ножом рукав гимнастерки Катанцева и, разорвав обертку санпакета, бинтовал лейтенанту руку выше локтя.

Пилотку Катанцев потерял, и на обритой голове кровоточила небольшая ссадина. Он не смотрел, как Удодов перевязывает, нервно покусывал губы, оглядываясь.

— Коваль, Логачев, гранаты! — приказал он. — В связку! Брючный ремень...

Но он еще не успел договорить, как Коваль выдернул из-под гимнастерки ремень, взял пять гранат, положил их на дно ямы — четыре ручками в одну сторону, а пятую, которую заложил в середину, в другую — и стянул их ремнем.

— Быстрее, быстрее! — поторапливал его Катанцев, и, когда Удодов кончил перевязку, он даже не одернул рукава, взял связку в здоровую правую руку, пошел к провалу. Прежде чем перелезть через камни, остановился, сказал:

— Быть тут. Я один, — и, перебравшись через камни, спустился в провал.

Там он опять обернулся, теперь уже в полусумраке; затененная нависшей глыбой бетона мелькнула его обритая голова, затверделое лицо с двумя темными точками глаз. Мне показалось, что сквозь бешеный стук пулемета я различил топот бегущих ног Катанцева. Потом стало тихо. На одно мгновение наступила эта глухая, страшная тишина, и раздался взрыв. Он был такой силы, словно в пяти шагах рванул дальнобойный снаряд. Сверху повалилась штукатурка, камни. Не сговариваясь, мы кинулись к провалу и, наталкиваясь друг на друга, пролетели мимо опрокинутой кровати, пока не уперлись в сорванную с петель дверь.

Из узкого бокса несло гарью. Катанцев лежал на пороге, вперед головой, и вся эта голова и плечи были залиты кровью, перевязанная рука вывернута и заброшена к затылку. Когда мы перевернули его, лица не было...

Мертвый японец висел на цепи, железный наручник схватывал запястье, другой конец цепи прикован был к пулемету.

— Все, — сказал Логачев. — Нет лейтенанта. — Он сказал это глухим, отрешенным голосом.

С воли сюда, в это гнилое помещение, пробилось неровное «ура».

«Теперь можно, — подумал я. — Теперь давайте, мальчишки».

3

Утром мы входили в город Фуцзынь.

Катанцева похоронили на закате, завернув в плащ-палатку, похоронили после того, как батальон все обшарил вокруг белых домов. Закопали мы его на зеленом взгорке, откуда хорошо была видна река, красная от заходящего солнца, постояли молча у могилы, покурили и, когда стемнело, пошли устраивать себе место для ночлега. Я отыскал санструктора, он смазал мне плечо йодом, туго перетянул бинтом, пообещав, что вскорости опухоль пройдет.

А утром мы входили в этот город, где вдоль улиц тянулись глинобитные и кирпичные стены, за ними тесно жались фанзы, крытые черепицей или стеблями гаоляна, гладко обмазанными глиной. На перекрестке, где стояли каменные двухэтажные дома с черными иероглифами на белых фасадах, уже

45

торчал наш регулировщик. У глинобитных стен теснились китайцы в синих куртках, мятых, залосненных штанах, многие босиком, но в шляпах; смотрели, как, грохоча, шли танки.

— Где вы раньше, родимые, были?—сквозь зубы процедил Логачев.

Потом кто-то нам объяснил про эти танки: на Амуре что-то не рассчитали с переправой, подготовили паромы, не ожидая, что река разольется, и провозились там с техникой более суток.

Китайцы вытягивали сухие жилистые руки и, воздев вверх большой палец, кричали: «Шанго! Шанго!», — мальчишки приплясывали в лужах, размахивая красными бумажными флажками, и на каменных домах тоже висели красные флаги. От грохота танков и гула машин, от криков, мелькания флажков, смеющихся лиц рябило в глазах. Но где-то еще постреливали, где-то на другом краю города еще шли бои.

Мы шагали по краю проезжей части улицы; не смотря на шумиху и праздничность, было тоскливо, нам явно не хватало какой-то разрядки после вчерашнего. Мы шли, словно пробудившись утром в тяжелом похмелье и еще не осмыслив всего того, что произошло в угаре минувшего; да еще рядом зияла пустота — Катанцева не было, не было лейтенанта, к которому мы успели привыкнуть и незаметно для себя — подчиняться его слову. Пустоту эту ничем нельзя было заполнить, она угнетала.

Так мы шли, пока Коваль не указал на узкую улочку, уходящую вниз. Там, неподалеку от угла, стоял стриженный под машинку китаец, улыбался, щурясь на солнце, крепкими зубами. Синюю куртку его перепоясывал фартук, а на стене фанзы висел наклепленный на картон белый лист бумаги с красной надписью по-русски:

«ТОВАРИЩ! ПРОСИМ ЗАКУСИТЬ—ГОРЯЧИЕ ПЕЛЬМЕНИ».

— Может, зайдем? — неуверенно спросил Коваль. Ребята переглянулись, и я понял: вот этого нам и не хватает сейчас — посидеть где-нибудь всем вместе.

— Пошли, — решительно кивнул я.

Китаец, заметив, что мы направляемся к нему, так растянул рот в улыбке, что тонкие губы его раздвинулись до самых торчащих, как лопухи, ушей; он быстро-быстро закивал головой и, сжав ладони, стал кланяться. Улочка была грязна, пахло здесь гнилью и отбросами.

— Ходи, ходи! — приговаривал китаец, кивая на растворенную дощатую дверь, по которой сверху вниз шли иероглифы. — Туди ходи!

На глиняном полу была постелена циновка, в глубине топился очаг, на нем кипел котел, пар от него тянулся вверх к закопченному куполу — потолка здесь не было. Китаец забежал вперед и повел нас направо; тут за дверью открылась комната, где большую часть занимало глиняное возвышение высотой по колено, нечто вроде нар, устеленное соломенными циновками; жидкий свет пробивался сквозь решетчатое окно, где вместо стекол была промасленная бумага, в углу стояли одна на другой плетеные корзины с крышками.

Китаец указал на нары, предлагая садиться, — видимо, это были и стол и кровать. Он что-то быстро заговорил по-китайски, но я замотал головой, показывая, что ни черта не понимаю. Тогда он опять заулыбался и стал повторять, спрашивая:

— Ханшин? Ханшин?

— Это водка, — сказал Коваль. — Просыная, кажется. Ханжа, по-нашему. — И тут же кивнул китайцу. — Давай тащи.

Тот понял, выскочил за дверь и тут же вернулся с четырьмя пиалами и чайником, ловко расставил эти пиалы на циновке, разлил в них ханшин. Запах от него пошел крепкий, дурной — какая-то смесь сивухи с бензином. Китаец снова выскочил и на этот раз в широких пиалах принес горячие пельмени, они были большие, с ладонь, из хорошего белого теста. Он попятился от нас задом и присел на корточки рядом с корзинами, не переставая улыбаться.

— Что же ты не с нами, друг? — сказал Логачев, указывая на пиалы с ханшином.

Он понял и жестами показал, что не будет.

— Ну, как хочешь, — вздохнул Логачев и, приподняв пиалу, сказал: — Помянем лейтенанта.

Мы выпили, не чокаясь, этой горячей смеси, она обожгла небо и горло, и я, привыкший уже ко всему, что льется, проглотил ее с трудом и, чтобы приглушить свирепый запах, быстро подхватил пельмень, он был сочен и жирен.

Когда мы молча поели, Логачев аккуратно вытер пальцы о подол гимнастерки, вынул из кармана паке-тик, завернутый в тряпицу, развязал узел и осторожно выложил на циновку содержимое. Это было все, что осталось от нашего лейтенанта: офицерская книжка, партбилет, медаль «За боевые заслуги», часы. Логачев раскрыл офицерскую книжку и вынул оттуда фотографию — она пообтерлась по углам, была, видимо, подмочена когда-то, и потому выступили на ней рыжие пятна. На фотографии была женщина с мальчиком, она смотрела большими радостными глазами, чуть испуганно и чуть насмешливо, светлые волосы падали ей на плечи, и я сразу вспомнил, как стояла эта женщина на перроне, словно дрожа от озноба, и говорила: «Я люблю тебя, Ванечка. Я так ждала...», — а потом шла рядом с взгоном, прижимая к груди мешок. Мальчишке на фотографии было года полтора, он припал щекой к плечу матери, крутолобий, насупленный — точь-в-точь, как это делал Катанцев, когда был недоволен. Фотография прошла по кругу и опять вернулась к Логачеву, он уставился на нее, серые глаза его потемнели, нос заострился, и Логачев, судорожно вздрогнув плечами, вздохнул.

— Да-а, — протянул Коваль. — Глупо как-то все.

И я понял, что угнетало всех нас: где-то в подсознании тайлось ощущение — вот он кинулся один, а мы остались, и его уж нет. Я бы не понял этого так отчетливо, если бы вдруг не вспомнил наш разговор в теплушке и как Катанцев сказал: «Те виноваты, кто рядом был». Слова его в то время мне показались нелепыми, а теперь я открыл в них особый смысл, за которым стояла целая прожитая этим человеком жизнь. Да, это было чувство вины перед ним и перед самим собой, потому что теперь, когда прошло время и мы отошли от всего случившегося, стало казаться: все могло быть по-другому, все могло быть совсем иначе.

— Все-таки мы зря бросили тол. Там взорвать... — сказал Логачев, но оборвал себя, потянулся к чайнику. Китаец его опередил, вскочил от корзины и, все так же улыбаясь, опять разлил нам ханшин по пиалам.

Мы снова выпили. Удодов болезненно сморщился и оставил свою пиалу.

— Не могу. Дрянь страшная, — и брезгливо одернул гимнастерку. — Постираться бы надо, а то еще эти пятна...

Только сейчас я увидел два кровавых засохших пятна на его груди. Он провел по ним ладонью, словно хотел стряхнуть.

— От японца? — спросил Коваль.

— Угу, — все с тем же брезгливым выражением пробурчал Удодов.



И тут случилось со мной что-то непонятное, словно я мгновенно впал в забытие и увидел их всех вместе, как во сне, всех тех, кто умер там, у белых домов: Катанцева, парнишку у бочек со скуластым, деревенским лицом, иссеченного гранатой, и другого, с витой ручкой ножа между лопатками, и третьего сапера, которого нашли потом за домами, исколотого штыками, и японца с красными, вспухшими веками, которого прикончил Удодов, и тех двоих, расстрелянных из автоматов, и того, кто болтался, прикованный цепью, — все они будто вдруг выстроились в один ряд; это было так отчетливо, что я почувствовал страх. «За что?» — мелькнуло у меня, и, словно это не я, а кто-то другой, посторонний, вопил мне рядом в ухо: «За что?»

— Что с тобой, сержант? — дернул меня за левое плечо Коваль, и я невольно вскрикнул. — Одурил от этого зелья?

— Ничего, — сказал я, приходя в себя. — Я крови боюсь.

— А-а, это, — протянул Коваль, ткнув в гимнастерку Удодова. — Ты пока плащ-палаткой прикройся. Потом постираешься.

— Хорошо, — покорно кивнул Удодов и, посмотрев, как Логачев завязывает узелок с документами, сказал: — Надо его жене написать.

— Я напишу, — ответил Логачев. — Пацан у него растет. — И торопливо добавил: — Я обязательно напишу.

— Да не сиди ты там, — обратился к китайцу Коваль. — Выпил бы с нами, рассказал, как тут живешь.

Китаец радостно закивал головой и зацокал языком.

— Вот ведь оказия, — развел руками Коваль. — Ни одного слова не знаем. А поговорить бы надо, братский народ как-никак... Ну, что ты все улыбаешься?

Китаец опять вскочил и шмыгнул за дверь.

— Наверное, опять чего-нибудь притащит, — лениво догадался Логачев.

А я все думал о Катанцеве, и все, наверное, думал о нем, когда ели, пили, разговаривали, и я знал: мы долго еще будем о нем думать и вспоминать — сейчас только начало. Это оказалось правдой. Лейтенант напоминал мне о себе не раз за двадцать пять лет, минувшие с того августовского дня, напоминал порой неожиданно, в то время, когда, казалось, я напрочь забыл войну...

После того, как Катанцеву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, политотдел выпустил о нем листовку. Листовка сохранилась у меня. Плохая бумага пожелтела, клише расплзлось масляным пятном, но все же на нем довольно отчетливо видно изображение Катанцева. Сейчас мне кажется, что он был не таким, как на этом клише, — слишком уж приглажены здесь черты его лица, глаза смотрят не колюче, в них нет катанцевской цепкости, они застыли, остекленев, словно угасла в зрачках постоянная настороженность. В политотдельской листовке Катанцева сравнивают с Александром Матросовым. Ну, что же, пожалуй, это верно, хотя лейтенант и не закрыл своим телом амбразуры, как это было в бою под деревней Чернушки, но смысл выполненного им и результат были те же. Но еще тогда, в китайской фанзе, каждый из нас с сожалением прикидывал: если бы как следует подумать, то можно было бы найти другой, более простой и безопасный выход подавить огневую точку. И это тоже правда, но... ничем нельзя измерить и оценить нельзя никакой разумностью порывы и страсти души, дошедшей до самоотречения во имя других; всегда, на все времена останется это

тайной людской; и тщетно искать в ней истину — она свершилась, воплотилась в дело, только в него. Да, наверное, можно было иначе, можно, но нельзя.

На этот раз китаец вернулся не один, а привел с собой русского паренька лет шестнадцати, бледнолицего, с растерянными синими глазами, в замусоленном коротком пиджаке.

— Здравствуйте, — вежливо сказал паренек.

— Ого, ты что, местный? — удивился Логачев.

— Да, — смущаясь, ответил тот.

— Ага, белоэмигрант, — догадался Логачев.

Коваль рассмеялся:

— Какой же он эмигрант, он же тут, наверное, родился.

— Да, я тут родился, — сказал паренек. Произнес он слова немного акая, на старинный московский манер. — Но мы из русских эмигрантов.

— Понятно... Ну, все равно, садись с нами, выпей, — пригласил Логачев. — Тебя как зовут?

— Константин. Благодарю вас, я не пью.

— Ну, правильно, вроде бы мал еще, — одобрил Логачев. — А родители твои откуда?

— Из Москвы, — сказал он и тут же добавил: — Они умерли.

Я посмотрел на часы, пора было уходить, а то потеряю свою часть. Я полез в карман, нашарил два рубля — деньги кое-какие у нас были, — ребята меня поняли и тоже скинулись по два рубля.

— На-ка, — сказал я, протягивая деньги китайцу, и попросил Константина: — Поблагодари за пельмени, скажи, вкусные были.

Константин перевел, и что тут сделалось с китайцем: он замахал обеими руками, заговорил быстро, чуть не плача.

— Он говорит, — сказал Константин, — что ему не нужны деньги, он готовил эти пельмени специально для русских. Вы не так поняли объявление. Он от души всех угощает, потому что вы освободители. Он не любит японцев.

— Японца, японца, — тут же брезгливо подхватил китаец.

— Пусть тогда за ханшин возьмет, — сказал Логачев. — В объявлении ведь только пельмени.

— Нет, что вы, — застенчиво улыбнулся Константин и покосился на зажатые в моей руке рубли. — Он не возьмет.

— Ну что же, пошли, ребята, — сказал я.

— Передай ему нашу воинскую благодарность, — кивнул Логачев.

Мы направились к выходу, и тогда Константин, вдруг осмелев, попросил меня, указывая на деньги: — Можно мне посмотреть?

Я протянул ему рубль.

— Нет, что вы, — испугался он и покраснел. — Вы не поняли. Я только посмотреть. Я никогда не видел русских денег.

— Да возьми ты, — сказал я. — Сам до войны нумизматом был. Держи и будь здоров.

— Спасибо, — засветился глазами Константин.

Китаец, кланяясь, провожал нас до порога.

4

Надя и Удодов встретились спустя двое суток в городе на Сунгари со звучным названием Цзямусы.

Мы прибыли туда на катерах, горький дым горящего зерна плыл над рекой, в желтом небе чернели железные конструкции взорванного моста. Город

был оставлен до нашего прибытия, японцы ушли из него, предав пожару склады с чумизой и рисом. На большой пристани, кроме катеров и мониторов, стояли старые колесные пароходы, теснились джонки и дуйцями, их было множество — целый деревянный флот.

Цзямусы, Цзямусы — странный город. Лишь два часа прошло, как он пал, а на пристанской площади и узких окрестных улочках кипел, орал, мелькал многоцветьем базар — корзины, наполненные доверху красными, лоснящимися помидорами, длинными, жгуче-зелеными огурцами, оранжевым луком. Мальчишки пружинисто подскакивали, размахивая худыми руками:

— Рубили! Рубили!

Коробки с зубным порошком, зеленые соевые лепешки, пачки сигарет взмывали вверх, ими жонглировали, тыкали в лицо, совали в ладони. Никто не покупал, все торговали. А те, кто не торговал, работали.

Эти большие толпы людей собирались сами и без всяких команд, молча разгребали развалины; худые люди с жилистыми руками аккуратно складывали камень к камню, уносили на носилках мусор, быстро перебирая босыми ногами, и, завидев нас, кланялись на ходу, раздвигая в улыбке запавшие щеки; в их строжайшем рабочем порядке было нечто муравьиное; можно было долго смотреть, как они ловко делали свое дело.

Неподалеку от пристани стояли две белых старых казармы, где, видимо, прежде жила охрана порта, и несколько пустых фанз — там-то и отвели для нас место.

Цзямусы, Цзямусы — этот странный город остался в моей памяти: глухие улицы с глинобитными стенами, укрывающие от посторонних взглядов убогие, прокопченные изнутри фанзы; городки хилых строений из фанеры и прогнивших досок с зарешеченными бумажными окнами, грязной ребятей, женщинами в лохмотьях, наполненные визгом, криками, стуком кузнечных молотов, густой вонью отбросов, лишенные воды, канализации и света; базарные улицы, ослепляющие красками овощей и тканей, кипящие в бестолковой сутолоке, пропахшие чесноком, луком, жареным мясом и рыбой, где сбывалось не только то, что давали огороды и Сунгари, но и растасканные с японских складов товары, а в двух шагах от базара открывался другой мир — прямые, асфальтированные трассы с многоэтажными домами самой разной архитектуры — от кубических форм конструктивизма до колонн барокко, огромные витрины, фонари публичных домов, рекламы театров, машины различных марок и рядом с ними уныло и безразлично ступающие запряженные в скрипучие арбы волю. Все смешалось здесь. Иероглифы вывесок с неожиданными надписями по-русски через «ять»; грохот работ, праздные выкрики и безмолвие, застывшее под ветвями тутовника.

Такой был этот город. Он принимал нас лозунгами, писанными белилами по кумачу, восторженными возгласами: «Шанго!» и «Ваньсуй!» — бесконечным сверканием белозубых улыбок, услужливыми поклонами, но, что творилось в его сложной, запутанной утробе, мы не знали.

И еще осталось в памяти... Впрочем, и сейчас, двадцать пять лет спустя, я хорошо вижу эту женщину и верю, что никого красивей не видел в своей жизни... Зал комендатуры с коричневым, затоптанным паркетом, изразцовым камином, стульями с высокими кожаными спинками, черные резные столы, на которых стояли полевые телефоны, всегда



был полон военными и китайцами. Мы вошли туда с шумом, но тут же умолкли — странная тишина стояла здесь: люди не говорили, а шептались; даже те, кто отдавал распоряжения по телефону, делали это негромко, без привычной нам военной резкости; в этой тишине было нечто церковное, словно мы вошли не в самую обычную комендатуру, а в храм, где даже стены требовали к себе уважительного спокойствия. Только когда мы увидели эту женщину, то поняли, в чем дело.

Молоденький капитан с пограничными погонами, с осунувшимся узким лицом сидел за столом и принимал по очереди китайцев. Женщина стояла рядом с ним, в коричневом, длинном платье с глухим воротником, покроем своим напоминающем кимоно; она стояла, согнув руки в локтях и охватив их ладонями; белое лицо ее было покрыто слабым, приятным румянцем, узкие, китайского разреза веки с длинными черными ресницами обрамляли голубые глаза — я никогда ни до, ни после не видел настоящему голубых глаз у женщин — вернее, то, что выдавалось за этот цвет, было или блекло-серым, или же имело множество других оттенков, — у нее же были действительно голубые глаза, очень чистые, яркие, имеющие свою глубину и тепло, какое бывает в росяных каплях, отражающих летнее небо, — я не могу найти другое сравнение, потому

что это при всей своей романтической приподнятости и известности кажется мне наиболее точным, если отнести к нему всерьез. Черные, густые волосы женщины были гладко зачесаны назад, открывая немного выпуклый и чуть удлиненный, без единой морщинки лоб; они были прихвачены на затылке высоким китайским гребнем с позолоченным рисунком.

Она стояла прямо, очень прямо, и под легкой тканью ее коричневого, свободного платья очерчивались строгие и хрупкие линии тонкой фигуры. В ней сошлись черты женщин, вытканых шелком на китайских полотнах, с ликами иконных российских богородиц и страстной строгостью католических мадонн — восток и запад. Однако же ничего не было в этой женщине кукольного или монументального, во всех движениях ощущалась естественная простота. Она могла быть и учительницей и крестьянкой; когда говорила очень чисто по-русски, глубоким негромким голосом, от нее веяло домашним покоем, а когда переходила на китайскую речь, то становилась загадочной, будто слова ее укрывали тайну.

Женщина была переводчицей и помогала капитану понять суть просьб, с которыми приходили посетители. Потом о ней среди солдат пошли разговоры, что она дочь известной прежде в России певицы и китайского зеленщика. Так ли это на самом деле, я не знаю. Наверное, тогда мы еще были мальчишками, потому что не раз бегали в комендатуру, чтоб только взглянуть на нее, услышать ее голос, мы любовались ею, как ожившим чудом сказочной красоты, и каждый раз уходили из комендатуры потрясенные. Она не замечала нас, как и всего многолюдного зала, стояла возле стола капитана, уверенно делая работу переводчицы.

Мы приходили в старую, закопченную фанзу, где в кухонном отсеке соорудили стол из разбитых ящиков и пирамиду под автоматы, и долго жили этим чувством удивления перед красотой.

Удодов и Надя встретились после того, как мы почистили оружие, привели себя в порядок, получили из полевой кухни кулеш из свиной тушенки и риса.

Он долго ждал ее, сидя на корточках в тени, попросив вестового передать о себе, и, когда она вышла, щурясь усталыми глазами, он не сразу окликнул ее — ему нужно было время, чтобы разглядеть Надю. Она похудела, а может быть, при сильном солнечном свете острее виделись черты ее лица; гимнастерка на ней была хорошо отутюжена, со свежим белевским подворотничком, волосы она не заправила узлом под пилотку, и они мягко, отливая слабым медным блеском, падали ей на плечи.

Надя повернулась к Удодову. Взгляд ее наткнулся на него, замер. Она смотрела так, словно пыталась сличить его реальный облик с тем, что хранила память. Потом она подошла и сказала:

— Здравствуй.

Поцеловала Удодова в щеку и на этот раз остро, с пронзительным откровением заглянула Удодову в глаза.

— У тебя все в порядке?

— Да. Но...

Она не дала ему договорить, взяла за локоть, сказала:

— Мы пойдем к реке. Посидим там.

Они молча прошли короткой дурно пахнущей улочкой, домов на ней не было — сплошная стена с калитками, в глубине ветви тутовника укрывали крыши фанз. Они вышли на берег, где под ивой лежала запрокинутая кверху плоским дном разбитая джон-

ка, валялись обломки бревен в траве, покрытой бурой пылью.

Удодов смотрел, как под глинистым берегом качался на волне разный мусор. Было душно и тихо. И в этой тишине скупое и сухо прозвучали ее слова:

— Как его убили?

Удодов вздрогнул. Ожидая Надю, он думал только об одном: как сумеет сказать ей о смерти Катанцева. Теперь его удивило не столько то, что она об этом знает, а эта ледяная сухость ее вопроса, как боль, режущая слух.

— Откуда ты знаешь? — спросил он.

— Из сводки.

— А, черт возьми! — выругался он. — Ты иначе говорить не можешь?

— Как? — спросила она.

Но он не мог ей объяснить, просто все в нем мгновенно взбунтовалось от этой оглушающей холодности ее голоса, он успел отвыкнуть от нее за те дни, пока они не виделись. Ему сделалось неприятно, что он сорвался, но и после этого Удодов не в силах был подавить возникшее в нем раздражение.

— Знаешь, что, — сердито заговорил он. — Я хотел у тебя узнать... Ты когда-то говорила, он был в штрафной. Помнишь?

— Да, я это говорила.

— Вот я и хотел узнать: что там у него было?

— Зачем?

— Не знаю... Но мне это надо.

— Он ведь умер, — ответила она. — Теперь неважно, что у него было.

— Важно! — зло оборвал он. — Мне важно.

Она опять с откровенной прямоотой посмотрела на него и неожиданно тихо сказала:

— Что с тобой сделалось, Ромашка?

Он не смог выдержать ее взгляда и отвернулся. С ним и впрямь что-то произошло после смерти Катанцева. Двое суток, пока двигались вверх по Сунгари, он не находил себе места; о чем бы ни думал, что бы ни делал — мысль все время возвращала его к погибшему. Другие не говорили о Катанцеве, старались не вспоминать, а он метался душой, пока не начал искать: в чем же вина его? Удодов понимал, что она не ограничена только мигмом самоотреченной смерти лейтенанта, а имеет более ранний исток. Но разве можно было брать вину на себя за то, что он не принял этого человека с первой встречи, не угадав его сущности?.. Но было в этом неприятии и другое — ощущение превосходства над Катанцевым; так не принимают тех, кто живет и мыслит по более низким нормам. Вот что он имел в виду, когда сказал после первой стычки со взводным: «Дрянный мужик». Да, именно это он и имел в виду. Другие успели забыть, как отвергали Катанцева, еще не зная его в деле, и только само дело заглушило прошлое. Но Удодов не забыл. Лейтенант ушел из жизни, но не ушел из сознания, все прочнее и прочнее завоевывая его. Кем же был он на самом деле, этот обреченный наголо, с хмурым лицом человек, что унес он с собой, что оставил? Главное оказалось непознанным, и ничего теперь нельзя было поправить, потому что за этим стояла необратимость свершившегося.

Удодов не думал, что у него будет такая встреча с Надей, но леденящие слова ее сдвинули все накопленное в душе за эти два дня, и он не выдержал.

— Что же у него было? — спросил он, теперь твердо веря, как необходимо ему это знать, и совсем не для того, чтобы ослабить вину, облегчить ее. В этом желании крылась беспощадность к себе, а он уж узнал, как бывает она целебна в минуты душевных метаний.

Надя не отвечала, вглядываясь в него. Ей хотелось угадать, что скрывается за его настойчивостью. Она ждала этого парня, он нужен ей был сейчас...

Она приняла сводку на командный пункт из Фуцзыня и сначала механически занесла в список убитых фамилию Катанцева. Только спустя некоторое время, осознав, что случилось, содрогнувшись, и тогда весь список павших ожил, и, хотя она не знала остальных, они обрели свою плоть — лица, лица молодых ребят, которые ехали с ней в эшелоне. Карандаш сломался в пальцах. Надя закричала, да так, что те, кто был на командном пункте, разом обернулись, увидели побелевшее лицо с тонкими синими губами, подали ей кружку с водой, она пила, стуча зубами об алюминиевый край.

Ей предложили уйти с коммутатора, но она процедила:

— Нет.

Потом она принимала сводки, четко записывая все, что ей диктовали, стараясь не вдумываться в их смысл — так было легче.

Ночью плыли на катере по Сунгари, ей отвели место в кубрике, душном и тесном; она заснула сразу, но быстро проснулась. Вверху мигал слабым оранжевым светом зарешеченный фонарь, все вокруг дребезжало, охало, позванивало, от смрадной духоты подступала тошнота к горлу. Надя выбралась на палубу по крутому трапу, жадно вдыхая влажный воздух, пробралась мимо дремавших солдат к борту, прижалась к нему. Внизу по черной воде скользило расплывшееся отражение белой звезды. Наде показалось, что еще мгновение, она не удержится и полетит вниз головой, чтобы пробить этот звездный отсвет и уйти в непроглядную глубину реки. И тут же она вздрогнула, быстро запрокинула лицо вверх, словно до нее донесся зов звезды, и она увидела ее над собой, чистую, свежую и одинокую. Надя заплакала. Она плакала долго, не всхлипывая, не утирая запрокинутого лица, и чувствовала облегчение от этих слез.

«Что же это... Что же это?» — шептала она. И ей хотелось быть сейчас не здесь, а на этом катере, а очутиться в родном городе, вернуться в детство, туда, к речке, где мальчишки ловят рыбу, забраться в одну из лодок и сидеть там неподвижно, подставив лицо теплым лучам солнца. От этого желания острее стало ее одиночество, она почувствовала себя совсем крохотной, начисто беспомощной перед огромным небом и черной водой вокруг. И то, что гасилось в ней прежде, вдруг поднялось из душевных глубин и вырвалось в шепоте: «Жить... Ой, как жить хочется!»

Только сейчас она поняла, что там, на коммутаторе, к ней пришел страх, оглушающий, внезапный, она не испытывала такого страха прежде. Она бы не смогла объяснить, почему именно в то мгновение, когда она осознала смерть Катанцева, к ней явился этот страх, а не годом или двумя раньше, когда опасность умереть от пули или осколка была во много крат сильнее. Нет, там она ничего не боялась, вернее, все в ней было приглушено, и мысль о том, что она может быть убита, не приходила, смерть была бытом, и если порой сжималось от испуга сердце, то это было сродни трусости, жалкому и мелкому чувству, от которого оставалось лишь презрение к себе, но ей удавалось отделаться от него без особых сложностей. Она жила, утвердив в себе мир между жизнью и смертью, мир, несущий с собой покорность и самоотречение.

Страх, возникший теперь, был совсем иного рода. Он бунтовал, возвращая отжившие ощущения: первый легкий удар неведомого существа под сердцем с его неожиданным блаженством, которое испытала

она в землянке перед гибелью Галимова, — потом он долго снился ей, этот удар, напоминал о несовершенной радости; ласку мужской, грубой руки, скользящей по ее телу; грустный покой в тишине лесов, — все это собралось вместе, объединяясь с настоящим, врываясь в него. «Жить... Ой, как жить хочется!»

Она смотрела на белую, чистую звезду и молилась ей. У этой молитвы не было слов, а только надежда и немой голос желаний, побеждающий покорность перед смертью, возникшую от страданий и усталости. Нет, она еще не могла осознать, почему страх перед жизнью сменялся в ней очищающей жаждой ее.

— Эй, кто там у борта?! — крикнули сверху.

Грубый оклик ворвался в сознание, она увидела мутные силуэты спящих солдат, сразу почувствовала слабость во всем теле. У нее не хватало сил спуститься снова в кубрик, и, запахнувшись в шинель, Надя нащупала свободное место меж солдат, привалилась к теплому плечу одного из них и заснула крепко, без сновидений.

Ее разбудили на рассвете, когда катер подходил к большой пристани. Она вспомнила все, что было с ней ночью, и, увидев грязную желтую воду, разрушенные дома на берегу, подумала: «Просто я устала от смертей. Катанцев был последней точкой».

Но она ошиблась, решив, что ночь эта уйдет бесследно, как приступ слабости. Ночь эта осталась в ней и мучила надеждой, что все может стать иначе, и тогда она вспомнила об Удодове, об этом парне, который уж однажды принес ей утешение, может быть, сам не догадываясь об этом, и стала ждать его.

Теперь она смотрела на его осунувшееся лицо, сердитые монгольского разреза глаза, на то, как он нервно покусывал нижнюю губу. Она еще ничего не успела ему сказать, а он уж сам со злой настойчивостью требовал от нее ответа:

— Так что же у него там было? — спросил он.

Она подумала, что он впервые что-то требует от нее, ей стало жаль Удодова.

— Хорошо, — тихо сказала она. — Ты успокойся. Я тебе расскажу... Но я не так уж много знаю. Я работала в госпитале месяца два, в Куйбышеве. Коля ушел на фронт. Мы поженились с ним сразу после десятого класса, и он ушел на фронт. А я за ним. Он даже не знал. Я была дура, мне казалось, вот приеду и встречу его. Но меня довезли до Куйбышева и заставили работать в госпитале, — она передохнула и подумала, что совсем не нужно этого рассказывать, ведь Удодов спрашивает о другом. — Ну, ладно, — сказала она. — Катанцев лежал в палате еще до меня. Он долго лежал после операции. Потом ночью ему сделалось плохо. Я думала, он умрет. Его на кислороде уж держали. Но обошлось. Когда он в себя пришел, я ему сказала: «Вы сильный, теперь жить будете». Он мне ответил: «А мне нельзя таким умирать». Потом рассказал, что случилось у него на войне. Он только училище закончил — сразу на передовую. Его взвод зимой высоту оборонял. А немцы по широкому фронту в контратаку пошли, слева и справа соседи отступили. Там были запасные рубежи. Катанцев никуда не отступил, сидел на высоте, отбивался. Я точно не помню, как да что, но у него связи с батальоном и полком не было. И вот, когда от взвода половина осталась, он сам решил отступить. Потом, когда стали разбираться, то получалось: все остальные подразделения отошли по приказу, а взвод Катанцева эту нужную высоту самовольно оставил. Вот его и разжаловали в штрафную. Там он и получил осколок в живот. Мучился он, что прика-

за не выполнил. У него в госпитале бывали по ночам приступы такие, что казалось, с ума сходит. Выкрикивал пофамильно тех, кто на высоте пал. Тогда Галимов ему и сказал: «Ты о тех думай, кого сберечь сумел...» Сильный человек был Галимов, умел заставить человека многое понять... Что ты еще хочешь узнать?

— Ничего, — ответил Удодов.

Ему было достаточно, вполне достаточно. Все остальное он мог легко представить: высоту — слишком похожи они были на войну, изрытые траншеями, с черным снегом от гари и воронок, — треск автоматов и пулеметов, разрывы, и отверженность боя, когда нет никого ни справа, ни слева и только редущая горстка людей, прижатых огнем к брустверу; да, это легко было представить, как и отчаяние Катанцева: еще пятнадцать—двадцать минут, и все погибнут здесь, и немцы все равно взойдут...

Представив все это, Удодов снова увидел тяжелое, с маленькими глазами, круглоскулое, с обритой головой лицо Катанцева. Этот человек стоял все время рядом, человек, подчиненный долгу. Вот в чем была его суть.

Удодов вынул коробку с махоркой, свернул сигарку, закурил и стал смотреть в сторону пристани. Было видно, как китайцы грузили мешки на колесный пароход; эти тяжелые мешки они четверо брали за углы, вскидывали мешок вверх и опускали на согнутую худую спину пятого; тот пружинисто вздрагивал, застыл на мгновение, потом срывался с места и бегом, семеня босыми ногами в закатанных до колен грязно-белых шароварах, взлетал по трапу; было непонятно, как не придавит его груз. Удодов смотрел на эту работу и думал: что он узнал для себя и зачем стремился узнать?

Все, что рассказала Надя, по сути дела, ничего не могло ни прибавить, ни убавить к тому, что знал он сам. Удодов вдруг понял: какой бы ни была жизнь Катанцева, что бы ни свершалось в ней, важно теперь одно: как ушел Катанцев из жизни. Конечно, после рассказа Нади легче всего отыскать причину, почему лейтенант поступил именно так у огневой точки — за ним стояла оборона высоты и те, кто пал на ней. И Катанцев сделал то, что должен был сделать, и в этом вся суть, а все, что случилось с ним до этого, лишалось всякого смысла. Поступок стал главным, самым главным, определяющим все.

— Ты устал, Ромашка, — тихо сказала Надя. — И похудел. — Он уловил мягкость в ее словах, повернулся к ней. В больших серых глазах ее не было прежней холодности, она нарушилась, открыв глубину, из которой излучалось негромкое тепло. — И я тоже устала, — вздохнула Надя.

Она смотрела на странные черты его лица, прежде казавшиеся ей смешными, на кривой нос, припухлые, сложенные в постоянной усмешке губы и почувствовала, как все это дорого ей и нужно. Ей хотелось помочь ему, чтоб он стал прежним, и тихая, давно уже не тревожившая ее ласка шевельнулась в ней. Надя не удержалась, подняла руку, погладила Удодова по лицу, почувствовав при этом нежное превосходство над ним. Она была сейчас сильнее его, и это принесло ей радость.

— Эх ты, — вздохнула она. — А я тебя ждала.

Ему стало неловко от ее упрека, и теперь, стыдясь, что так резко говорил с ней, он ответил:

— Я тоже о тебе думал.

Он увидел реку, противоположный берег в золотистом тумане, слабые, как тени, очертания гор, и этот покой коснулся его.

— А знаешь, Ромашка, — сказала Надя, — давай все забудем.

— Что? — не понял он.

— На сегодня все забудем, — объяснила она. — Устроим маленький праздник. У меня давно не было никаких праздников. Согласен?

— Да, но я не знаю...

— Эх ты! Что там «не знаю». Мы можем пойти в город. Это ведь большой город. Мы можем даже где-нибудь посидеть. У меня есть деньги.

— У меня тоже есть, — сказал он, легко поднимаясь, и подал ей руку.

Два китайца прошли мимо по берегу, низко, в пояс поклонились им и прокричали: «Ваньсуй! Ваньсуй!» — так желали они по-своему ни много ни мало — десять тысяч лет жизни.

5

Это была «Правда» от восьмого августа. Коваль просмотрел ее быстрыми черными глазами и тут же потребовал тишины. Вот тогда он и прочел вслух эту заметку, напечатанную на последней странице:

— «Вашингтон. 6 августа. (ТАСС). Белый дом опубликовал сообщение президента Трумэна, где говорится: «16 часов тому назад американский самолет сбросил на важную японскую военную базу Хиросима (остров Хонсю) бомбу, которая обладает большей разрушительной силой, чем 20 тысяч тонн взрывчатых веществ. Эта бомба обладает разрушительной силой, в 2 тысячи раз превосходящей разрушительную силу английской бомбы «Гренд Слем», которая является самой крупной бомбой, когда-либо использованной в истории войны». «До 1939 года, — продолжал Трумэн, — ученые считали теоретически возможным использовать атомную энергию. Но никто не знал практического метода осуществления этого. К 1942 году, однако, мы узнали, что немцы лихорадочно работают над нахождением способа использования атомной энергии в дополнение к другим орудиям войны, с помощью которых они надеялись закабалить весь мир. Но они не добились успеха». Трумэн далее указал, что в начале 1940 года, еще до событий в Пирл-Харборе, США и Англия объединили свои научные знания, полезные для войны. В соответствии с этой общей политикой началась исследовательская работа над атомной бомбой... «В настоящее время, — сказал Трумэн, — мы намерены уничтожить быстро и полно все подземные производственные предприятия, которые японцы имеют в любом городе. Мы уничтожим их доки, заводы и коммуникации. Пусть никто не заблуждается, мы полностью уничтожим способность Японии воевать...»

Мы сидели в фанзе, дверь была растворена, и видна была желтая река, упавшие в нее железные конструкции моста, у берегов они вздымались вверх, отчетливо выделяясь в пространстве, и напоминали скелет ископаемого животного, которому перебили позвоночник; сравнение это усиливалось необычной окраской неба — оно было песчаного цвета с блеклым, матовым туманцем, не имеющее глубины, плоское, неземное небо.

— Они украли ее у немцев, — сказал Логачев. — Помнишь листовки? Немцы трепались о новом оружии.

— Хрен с ними, с их бомбой, — сказал я. — Все равно скоро и здесь конец.

— Эквивалент—двадцать тысяч тонн взрывчатки, — сказал Коваль. — Это чудовищно много. Как же им удалось?

— Ты что-то в этом рубишь? — спросил Логачев.

— Да, — вздохнул Коваль. Он морщил лохматые



черные брови и кривился, как от боли. — Но я никогда не думал, что это может стать бомбой. Энергия, новый вид мощной энергии — вот о чем думали. А, черт, если все это так...

— Тогда что? — спросил я.

— Тогда это новая эпоха, — сказал он.

— А может, они пугают, — усомнился Логачев. — У них ведь тоже есть что-то на уме. Рванули какую-нибудь ненормальную штуковину, чтобы треску наделать. Геббельс ведь тоже орал.

— Пожалуй, нет, — задумчиво ответил Коваль. — К этому давно подбирались, но никто не думал, что это будет бомба. Но только... только зачем она сейчас?

Так мы впервые узнали про Хиросиму. Раньше мы узнать не могли, было не до этого.

Только много времени спустя мы услышали о том, что еще 26 июля крейсер «Индианаполис» доставил на тихоокеанский остров Тиниан бомбу с игривым именем «Малыш» — детище Лос-Аламоса.

«Индианаполис» тут же ушел в море в сторону Филиппин, чтобы умереть от торпеды японской подводной лодки и унести на дно девятьсот моряков, обыкновенных ребят, так и не узнавших, что за жестокое чудо века доставили они в ящиках на остров. Такие же ребята в легких шортах и безрукавках цвета хаки заправили «Малыша» в бомбовый отсек самолета «Б-29» по имени «Энола Гей». Ребята вытерли пот, ушли со взлетной полосы, закурили сигареты, глядя в синее тропическое небо, в ту сторону, где раскинул свои острова Великий Ниппон.

А там лежали города в пепелищах и развалинах. Сгорел Токио. Отчаяние заледенило души людей, миллионы бездомных теней бродили по улицам, не крича в безумии, не проливая слез, — молча, как и полагается теням, бродили, безнадежно копались в тлеющем пепле, часами стояли в километровых очередях за чашкой кипятку. Не было уже Великого Ниппона — там, на островах, и как бы ни крича-

ли газеты: «Жизнь, полная лишений, является духовной гордостью японского народа», — дух умер, дух капитулировал; жертвы, которых требовала от своих подданных империя, оставили далеко позади пределы человеческих возможностей. Тени бродили по островам.

Оставались еще не сожженными города, отмеченные крестом — той же печатью смерти, на карте генерального штаба вооруженных сил США. Их было четыре: Кокура, Хиросима, Ниигата и древняя столица Японии, с ее храмами и многовековой культурой — Киото. Последняя выпала из списка в минуту сентиментального прилива чувств военного министра, и появилось другое название — Нагасаки.

«Энола Гей» взлетел в тропическое небо и взял курс на острова. А в Хиросиме было жарко, зной тек по улицам, солнце горело вполнеба, дети шли в школу. Бомба упала в 9 часов 15,5 минуты. Это те, кто был на борту «Энола Гей», увидели, как через пять минут после ослепительного взрыва возникла огромная темно-серая туча и из нее вырвалось гигантским столбом белое облако, а на земле все произошло мгновенно: исчезли дома, автомашины, деревья, на огородах остался пепел, черные трупы лежали на дорогах, и ни одной мухи на них, мухи и те исчезли. Нет, пламя не достигло тех, кто жил в императорском дворце, кто подписывал договоры и сделки, кто отдавал приказы войскам и лелеял надежды на Квантунскую армию. Огонь обрушился не на них. История кремнировала тех, кто был безответен, как узники Освенцима.

Это случилось шестого августа, но мы тогда ничего не знали.

Не знали о бомбе и японцы из Квантунской армии. Мы спрашивали о ней у пленных, они удивлялись и не верили.

За пристанью, на площади, где сохранились закопченные стены сгоревших складов, обнесенные колючей проволокой, сбились группками, стараясь укрыться в тени, пленные солдаты; их было много, наверное, около полка, а охраняло их не более пяти бойцов. Где-то у пристани пробило десять часов, когда на площади раздалась команда. Наши бойцы насторожились, не понимая, что происходит, а там, у закопченных стен, торопливо строился поротно-пленный полк. Прошло несколько минут, и откуда-то было извлечено несколько соломенных чучел. Японские офицеры встали неподалеку от них, и снова прозвучали команды. Солдаты с шестью, держа их наперевес, с криком «банзай» бежали к чучелам, стараясь проткнуть их. Тогда стало ясно: пленный полк начал строго по распоряжению занятия по штыковому бою.

Рухнувшая военная машина еще продолжала дребезжать.

Но кончилось все, по сути дела, 19 августа, когда с Харбинского аэропорта к маньчжурской границе, к лесному свежеисрубленному саперами домику доставлен был начальник штаба Квантунской армии Хата и прозвучал голос главнокомандующего маршала Василевского:

— Учтите, что японские войска должны сдаваться организованным порядком вместе со своими офицерами. Учтите также, что в первые дни забота о питании ваших солдат ложится на японских офицеров. Они должны переходить к нам со своими кухнями и запасами продовольствия... Японские генералы должны являться вместе со своими адъютантами и необходимыми для себя вещами. Нам некогда будет после, да это будет и неудобно, разыскивать их личные вещи, которые могут понадобиться. Я га-

рантирую хорошее отношение со стороны Красной Армии не только к высшим офицерам, но и к солдатам.

Это могло бы случиться и раньше, но там, в лесном домике, Хата объяснил: оказалось невозможным довести приказ о капитуляции до всех частей, потому что на второй день наступления советских войск штаб потерял управление соединениями.

Думаю, генералу Хата незачем было хитрить: лавина советских войск, имеющих за плечами богатейший опыт, вооруженных новейшей техникой, обрушилась с такой силой на Маньчжурию, что противостоят ей японские войска, некогда считавшиеся почетным легионом самурайской военщины, погрязшие в устаревших традициях, опирающиеся на обветшалые уставы, по сути своей многолетние каратели и оккупанты нищего народа, не могли. Нет, не зря пришло сюда столько эшелонов с запада: чем сильнее и стремительнее удар, тем меньше жертв с обеих сторон.

Я и мои товарищи воевали в полку, который входил в состав Второго Дальневосточного фронта; после войны, когда раскрыты были стратегические замыслы нашего командования, мы узнали, что фронт наш имел вспомогательную задачу, а главными ударными силами были Забайкальский и Первый Дальневосточный фронты, но и там бои шли в начальную неделю, а потом японские части, потеряв управление, или сдавались, или действовали разрозненно. Случалось и так, что совсем небольшие группы японцев, отбившись от основных сил, сами сдавались в плен. Мы столкнулись с этим 18 августа.

Нас подняли по тревоге перед рассветом и вывели на окраину города, где начинались поля гаоляна; здесь стояло несколько полуразрушенных фанз, а справа горело какое-то здание. Когда мы стали приближаться к фанзам, из зарослей гаоляна, укрытых ключьями тумана, раздалось несколько выстрелов. Пуля просвистела так близко, что показалось, вихрящийся поточек воздуха обдал щеку. Надо было иметь довольно острый и точный взгляд, чтобы при таком освещении, когда шагов за десять видны только силуэты людей, так стрелять. Я подал команду своим, чтобы они укрылись за фанзой: глупо было бы сейчас схлопотать пулю.

Мы прислушались. Стреляли в нескольких местах, с большими промежутками во времени — наверное, японцев было немного, и они перебегали по полю с места на место, чтобы менять позиции. В той стороне, где был пожар, отчаянно били из автоматов, видимо, решив прочесать огнем заросли. Соваться туда, в гаолян, не было никакого смысла: там и за полшага ничего не увидишь, а в тумане легко можно перестрелять своих.

— Сержант, — шепнул мне Удодов. — Их надо брать у края. Потихоньку. Не из глубины же они садят.

Я и сам размышлял об этом и подал команду:

— Давай.

Мы поползли по мокрой траве, достигли канавы у самого начала поля, и тогда я сделал знак Удодову, чтобы он немного выдвинулся вперед, — я помнил, какой у него необычный слух. Мы лежали, стараясь не дышать, и все равно я ничего не услышал, только увидел, как Удодов приподнял руку, показывая, чтоб мы приготовились. Все произошло очень быстро. Едва обрисовалась склоненная фигура японца, как Логачев легко перебросил гибкое тело через кочку, упав японцу под ноги, а Коваль прыгнул вперед. И вот уж японец, лишившись карабина и ножа, лежал на дне канавы, дрожа всем телом, и мы с удивлением и жалостью смотрели на него. Страх и голод отчетливо проступали на этом полу-

мальчишеском лице, и было что-то собачье в его глазах.

— Ему хлеба бы,— сказал Коваль.— Да нет ничего с собой.

— Эх ты,— с сожалением покачал головой Логачев, как будто бы этот японский парень мог его понять.— И чего ты людям спать не даешь? Воевать тебе, шкету, охота.

Выстрелы справа затихли, мы подняли японца на ноги, повели к городу, он шел и плакал, и нам было не по себе от его слез.

Рассвело, когда мы подошли к дороге; здесь собралось около полуроты солдат в пограничной форме, от них-то мы и узнали, что небольшая группа японцев неожиданно напала на часть, которая разместилась на окраине города. Откуда они взялись и для чего они это сделали, никто не понимал. Мы присоединили нашего пленного к трем другим, таким же худым и испуганным, и их повели в штаб.

Тут, на этой дороге, у нас произошла одна любопытная встреча. Нас вдруг окликнул звонкий, веселый голос:

— Эй, ребята!

Из толпы вынырнул розовощекий парень с белесыми усами над вздернутой губой и кинулся к нам.

— Штык! — радостно воскликнул Логачев, и мы сразу же узнали нашего знакомца, которому Коваль в клубе подарил зажигалку.

— Ну, как живете, славяне? — бойко сказал он и похлопал Коваль по плечу.

— Ого! — подмигнул нам Коваль, и мы переглянулись. Не нужно было никакой особой наблюдательности, чтобы определить: от прежней застенчивости ничего не осталось у этого парня, он чувствовал себя с нами на равных.

— Ну как, вояка? — спросил я его. — Хлебнул пороху?

— Под завязку, — провел он ладонью по горлу. — Крепко досталось. Есть что рассказать.

— А где тот сержант, что на медали завидовал? — спросил Логачев. — Получил на грудь?

Белобрысый ответил не сразу, сделал несколько глубоких затяжек, выпустил дым через ноздри на пушистые усы, сказал:

— Нет сержанта. Его в первый день, когда границу переходили, на острове... Там небольшая засада была. Он рванул первый... Вот так.

Мы покуривали с этим парнем в пограничной форме и расстались. И я думал: все зависит от точки зрения; для нас, прибывших с запада, эта война — всего лишь небольшая боевая операция; когда мы ехали сюда, готовились душой к трудной военной работе, долгой, сложной, и хорошо, что ожидания наши не оправдались; а вот для этого парня тут была настоящая, большая война, потому что на ней он впервые попал под огонь. И еще я подумал: для тех, кто погиб здесь в боях, не существует никаких точек зрения, и каждый из нас запросто мог бы разделить их участь.

В те дни лишь смутная догадка владела нами: кончилась не только война, а свершилось в мире нечто большее, и только один среди нас точнее других почувствовал приход новой эпохи.

Спустя некоторое время после того, как мы прочли в «Правде» сообщение о взрыве в Хиросиме, Коваль прибежал в фанзу возбужденный, отчаянно задымил сигаркой, по-обезьяньи морща лоб.

— Ты не хватил ли чего? — спросил Логачев и потянул воздух носом. — Глаза бегают, а запаха нет.

— С японцем говорил, — ответил Коваль. — Интересный японец. Офицер.

— Ты что, уже по-ихнему можешь?

— Переводчик был... Понимаешь, он бывший студент. Умница.

— Чего же тебе этот самурай наговорил?

— Какой он, к черту, самурай, — огрызнулся Коваль на Логачева. — Мы там с ним обо всем поговорили. Он что рассказывает: они тут к этой войне всерьез готовились. У них была своя надежда. Тоже новое оружие. Бактериологическое. Это страшная вещь, если хочешь знать, Логач, может быть, страшнее той атомной бомбы. Говорят, особые отряды были по этому оружию, испытывали его на пленных китайцах. Если бы они его применили...

— Но ведь не применили, — сказал я.

— А могли, — отрезал Коваль. — Важно, что к этому они шли. И еще... Он очень здорово сказал: бомба убила японцев, но кидали ее в нас.

— Ну уж, — усомнился Логачев.

— Точно, — кивнул своей лохматой головой Коваль. — На кой хрен ее было бросать, когда мы за неделю тут все покончили. Вот он и говорит: для войны эта самая Хиросима — бессмыслица. Поражение Японии и без нее было предreshено. А бомба понадобилась, чтоб нас, русских, пугнуть. Вот в чем суть, ребята!

— Если это так, — сказал я, — то дрянь дело. Как бы опять войной не запахло!

— Все может быть, — поддакнул Коваль. — Этот офицер одну интереснейшую мысль выдал. Вот, говорит, мы с вами коллеги. Оба мечтаем за науку. И те, кто у них там бактерии разводил, и те, кто бомбу делал, тоже были ученые. И, конечно, не о войне заботились. В принципе-то любую идею можно обратить во зло. И тут такой вопрос: какого же черта тогда этим заниматься?

— Научкой? — спросил я. — Что же, закрыть ее, что ли?

— Вот! — воскликнул Коваль. — Этот японец и говорит: ученый не должен задумываться, как его науку используют, это не его дело. Смысл его жизни — исследование. И нечего спрашивать с него большего. Важно, что он увеличивает для человечества сумму знаний. А уж то, что сделают с этими знаниями политики, он за это не отвечает. Другого выхода нет.

— Что же ты расстраиваешься? — спросил я.

— Ничего я не расстраиваюсь. Просто мы с ним интересно поспорили. Пора домой, ребята, ой, как порал!

Потом я увидел этого японца, когда мы проходили мимо сожженных портовых складов, где за колючей проволокой расхаживали пленные. Он сидел особняком на разбитом ящике, сложив коротенькие ноги одна на другую, и что-то быстро записывал в тетрадь; его осунувшееся лицо с крепкими выступами под глазами было озабочено. Коваль окликнул японца, тот быстро взглянул в нашу сторону и, тут же улыбнувшись, обнажил яркий строй зубов, поклонился несколько раз, улыбка его была приятна, в ней не было того подобострастия, к которому мы привыкли в те дни.

— А знаешь, — сказал мне Коваль, — он сам-то не очень верит в то, что говорил о смысле жизни ученого.

— Так зачем же говорил?

— Парень ищет, чем ему жить. Наверное, многие сейчас мечутся.

— И ты?

— И я, — ответил Коваль.

Все-таки было в этом парне нечто странное; он был такой, как и мы все, хорошо умел делать свое дело — недаром Катанцев взял его с нами, когда надо было идти к казармам, а уж взводный твердо понимал, на кого можно положиться, — и все-таки



перед Ковалем мы иногда робели. Он знал нечто большее, чем мы, хотя не выставлял своих знаний, только, бывало, взглянет угольными плутоватыми глазами, и под этим взглядом почувствуешь себя неловко.

Я хорошо помню, как он сказал:

— Ехали на новую войну, а приехали в новое время.

Я тогда ничего не понял, только почувствовал тревогу: слишком много было нервного и тайного в его словах, поэтому они и запомнились. Сейчас может показаться невероятным, что парень, которому было двадцать два года, сумел определить ситуацию, о которой лишь смутно догадывались люди, умудренные значительным житейским опытом, но это было так.

Все-таки я его спросил тогда, у сожженных складов:

— Ну, а ты-то как думаешь: для ученого главное — исследование, а на остальное наплевать?

Угольные глаза его стали жесткими.

— Мы же с тобой вот так повоевали, как же мне может быть наплевать?

— Но ведь если придется тебе делать эту штуковину, то будешь?

— Это разные вещи, — хмуро сказал он. — Мы все живем не сами по себе. Над нами история. Она дви-

жет человеком. И я буду делать то, что помогает этому движению. Другого пути не дано.

— Поэтому ты пошел на войну добровольцем?

— Поэтому, — подтвердил он. — И если надо будет, пойду еще раз. У Гёте есть отличные слова, я их со школы помню: «Попытайся выполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть. Но что такое твой долг? Требование дня». Это я понял давно.

Я слушал его, и мне показалось: есть какая-то связь между ним и Катанцевым, не внешняя и даже не в характерах, а какая-то иная, более тонкая, глубинная, и ее еще надо познать.

Потом, много лет спустя, когда я снова встретился с Ковалем, то понял: я слишком мало знал его, но и эта новая встреча не помогла мне проникнуть в суть его характера, он так и остался непознанным, и я только удивлялся переменам, происшедшим в нем, хотя давно уж знал, что человек и его жизнь не бывают завершенными, как не бывает завершенной история, — она всегда в движении. Кончатся только отдельные этапы жизни.

Тот этап закончился 2 сентября, когда в токийской бухте на линкоре «Миссури» была поставлена точка второй по счету мировой войне.

— Мы собрались здесь, — величественно объявил генерал Макартур, — представители главных воюющих держав, чтобы заключить торжественное соглашение, при помощи которого мир может быть восстановлен. Проблемы, влекущие за собой противоположные идеалы и идеологии, были решены на полях сражений всего мира и поэтому не являются предметом наших обсуждений и дебатов.

И они поставили свои подписи: японцы, американцы, китайцы, англичане и наш советский генерал-лейтенант Деревянко.

Так это кончилось.

Двадцать четыре дня прошло с той ночи, как мы пересекли границу на реке Амур.

Сейчас, спустя четверть века, решив вспомнить все, что там с нами было, я пошел в архив, чтоб посмотреть старые газеты, и удивился, как мало они писали о войне на Востоке. Газетные страницы широко были заполнены отчетами о параде физкультурников, проходившем на Красной площади, о всесоюзном Дне авиации и празднике в Тушине, о приеме генерала Эйзенхауэра. Может быть, это было правильно: страна устала от военных сводок, большинство из тех, кто был солдатом, возвращались домой и начинали жить другими, совсем нелегкими заботами, и, кроме тяжких трудов, им нужны были и праздники. Наверное, и тогда мы не были в обиде на газеты, — каждый делал свое дело; нам выпало завершить то, что начато было шесть лет назад не нами и не на нашей земле, но кто-то же должен был все это довести до конца.

Потом, когда возвращались мы по домам в долгой дороге с Дальнего Востока, я услышал немало рассказов о том, чего не видел сам: как взрывались бетонированные доты в горах Большого Хингана, как бросались под самоходки, привязав к себе магнитные мины, японские смертники и как они же, скрываясь в зарослях гаоляня, стреляли до последнего патрона, чтобы потом вспороть себе кинжалом живот. Я сам не видел знаменитого самурайского хаккари, но встречал очевидцев, и те вспоминали об этом с отвращением. У каждой войны свои жестокие гримасы и свои жертвы фанатичного безумия.

Мы покидали Цзямусы тихим днем, с хребтов Малого Хингана пришло студеное дыхание осени, исчезли туманы над рекой, воздух стал прозрачен, и даль сделалась блекло-голубой. Мы грузились на старый, колесный пароход, чтобы спуститься по Сунгари и Амуру, прибыть в запасный полк, откуда отправля-

лись эшелоны с демобилизованными. Было радостно, что скоро мы вернемся туда, где так нас долго ждали, но было и грустно...

На пристани по-прежнему толкались люди, кричали мальчишки, и в этой сутолоке я внезапно увидел женщину. Она стояла, беспомощно опустив руки, в коричневом платье, покроем своим напоминающем кимоно. Да, это была она, переводчица из комендатуры. Может быть, она просталась с кем-то, но как я ни пытался угадать, с кем же именно, так и не нашел на борту человека, к которому обращен был ее тоскующий взгляд, а может быть, она провожала так все наши корабли, которые отходили от этой пристани. Мы отчалили... И я понял, откуда взялась тоска: мы покидали не только берега чужой земли, где начиналось все то, что было предрешиено историей, мы покидали и берега прожитой жизни, чтобы ступить на новый рубеж, с которого нет возврата назад.

Необратимо время, и каким бы оно ни было, когда отступает в вечность, становясь прошлым, приходит и грусть утраты. Куда они исчезают, те берега оставленной нами жизни? К ним не вернешься, не ступишь на них, чтоб ощутить твердость под ногами. Неужто остаются они только в памяти?

...Их было около пятидесяти миллионов, погибших на земном шаре в той войне, и среди них Иван Каванцев.

6

То, что это театр, они поняли, когда прошли на звуки музыки и очутились в помещении с глиняным утрамбованным полом, рядами скамеек и ярусом; на скамьях сидели китайцы, лузгали семечки, сплевывая шелуху себе под ноги, курили, пили чай из пиал, тут же рядом с ними на скамьях стояли чайники. Ярус пустовал — это потом они узнали, что там места для женщин, и смеялись, вспоминая, как на них оглянулись, — а сейчас они прошли и тоже сели на скамью.

На сцене без занавеса стоял небольшой оркестр, дробно, порой заглушая все звуки, отбивал ритм маленький барабан, звучали бамбуковые флейты и необычные, четырехструнные гитары; музыка то оглушающе выла, то внезапно примолкала, и оставалась только барабанная дробь. По передней части сцены расхаживал актер в широкой одежде, расшитой золотыми драконами, на голове его качалось сложное сооружение, сплетенное из позолоченной проволоки, с разноцветными лентами и острыми пиками, в руке он держал хлыст, помахивая им; лицо его представляло маску, окрашенную в ярко-желтый цвет.

Не успели Надя и Удодов оглядеться, как к ним подскочил китаец в синей куртке, сунул в руки пиалы, поставил у ног чайник и зашептал что-то, тыча в коричневые катышки, нанизанные на длинные палочки. Удодов снял одну из них, сунул в рот.

— Ничего, — шепнул он Наде. — Что-то вроде халвы.

Они купили у китайца всю палочку и, разлив чай по пиалам, стали смотреть на сцену.

Человек с желтым лицом еще раз прошел туда и обратно вдоль просцениума, потом остановился и стал делать такие движения, будто слезал с лошади, — наверное, до этого он изображал всадника, потом он постоял и перешагнул невидимый порог, тут навстречу ему выскочил другой, лицо его было окрашено в белый цвет¹, он затряс руками над голо-

вой, и по залу прошел одобрителный гул. Видимо, случилось что-то важное для действия этой молчаливой пьесы. Музыка, до этого звучавшая как бы сама по себе, тут обрела строгий ритм, барабанная дробь все нарастала и нарастала, пока не превратилась в сплошной, отчаянный грохот. Тогда-то желтолицый выхватил кривой меч, а за спиной белолицего возникли с пиками и мечами, став полукругом, человек восемь; они именно возникли, потому что ни Надя, ни Удодов не уловили того момента, когда эти люди в черных шелковых одеждах с белыми полосками на груди, с туго стянутыми на голове черными косынками выбежали на сцену. Кто-то из них бросил меч белолицему, тот перестал потрясать, словно бы в страхе, руками и с яростью втянул голову в плечи. Барабаны и бамбуковые флейты примолкли на краткое мгновение и тут же взвились в боевом кличе. Мечи двоих скрестились, а люди в черном взмахнули о такт своим оружием.

Движения актеров были просты, свободны, и поединок был больше похож на цирковое представление, чем на театральное зрелище; желтолицый то подпрыгивал вверх, то уклонялся от ударов меча противника, с акробатической легкостью вращаясь вокруг себя, и в других актерах тоже чувствовалась спокойная непринужденность отработанных приемов, и, несмотря на все это, представление завораживало, тайная, нервная тревога исходила со сцены. Надя и Удодов смотрели сначала с веселым любопытством, потом все больше и больше увлекаясь этим полунемым спектаклем.

Поединок, как и следовало ожидать, кончился победой желтолицего, и сразу же наступила пауза, оркестранты опустили инструменты, достали платки, вытирая пот с лица. Актер в тяжелом платье с золотыми драконами буднично вышел из-за кулис, легко прыгнул в зал и не спеша пошел по рядам, держа в вытянутой руке небольшой медный подносик. Удодов не сразу понял, для чего это нужно было актеру, но, когда услышал звон падавших монет, сообразил, в чем дело. Его нездоровые, немолдые глаза скользнули по Удодову, рука отвела подносик, но Удодов поспешно вынул из кармана рубль, аккуратно положил его на грудку денег. Актер поклонился, он был теперь без того странного головного убора, слипшиеся темные волосы с проседью падали на виски, он произнес с трудом:

— Ципасибо.

И опять посмотрел на Удодова мягкими, добрыми глазами, тут же повернулся, пошел к следующему ряду, что-то старческое сразу проступило во всей его фигуре, словно сквозь тяжелое платье прорисовалось худое, сутуловатое тело, и было удивительно, что это именно он так легко проделывал почти акробатические этюды с мечом. Надя тоже смотрела вслед актеру, глаза ее погрустнели.

— Жалко его, — сказала она.

— Почему? — спросил Удодов.

— Не знаю, но почему-то жалко.

Теперь, когда ничего не было на сцене, Удодов снова увидел зал, убогий и неудобный, с глиняным полом, заплыванным подсолнечной шелухой, с табачным дымом над головами зрителей.

— Знаешь что, — сказала Надя, — пойдем отсюда, Ромашка.

В синих сумерках зажигались городские огни, на улицах народу было немного, у раскрытых дверей небольших кафе вертелись зазывалы, из подвальных доносились звуки музыки, женщины в кимоно, кокетливо помахивая веерами, улыбочиво кланялись патрулям и прохожим, — ни в какое из этих мест заходить не хотелось. Веселья не получилось, грусть, возникшая в театре, усиливалась, и Удодов с тоской

¹ В китайском театре желтая маска означает храброго, белая — обманщика, красная — честного.

подумал, что так и может кончиться этот день: они вот дойдут сейчас до портовых казарм, расстанутся, и опять он начнет жить ожиданием встречи с ней. Он решительно взял Надю под руку и повел ее к берегу.

Они вышли на старое место, под иву, к разбитой джонке. Надя села, охватив руками колени, он опустился с ней рядом. Над рекой висел молоденький месяц, очень яркий, почти белый, он засеребрил воду и, отражаясь от нее, от земли, прибрежных строений и предметов, создавал вокруг сизую просветленность. Лицо Нади казалось побелевшим, и черты его расплывчаты и неопределенны.

— Чужое здесь все, — сказала Надя. — Непонятное какое-то. Много красок, а в них печаль. И этот театр... И все, все. Домой хочется.

Он вспомнил тот день, когда провожал Надю, от эшелона по тихой загородной улочке, и спросил:

— У тебя родители есть?

— Нет, Ромашка, — ответила она. — Отец еще в срок первом, а мама... Она на заводе умерла, они по двенадцати часов работали, а у нее сердце было больное. Прямо в цехе умерла, я тогда в десятом училась.

«Куда же домой?» — чуть было не спросил он, но сдержался. Все те дни, что встречался он с ней, и потом, когда был один, он не думал о парне с покореженной рукой, которого видел во дворе недокрашенного дома. Ему показалось, что и Надя сумела вычеркнуть Николая из своей памяти, резко отрубив все, что было связано с ним, и только когда она рассказывала о Катанцеве, назвала его, и то очень спокойно, как человека, который лишь мелькнул в ее жизни, ничего в ней не изменив. Теперь же он подумал, что тот, русоголовый, с крупными чертами лица, сочными губами, может вернуться из прошлого и помешать ему. Тут же он торопливо обнял Надю, она не отстранилась, податливо ослабнув под его рукой.

— Мы поедем вместе, — сказал он. — В Ленинград. У меня есть комната. Там вполне можно жить вдвоем.

— Ты хочешь на мне жениться, Ромашка? — спросила она.

— Не знаю... Я еще не думал, — признался он и удивился, как они просто говорят об этом.

— Так как же мы будем жить?

— Если ты захочешь, то мы поженимся. Но разве в этом дело?

— Может быть, — не сразу ответила она. — Пожалуй, и правда, что не в этом дело. А в чем?

— Мы остаемся одни, — сказал он. — Раньше все было проще. Была мама, была школа, и здесь, в армии, всегда кто-то стоял над тобой, и ты жил так, как тебе подскажут. А сейчас мы остаемся одни, надо все начинать сначала и самому. Вдвоем, наверное, легче.

— Я тоже не была одна, — сказала она. — Даже когда не стало родных. Ты прав: всегда был кто-то рядом и чем-то помогал. Но, наверное, надо побыть и одной... совсем одной, чтобы хоть узнать, что ты можешь.

— Так не бывает, — подумав, ответил он. — Это только кажется, что можно остаться совсем одному, а на самом деле всегда найдутся люди, которые или тебе помогут, или ты сам им должен помочь. И я не об этом... Тут дело в том, что надо понять одну штуку, я об этом много думал, когда кончилась война там, на Западе. Понимаешь, когда за тебя кто-то решает, ты за это вроде бы не отвечаешь. За тебя, мол, думают, а ты выполняешь, и потом всегда можно сказать: я только выполнял чью-то волю. Кажется, так легче жить, а на самом деле ты постепенно становишься не человеком, а черт знает кем,

вроде бы подневольного ягненка. Вот и получается: как только ты отказываешься от ответа за свои дела, тут же отказываешься от самого себя, от своей свободы. И чем больше ты отвечаешь за все, что делаешь, тем больше у тебя свободы. А свободный человек всегда может дать больше людям, чем подневольный исполнитель... Вот я о чем. Эту штуку надо суметь понять, тогда и можно все начинать сначала.

— Но не всегда это можно, Ромашка.

— Всегда, — сказал он. — Если очень захочешь, то всегда.

— Ты будешь учиться?

— Да. Я тебе уже говорил... Как только вернусь, пойду в Эрмитаж, там еще есть люди, которые помнят маму.

— Ты думаешь: сейчас кому-то нужны эти старые картины?

— Они всегда нужны. Если ты пойдешь со мной в музей, то поймешь, что без этого нельзя людям жить, как без хлеба.

— Ты молодец, — вздохнула она. — Ты знаешь, что хочешь... А я... Все у меня потерялось. И ничего я не умею. Только сидеть на коммутаторе. А таких сейчас много.

— Всему можно научиться, — ответил он. — Даже жить можно научиться... Только захотеть...

— Да, только захотеть. Но в этом все и дело, что и захотеть надо суметь.

— Ты не бойся, — сказал он, сильнее прижав ее к себе. — Если не будешь трусить, то все будет в порядке.

— А полюбить ты меня сможешь? — тихо спросила она и тут же встрепенулась. — Только ты не отвечай сразу... Ладно?

Он повернулся к ней, но она успела прикрыть ему ладошкой рот и сказала:

— Не надо... Лучше помолчи. Я прошу тебя...

Она прислонилась лицом к его плечу, и он провел рукой по ее щеке. Его ладонь была шершава, груба, от нее пахло табаком и землей, острое тепло прошло по всему телу от этого прикосновения, и Надя затихла, отрешенно прислушиваясь к себе, наслаждаясь остротой блаженной радости. Он еще раз погладил ее по щеке и еще, она вспомнила, что это уж было у нее, и тогда она так же, отдаваясь опьяняющей ласке, думала, как хорошо ей. Миг воспоминания был краток, очень краток, но он заставил ее вздрогнуть, потому что за ним стояло слишком многое...

...Тихий лес за кладбищем с запахом весенней сосновой смолы и бурой, пролежавшей всю зиму под снегом хвои, на которой гасились осторожные шаги. Она приходила туда, чтобы обрести покой неподалеку от материнской могилы, и не ведала, что за ней шел он, прячась за соснами, не спуская с нее глаз. Она знала этого парня много лет, жила от него неподалеку, ходила с ним в школу. А там, в лесу, когда это случилось, она увидела, что вовсе не знала его, ни его рук, ни его губ, ни его глаз. Все, что было дальше, соединялось в единое целое, которое нельзя было дробить на часы и дни, — это было одно, огромное, вобравшее в себя и тепло майской травы, и уют домашней постели, утренние хлопоты и вечерние радости, и неохватную боль разлуки, выдержать которую она так и не смогла, и, бросив все, кинулась на поиски утраченного забвения... Тот, другой, казался ей лишь мудрым поводырем; она привыкла к его спокойному, с нисходящим загаром лицу, с крутыми татарскими скулами и кудрявой седой на висках, когда стирала пот со лба его и щек марлевой салфеточкой, став сиделкой в госпитале. Она поверила ему сразу, глядя в мудрые его глаза,

и сама умолила, чтобы он не оставил ее в пути. Вера ее была наивна и потому фанатично сильна, она думала, что ей ничего не надо, — только снова увидеть того, кто стал ее мужем и спас от одиночества, и не замечала, как менялся поводирь, как рождалась в его глазах большая нежность, и пришел тот миг в землянке, где прожили они только сутки, тот самый миг, когда, не выдержав страданий, этот самый человек с седыми висками потянулся к ней с лаской, и она оказалась беспомощной перед ней. А потом случилось чудо: этот неожиданный, мягкий удар неведомого существа. «Ты станешь матерью?» — спросил он. «Я сама этого не знала», — ответила она. Он ушел от нее и умер. И все бы, наверное, тогда кончилось, потому что дорога ее была предопределена и жизнь наполнялась новым смыслом и заботой о еще не рожденном человеке. Но так случилось, что на берегу, когда она уж возвращалась с переднего края, где оставила свежую могилу своего бывшего поводиря, разорвался снаряд... Кровью и смертями обернулась ее надежда и поиски утешения...

Краток был миг воспоминаний, он не нес с собой завершений сцен и картин, а был как молниеносный сигнал, объединивший в себе все пережитое, и, приняв этот сигнал, Надя отшатнулась от Удодова. Но он держал ее крепкой, сильной рукой и не дал ей вырваться.

Теперь с ним происходило совсем иное, чем там, на Байкале, когда увидел он ее розовое тело в прозрачной воде и, охваченный желанием, потянулся к ней; теперь он был уверен в себе и в том, что не должен потерять эту женщину.

— Я и сейчас тебя люблю, — ответил он, склоняясь к ней. — Я не отпущу тебя никуда... Слышишь... Никуда!

Глаза ее были рядом, они смотрели беспомощно и открыто. Удодов притянул ее к себе и поцеловал...

7

Мы возвращались по домам. И если на войну двигались вместе и были там как нечто целое, как единый, сжившийся организм, то при обратном пути наступала такая минута, когда каждый оставался один...

В конце ноября сорок пятого года с эшелона, который шел с востока на запад, на перрон возле одноэтажного вокзала с прямоугольными колоннами и полукруглыми окнами, окрашенного в грязно-зеленый цвет, вышел высокий, худощавый человек. Высоколобый, с крепким прямым носом, мягкими, чуть насмешливыми губами и впадинкой на остром подбородке, он огляделся, подхватил фанерный чемодан, другой рукой придерживая повешенный на плечо мешок, и решительно зашагал к углу здания. Возле забора он остановился, улыбнулся, глядя на небольшую площадь, покрытую серым, грязным снегом, — там, возле ларьков и длинных столов, толкались люди, рассматривали, трясли различные вещи.

Логачев окликнул инвалида, шкандыбавшего мимо на скрипучем протезе, спросил, как добраться до улицы Щербатой, тот указал на остановку автобуса, буркнул:

— Третий номер довезет.

Дребезжащий тесный автобус долго вез его улицы, и Логачев, пристроившись на заднем сиденье, протер рукой примороженное стекло и с жадностью оглядывал мелькавшие мимо дома, вывески, де-

ревья, запорошенные снегом, пока не доехал до улицы Щербатой. Он быстро нашел нужный ему номер дома, хотя почти все дома на этой улице были одинаковыми: бревенчатые, двухэтажные, стандартной застройки; на них выделялись белые наличники окон. Логачев поднялся по хорошо вымытой лестнице на второй этаж, здесь пахло старым тряпьем и теплом кошачьих лежанок; он постучал в дверь, обитую темным войлоком, на ней от удара задребезжал помятый почтовый ящик. Логачев ждал долго, но дверь не открывали, тогда он постучал еще раз и еще и взглянул на часы — по местному времени выходило, что сейчас всего лишь начало третьего пополудни.

Он вышел из подъезда, посмотрел вверх, чтобы приметить окна нужной ему квартиры, и пересек улицу; там был небольшой магазин, а рядом — то ли чайная, то ли пивная. Парной, насыщенный запахами кислого пива и ржавой селедки воздух обдал его. Несколько мужиков, что-то жуя и отхлебывая пиво, стояли подле длинных полок, понаделанных по краям узкого помещения, по центру его и у окна были поставлены столики, но мужикам, наверное, больше нравилось стоять. Логачев облюбовал себе место возле окна, сходил к буфетной стойке, взял кружку плохого пенящегося пива, достал из вещмешка кусок просоленного шпика, хлеба, нарезал все это мелкими ломтиками и, лениво закусывая, стал смотреть сквозь туманное стекло через дорогу.

Он ехал сюда двенадцать дней и сейчас отдыхал от однообразной и тряской теплушечной жизни. В Биробиджане, откуда шла отправка отслуживших срок солдат, ему удалось отбиться от своих — так он задумал еще раньше. Он мог ехать куда угодно и поселиться в любом городе страны, даже в Москве и Ленинграде, и билет он мог выписать в любом направлении — такая у него была солдатская льгота, да и вообще он был свободней других в выборе, не ехать же ему сейчас в детдом, где когда-то рос. И все-таки он выбрал этот город, не очень веселый, заводской, где никого из близких не было у него, да и сам он сюда, на эти улицы, попал впервые. Одного он только боялся: чтобы те, кто был с ним рядом в войну, не разгадали его намерений. Тогда-то и решил отбиться от ребят, использовав для этого нехитрый способ: залег на несколько дней в санитарную часть с желудочным расстройством, а потом уж, когда отошли первые эшелоны, увозя его товарищей, он выписал документы по демобилизации. Логачев пил медленными глотками пиво, заедая его соленым шпиком, когда услышал над собой голос:

— На побывку, солдат, или шабаш?

Логачев поднял голову. Рядом стоял широкоплечий невысокий мужик. Нездоровая, с синевой кожа его лица была в крупных порках, и возле крутых крыльев плоского носа въелась темная металлическая пыль, глаза — с зеленым блеском, хитрые и колкие; одет он был в засаленную телогрейку и шапку-ушанку с сизой, бахромчатой материей вместо меха.

— Какая, к чертям, побывка! — пробурчал Логачев.

— Так ведь молодой еще.

— А по-твоему, старики воевали?

— Всем досталось, — насмешливо скользнул по Логачеву зелеными глазами мужик.

Логачев подумал, что ему вовсе не стоит огрызаться: этот человек явно здешний и может оказаться ему полезным.

— Садись, — приглашающе указал он на пустой стул. — Угощу пивом.

Человек хитро сощурился.

— Я на свои привык, на чужие не люблю.

Он тут же смотался к буфетной стойке, принес две кружки с пивом, вынул из кармана телогрейки чет-

вертинку и, отметив на бутылке черным, растрескавшимся ногтем половину, вылил водку сначала в одну кружку, потом в другую, сунул пустую четвертинку в карман и сказал:

— Давай, солдат. Так оно настоящее.

Логачев подрезал еще шлика и отпил этой смеси, именуемой «ерш»; сосед же его сильным глотком опорожнил кружку больше чем наполовину и тут же вытер ладонью заслезившиеся глаза.

— А я углядел, — сказал он, — солдат тоскует. Сам я без компании не могу. Без компании — это не питье, а сплошное пьянство. Значит, отвоевал? А я вот на войне не был по причине профессиональной грыжи. Потому у меня любопытство есть к солдатскому разговору.

— Ты здешний? — спросил Логачев.

— Тутшний, — кивнул человек. — Безукладников моя фамилия. Промежду прочим, такую фамилию тут многие носят. Так я по прозвищу Сгальный. Это с пацанства ко мне приклеилось. Деповский я. На ремонте. А ты заезжий?

— Дело у меня, — ответил Логачев.

— Секрет?

— Может, да, а может, нет, — усмехнулся Логачев и внезапно спросил: — Катанцева знал?

Хитрый блеск исчез с глаз Безукладникова; он колко посмотрел на Логачева и протянул:

— Вот оно что. — От крутых крыльев его носа легли ко рту две скорбные складки. — Ты что же, с Иваном там вместе был?

— Вместе.

— Да-а, — сказал он и тут же потянулся к кружке, крутым глотком допил остатки, полез в карман за папиросами, вынул коричневую смятую пачку «Ракеты», угостил Логачева.

— Выходит, вы все тут знаете, — сказал Логачев.

— Все, да не все, — вздохнул Безукладников. — Про смерть новость быстра. А Иван на глазах у Щербатой рос. Тебя что же, от войска послали?

— Нет. Я сам.

— Корешами были?

— Не очень... Поначалу так совсем наоборот.

Тяжелые, корявые руки Безукладникова лежали на столе, два темных пальца мяли папироску, голова вдалась в широкие плечи. Логачев, наблюдая в нем эту перемену, почувствовал беспокойство, смешанное с тягучим страхом. Это было не внове для него: в дороге, лежа ночами на теплушечных нарах, он пробуждался, будто от сильного удара сердца, с нехорошим туманом в голове и, чувствуя, что не сможет больше заснуть, шел к железной печке, где дремал дневальный, подкидывая в нее дров и смотрел, как за дверцей трепещет пламя огня, — и тогда приходило вот это же самое чувство и вместе с ним сомнение: зачем, зачем я еду? Но было нечто сильнее этих колебаний — проник в душу таинственный зов, идущий от затерянного в бескрайней дали источника, грустный и тоскующий и потому имеющий необоримую силу над Логачевым, и это он вызывал тягучий страх, потому что Логачев был беспомощен перед тем зовом.

Сейчас, глядя на Безукладникова, понял Логачев, что его тревожило: а вдруг все надежды рухнут, наткнутся на пустоту, и тогда он лишится пока единственной цели в жизни. Кем же он станет, за что ухватится в этом огромном, бездомном для него мире, куда выбросила его отступившая в прошлое война?

— Давай еще по одной, — сказал Безукладников.

— Теперь за мой счет, — отозвался Логачев.

— Какие тут промежду нами могут быть счеты?

Он быстро принес две кружки пива, вздохнул огорченно:

— Пустую потянем, чекушка одна была.

Они сидели долго, молча, пили медленными глотками пиво, и Логачев не заметил, как набрался народ в пивную, стало шумно, дымно от табака, теперь уж люди стояли не только у полок, но и в проходах между столиками; на улице стемнело, и Логачев, взглянув за туманное стекло, увидел, что в заприщепленных им окнах зажегся свет.

— Ну, мне пора, — сказал он.

— Знаешь, солдат, — вскинулся Безукладников. — Давай я с тобой. Ты поймей в виду — не любопытства ради. Зина-то — баба особая. Тут на Щербатой много всяких смертей бывало, и повесток навалом шло, и разные прочие несчастья. Под каждой крышей, считай, не по одному упокойничку. А Зину население пуще всех жалело. Баба такая. Только-только, можно сказать, в себя пришла. Так что давай вместе.

Не дожидаясь, пока согласится Логачев, Безукладников подхватил чемодан, крикнув:

— Эка, будто каменьев натолкал.

— Все имущество с собой.

Они вышли из пивной; воздух со слабым морозцем был свеж, с бодрящим запахом вкусного дымка; они пересекли улицу, тут Логачев снова взглянул на освещенные окна верхнего этажа, мутные, загадочные тени шевелились в них.

— Знаешь что, — шепотом сказал Логачев, словно боялся, что его там, наверху, могут услышать. — Лучшее я один. Ты не серчай. Мне так надо... Я один.

Безукладников спорить не стал, поставил чемодан, сказал:

— Ты вот что... Вон третий дом отсюда. В правые сени, на первый этаж. Может, потребуюсь или обратно переночевать надо будет. Сунься ко мне. Сгального спросишь — каждый укажет. Будь здоров. — И пошел, нелепо раскорячась, тяжело переваливаясь с ноги на ногу.

Логачев поднялся на второй этаж, переведя дух, постоял, машинально одернул шинель и, тут же решившись, прикусив до боли губу, сильно постучал. Он не услышал шагов за обитой темным войлоком дверью, она приоткрылась, пискнув на петлях, и клин желтого, неяркого света упал из нее. Логачев не сразу увидел лицо Зины, сначала обрисовались контуры головы; только взглядевшись, он различил в тени остановившиеся в немом вопросе глаза, и тогда давно обдуманные слова сошли с губ:

— Зинаиду Катанцеву необходимо видеть.

Дверь открылась шире, Зина молча отступила, и Логачев, подхватив свои вещи, неуклюже внес их в небольшую прихожую, где рыжим накалом светилась пятнадцатисвечевая лампочка; при этом свете он смог все же разглядеть Зину. Она стояла, зябко сжавшись, может быть, от холода, который он напустил, входя, в линялом ситцевом платишке в синий горошек, русые волосы ее были не причесаны, в беспорядке падали на плечи, и тут Логачев удивился полной схожести выражения ее лица с тем, каким было оно, когда он впервые ее увидел, молчаливо идущей рядом с вагоном — те же застывшие глаза и та же скорбь в них, — и все в нем заныло от жалости. Она ждала терпеливо и молча.

— Мне надо вам передать, — перебарывая себя, сказал Логачев, — кое-что... — Он хотел сказать «от мужа», но осекся и выдал из себя: — От Катанцева.

Она помедлила и указала на дверь в комнату:

— Проходите.

Он сбросил шинель, повесил ее на вешалку и, подхватив с собой только вещмешок, пошел за Зиной. Комната, куда он попал, была просторна, освещена лампой под оранжевым абажуром с выгоревшими кистями, квадратный стол застелен белой скатертью, прямо была еще одна дверь, в другую комнату —

там, на клеенчатом диване с высокой спинкой возил-ся с котенком лобастый мальчишка.

— Садитесь,— пригласила Зина.

Было хорошо натоплено и чисто. Логачев сел, пригладил обеими ладонями волосы. Зина тоже села напротив, вяло положив на скатерть руки.

Он не знал, как начать разговор, и решил представиться.

— Моя фамилия Логачев. Я служил под началом Катанцева, в одном взводе.

— Я знаю,— негромко ответила она, разглядывая свои пальцы.— Ваня мне писал. Он про всех писал.

Логачев насторожился и спросил с невольной усмешкой:

— Ругал, небось?

Зина подняла на него глаза и покачала головой.

— Нет. Он никого не ругал... А про вас... Больше всех про вас писал. Жалел.

Логачев было потянулся в карман за табаком, но тут же застеснялся, боясь напустить дыму в этой чистой комнате. Преодолевая нехороший комочек, возникий во рту, спросил:

— За что же?

— Наверное, потому, что вы детдомовский. Он сам по чужим углам рос, понимал такое... А вы курите,— сказала она, поднялась, сняла с комода тяжелую, чугунную пепельницу, поставила ее рядом с Логачевым и снова села.— Ваня курил... Даже хорошо, пусть немного табаком попахнет.

Логачев стал свертывать сигарку и тут увидел, как мальчишка, потянувшись за котенком, соскользнул с дивана и шлепнулся об пол; Логачев невольно вско-чил, но мальчишка не заплакал, кряхтя поднялся, по-тер насупленный лоб и погрозил кулаком котенку.

Зина, увидев все это, слабо улыбнулась:

— Ничего, он у нас с терпением.

Логачев развязал вещмешок, вынул оттуда небольшо-й узелок и выложил на скатерть офицерскую книж-ку Катанцева, часы, медаль «За боевые заслуги», ко-торую почему-то не сдал начальству, политотдель-скую листовку и мятую, в рыжих пятнах фотографию.

— Это его,— сказал он и, подумав, добавил: — Что-бы память была.

Зина оглядела все по очереди, но ничего не изме-нилось в ее лице, потом бережно собрала эти нехит-рые вещи, сложила их в тряпицу, отнесла к комоду, выдвинув тугий ящик, уложила в него узелок и, по-стояв над ним, повернулась к Логачеву.

— Сейчас чай пить будем,— сказала она.— Я со службы недавно. Плиту затопила, может, уже скипел. Тут Логачев сразу же заторопился.

— Припасы там у меня кое-какие имеются. Вам вез.— И пошел в прихожую.

Зина вышла за ним, отворила дверь в небольшую кухню, где топилась плита, на ней, и верно, кипел чайник.

Логачев втащил в кухню чемодан, положил его на табуретку, стал выкладывать на кухонный стол содер-жимое: два белых мешка, каждый килограммов на восемь, один с мукой, другой с китайским рисом — то был подарок солдату, который выдавался каждому демобилизованному; и еще он вынул несколько кон-сервных банок с тушенкой, мешочек с сахаром, бан-ку с маслом, кусок шпика и бутылку спирта, которую добыл, находясь в запасном полку, и сумел сберечь дорогой; так, опростав чемодан, хлопнул крышкой—ничего ему самому из этих припасов не нужно было.

— Да тут всего на месяц хватит,— сказала Зина.— Куда же мне?

— Положено,— отозвался он, радуясь собственной щедрости.— От солдатского котла положено.— И уж совсем обрета свою всегдашнюю вольную независи-

мость, вздохнул хитро: — Эх, обмыться бы маленько! А то в дороге продубел весь.

— Я сейчас воды еще нагрее,— с готовностью ото-звалась Зина.

Через некоторое время он стоял в одних трусах в жарко натопленной кухоньке перед корытом, постав-ленным на табуретку, и, зачерпнув ковшем теплой воды из бачка, в котором кипятят белье для стирки, полил себе на голову и с удовольствием густо намы-лил жесткие от въевшейся пыли волосы. Он забил мылом глаза и стал шарить рукой в поисках ков-шика, как услышал рядом Зинин голос:

— Давай солью. Склонись-ка.

Он обмер от этого голоса и вздрогнул от прикос-новения руки Зины, она подтолкнула его в шею, он быстро наклонился, теплая вода потекла на голову. Освободясь от мыла, он было приподнялся, но тут же она снова сказала со снисходительной строгостью, как обычно обращаются к малым ребятам:

— Мылся еще, да шею крепче.

Она окатила его несколько раз из ковшика, пове-сила его на край бачка, деловито сказала:

— Теперь сам.

Он долго смотрел на закрывшуюся за ней дверь, ошарашенный происшедшим, и почувствовал, как схватило спазмой горло: только сейчас, опомнившись, он по-настоящему понял, что произошло,— покорно поддаваясь ее командам, по-мальчишески ежась от прикосновения ее руки, он ушел на какое-то мгнове-ние в свое далекое, далекое, совсем забытое еще в детдомовские годы, в то податливо ребячье, когда рядом звучит с ворчливой лаской материнский голос. Он уж много лет не думал о матери, потому что еще в детстве забыл ее лицо, а может быть, и не помнил никогда — слишком уж был мал, когда остался один, а теперь отчетливо испытал, словно выплывшее из глубин годов, ее дыхание на себе. Просветленная, об-легчающая душу радость пришла к нему, он рассме-ялся и стал мыться с удовольствием, растирая вехот-кой крепкое, худощавое тело.

Когда он, слив из корыта воду в раковину, собрал-ся натянуть на себя рубаху, в дверь постучала Зина.

— Можно к тебе?

Она вошла, и он сразу обнаружил в ней перемену—одета она была теперь в белую шелковую кофту и черную юбку, волосы гладко причесаны; Зина протянула ему пару чистого белья.

— Наденешь,— сказала она.

Он инстинктивно отступил, но она тут же спокойно объяснила:

— Новое, год как на толкучке купленное.— И тут же добавила: — Ты попроворней. Мишутка ждет, ему есть да спать пора ложиться.

Он быстро оделся, белье было широко на нем и коротко, но от свежести его стало приятно телу. Ло-гачев прибрал на кухне, чтобы не оставлять за собой грязи, и вошел в комнату, где накрыт был стол. Ми-шутка сидел, чинно положив руки на скатерть, и по-смотрел на Логачева маленькими, цепкими глазами, нахмурился широкий лоб, и этот катанцевский взгляд заставил Логачева вздрогнуть.

Он сел к столу, налил себе в граненую стопку спир-та, потом Зине, она задержала его руку, показав, что ей и этой капли хватит; он приподнял стопку. Мишут-ка и Зина смотрели на него с ожиданием, он помед-лил и сказал:

— Со свиданьем.— И быстро выпил.

Зина пригубила, и все стали есть. Мишутка ловко орудовал ложкой, выгребая из тарелки разогретое консервное мясо, потом посмотрел на Логачева и ска-зал:

— К тебе хочу.

Логачев обрадовался его смелости, усадил себе

на колени, Мишутка прижался к его груди, и Логачеву сделалось приятно от детского тепла, он погладил мальчишку по голове, сказал:

— Ты ешь еще, наедайся.

Но Мишутка отвернулся от стола, сопя стал перебирать на груди Логачева медали.

— Ну, поиграл, а теперь иди умой рожицу да спать, — приказала Зина.

Мишутка слез с колен Логачева и, как медвежонок, косолапо переваливаясь, пошел на кухню.

— Покорный он у тебя, — сказал Логачев.

— Такой растет. Работник будет.

— Да, видать, трудовой, — согласился Логачев.

Она сидела напротив него, чуть покрасневшая от домашнего тепла и выпитого спирта, синеглазая, немного скуластая и молодая, он радовался, привыкая к ее красоте, — так хорошо и покойно ему никогда еще не было, и, боясь, что это может разрушиться само собой, сказал:

— Тебе когда на службу?

— Я в семь встаю.

— Тогда мне пора. — И попытался пошутить: — Гости хорошо в меру. — И, тут же поняв, что шутка не получилась, объяснил: — Кореш у меня в вашем городе объявился. Может, слыхала, по прозвищу Сгальный. На ночлег ждет.

— Какой он тебе кореш, — ответила Зина. — У Сгального своих семеро по лавкам. Там и на пол не всунешься. Вон на диване постелю, ночуй. У тебя куда путь?

— Я вольный. У меня по всей России дом.

Вернулся Мишутка, Зина встала из-за стола, разделала мальчишку и стала укладывать его на широкую кровать с блестящими шишками. Логачев вышел в прихожую покурить, а когда вернулся, Мишутка уж спал, повернувшись к стенке, со стола все было прибрано, и диван застелен.

— Спокойной ночи, — сказала Зина.

Он прошел в соседнюю комнату. Она была совсем мала — в ней и помещался-то этот диван, шифоньер да самодельная полка с книгами. Логачев погасил свет, разделся и лег в пахнущую незнакомой свежестью постель и долго лежал, улавливая множество шорохов, непривычных для него. Он понял, что не уснет, и стал думать о том, как странно и путано складывалась его жизнь, и люди, что бывали с ним рядом, не понимали его. Он не любил вранья и никогда не говорил неправды, но всегда те, кто слушал его, считали, что Логачев просто травит, а он рассказывал только истинное и о себе и о женщинах, которых встречал: они ведь на самом деле были — Марыся из Винницы и профессорская дочка в Вене; другое дело, что он не смог их принять всерьез. Да и они, эти девочки, наверное, давно забыли о нем. Он и перед Катанцевым ничего не скрыл, сказав ему на тормозной площадке: «Жена у тебя красивая, лейтенант. Таких женщин на Руси мало осталось». И ему показалось тогда, что Катанцев все понял. Логачев и видел-то Зину несколько минут, а она не заметила его, замкнутая в своем горе, но и тех минут оказалось достаточно, чтобы он не смог ее забыть; и когда не стало Катанцева, может быть, Логачев больше других тайно мучился от этого несчастья; и совсем уж стало ему худо, когда подошел срок и наступил конец военной службе. Его терзало и мучило: а может ли он войти в тот дом, где все сделано не им, а тем, кто умер за него; есть ли право даже помышлять об этом? И тогда пришла ему простая и, может статься, жестокая по своей обнаженной правде мысль: люди умирают, но жизнь на том не кончается, в ней остаются другие, и они принимают все, чем богато их время, и богатство это не чужое, только кем-то из ушедших скопленное, в нем есть и доля

оставшихся — живым живое, и этому живому не нужен отказ, иначе мир может захиреть и угаснуть. Проникнув в это, Логачев решился и теперь понимал, что иного пути у него и быть не может.

Он долго лежал, пока ему не почудилось, что в соседней комнате что-то произошло, рывком поднялся на диване и напряженно прислушался. Зина плакала. Он услышал это очень отчетливо, схватил со стула штаны, натянул и босиком пошел в соседнюю комнату.

Она сидела, держась руками за никелированную спинку кровати, уронив на эти руки голову; при тусклом свете, идущем с улицы в окна, белела ее рубашка и видно было обнаженное худенькое плечо, которое вздрагивало от тяжелых, сдерживаемых слез. Он робко подошел к ней, спросил:

— Ты что... Что с тобой?

Она не подняла головы, и тогда он понял, что весь этот вечер дался ей нелегко, и, оставшись наедине со спящим сыном, она не выдержала.

— Ну, не надо, — пробормотал он. — Слышишь, — и стал гладить ее по голове, ощутив ладонью мягкие, шелковистые волосы; и по мере того, как он гладил их, Зина начала утихать, потом, вздрогнув плечами, подняла лицо, в заплаканных глазах ее было что-то робкое, детское.

— Ты не трогай меня, — шепотом сказала она. — Не трогай... Я ведь три года ждала... три года. Истомилась. Меня не надо трогать сейчас.

— Я не буду, — тоже зашептал он. — Ты лучше ложись, поспи. — Говорить ему было тяжело, он едва справлялся с собой.

— Ты иди к себе, — попросила она.

— Хорошо. Только я тебе сказать хочу... Я к тебе приехал. И ждать буду, сколько надо, столько и ждать буду. Мне без тебя нельзя. — И он повернулся, зашлепал босыми ногами к себе в комнату.



Лет восемь назад ко мне приехал коренастый, крутолобый парень с пронзительным взглядом маленьких глаз, одетый в модную по тем временам коричневой замши куртку, и принес письмо от Логачева. В письме том Логачев просил дать ночлег и пристанище его приемному сыну Михаилу Катанцеву, пока он будет сдавать экзамены в институт. Парень прожил у нас около месяца, а потом изредка навещался в гости, пока не уехал из Москвы. Но то уже особая история. Она о том, какими стали разными наши жизни после того, как эпоха отбила рубеж между войной и миром, и хотя каждый из нас был подвластен тем закономерностям, которым подчиняется век, и был частицей в общем потоке времени, но в личных судьбах велики были различия. Да, то другая история, а эта закончилась там, в Маньчжурии, где гонит желтые воды Сунгари...

8

...Он самозабвенно целовал ее, ничего не существовало, только ее губы, глаза — все ее запрокинутое лицо, и ответная ласка рук; но прошло первое ослепление, и повеяло холодом. Удодов сразу же ощутил его на себе, хотя и не понял, что же случилось: лицо Нади качнулось, ушло в сторону, ладонь напряженно легла на его губы, плечи ее напряглись, и тут же Надя выскользнула, оттолкнув Удодова в грудь, он опрокинулся на спину. В ту же секунду она вскочила и побежала.



Молоденький месяц над Сунгари достиг белого накала, и при свете его видно было, как бежит Надя по берегу в сторону порта. Удодов вскочил и побежал за ней, перепрыгивая через рытвины, натыкаясь на ветви кустов. Надя внезапно споткнулась и, взмахнув руками, соскользнула вниз с откоса. Он прыгнул за ней и увидел, как она стремительно отползла от воды и прижалась спиной к глиняной глыбе. Глаза ее затравленно сверкнули, она выставила вперед обе руки и зло прошептала:

— Уйди.

Только сейчас, немного придя в себя, Удодов испуганно остановился.

— Что... что с тобой? — спросил он.

Надя, словно стараясь защититься от него, все шептала в забвении: «Уйди... Уйди», — нервная дрожь трясла ее, и он боялся сделать хотя бы шаг, волна била его по сапогам, и брызги летели вверх. Надя вскрикнула и тут же, прижав ладони к лицу, заплакала.

— Я не хотел тебя обидеть, — сказал он; все в нем теперь охладело, и пришла растерянность.

Надя плакала, громко всхлипывая, тогда он решился, двинулся к ней, и она тотчас подняла голову на шум его шагов, сказала:

— Нет.

Удодов остановился, она долго смотрела на него с болезненной гримасой, лицо ее было бледно при белом свете месяца и показалось ему жалким. Наконец, Надя поднялась, прошла мимо Удодова к реке, склонилась, зачерпнула ладонями воду и стала умываться. Обмыв лицо, она достала из нагрудного кармана платок, вытерлась и только после этого повернулась к Удодову.

— Ты прости меня, Ромашка, — тихо, виновато сказала она и пошла вверх по откосу, все убыстряя шаг.

Он опять догнал ее, но она тут же остановилась, попросила:

— Не надо. Я одна.

Он стоял, слушая ее шаги, потом раздался голос часового:

— Стой! Кто идет?

Надя ответила, и после этого шаги ее затихли.

Несколько дней добивался он с нею встречи, но штабные, когда он приходил к белой казарме, говорили, что она или занята, или не может к нему выйти; это были тяжелые для него дни; где бы он ни был: в карауле, на занятиях или ходил в патруле по городу, — он мучился, пытаясь проникнуть в тайну случившегося, но она, эта тайна, не открывалась перед ним. Удодов осунулся, был молчалив, много курил — это было похоже на болезнь, и он, страдая, нес ее в себе.

Надя пришла сама в тот день, когда мы покидали фанзу, чтобы погрузиться на пароход.

— Я пришла тебя проводить, — сказала она. — Мы уходим на катере немного позднее вас. — И попросила, обратясь к нам: — Возьмите, ребята, его вещи.

Пока шли у нас всякие построения, они молча спустились к пристани, вокруг шла погрузочная суета, и, чтобы не попасть в ее коловорот, Надя и Удодов отошли к причалам, возле которых теснилось на воде множество джонок. Надя заглянула прямо в глаза Удодова.

— Я должна тебе все объяснить, — сказала она. — А ты должен меня понять, Ромашка. Ты сумеешь.

Он ждал, хотя и жила уже в нем смутная догадка, что сейчас может прийти конец его надеждам, но, глядя на Надю, он обрел спокойствие.

— Мне тоже тяжело, — сказала она. — Но ты сильный... Я знаю, что ты очень сильный. Понимаешь, Ро-

машка, мне бы, наверное, было с тобой хорошо. И ты прав: вместе все проще. Но там... на берегу... Как объяснить тебе?.. Там, на берегу, был не ты. Это пришел он... Николай. Это я его целовала, не тебя. Он один у меня, Ромашка. Только один.

— Но ведь ты, — сказал Удодов, — сама не захотела к нему вернуться.

— Да, — кивнула она. — Это было тогда. Во мне было много злости. Он мне не поверил еще раньше, из-за Галимова, и те — его и мои товарищи — не поверили. И я подумала: не смогу это простить.

— А сейчас?

— Это ты виноват, Ромашка, — слабо улыбнулась она. — Не знаю, как ты это сделал, но ты научил: нельзя на зло отвечать злом... Мы ведь были счастливыми, у нас мог быть ребенок. Не мы виноваты, что все случилось иначе. Я люблю его, Ромашка. Ничего тут нельзя сделать — только быть перед собой честной... Если бы не он, я бы смогла полюбить тебя. Конечно, это трудно слышать, но у тебя так много всего впереди, и цель своя есть, ты добьешься, я верю.

— А если он... не поймет? — сказал Удодов. — Не примет...

— Тогда я останусь одна, — ответила она. — Может быть, так даже лучше. Мне тоже надо оглядеться и понять: какой быть дальше.

Он слушал Надю и любил ее.

— Ну, вот и все, — сказала она. — Ты мне что-нибудь скажешь?

Но он молчал, у него не было слов. Она положила ему руки на грудь и опять заглянула в глаза.

— А тебе спасибо, Ромашка, — прошептала она. — За все, за все спасибо.

Тогда он обнял ее и поцеловал.

Когда уходил наш пароход, Нади на пристани не было, там шумели китайцы да стояла загадочная женщина, в лице которой смешались черты Востока и Запада, а Удодов, прижавшись к борту, жадно всматривался в толпу: Надя все равно навсегда оставалась на том берегу его жизни. И только потом, много времени спустя, вспоминая ее, он думал, что не она, а он должен быть благодарен судьбе за эту встречу, вселившую в него веру в открытую людскую честность.

Мы вышли на середину Сунгари, и тут Коваль сказал:

— А ведь, ребята, скоро расстанемся. Может, по древнему обычаю, обменяемся талисманами?

Мы полезли в карманы, каждый из нас наскреб кто автоматическую ручку, кто зажигалку, а Удодов провел по гимнастерке руками, наткнулся на висевший на поясе нож, снял его. Мы ждали, кому он его протянет, но он подкинул его на ладони и вдруг с силой запустил за борт, нож перевернулся в воздухе, выскочил из ножен и, сверкнув на солнце лезвием, ушел в Сунгари.

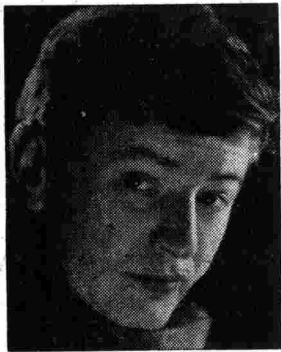
— С этим покончено, — сказал Удодов.

Да, с этим все было покончено, но начиналось новое — не просто заботы и поиски тишины — ее не было в послевоенные годы, — а была работа на пределе человеческих сил, чтобы залечить на земном шаре раны, и еще была борьба.

И оставались в памяти последние слова Нади:

— Ты не забывай меня, Ромашка, что бы ни было — не забывай.

Много лет прошло, двадцать пять лет прошло, я не забыл.



Владимир
Калиниченко

СТИХИ О ФАШИСТСКОЙ НЕВОЛЕ

Табак

Дело мое было табак.
Не знаю, кто продал меня.
Связали руки и били так,
что лопалась кожа ремня.
Потом сапогом пытали: зачем,
кому табак воровал!
Зубы сцепив на своем плече,
я лишь головой мотал...
Наш комендант был великий знаток
по части табачных дел.
Построил теплицу, подвел к ней ток,
каждому дал надел —
два ряда ростков.
Вирджинский табак. Лучше нет табака!
Я перед тем, как идти в барак,
тайком срывал два листка.
Не для себя — я тогда не курил.
Спал рядом на нарах сосед,
контуженый дядька,
я имя забыл:
прошло ведь немало лет.
Он гладил меня заскорузлой рукой,
шептал: «Спасибо, сынок», —
а мне казалось: то батя мой
в кулак пускает дымок.
Не мог же я вахманам выдать его!
Он взрослый, а я пацан.
Пусть, сволочи, бьют, стерплю, ничего:
ведь я защищаю отца!
...Меня принесли, швырнули под бак.
Ни есть, ни пить я не мог.
Но крепко сжимал вирджинский табак
мой худенький кулачок.
Сосед оторвал бумаги кусок,
цигарку свернул — вот так,
и глухо сказал: «Покури, браток...»
С тех пор я курю табак.

Хлеб

Фашист был сытым и хмельным,
а мы голодными и трезвыми,
и по приказу шли за ним, —
ведь нам не полагалось брезговать.
Он выдумал для нас игру:
сгонял из каждого барака
двух пацанов, и в тесный круг
швырял кусками хлеб — на драку.
Он был страшнее палача,

когда спокойно ломти резал.
А мы должны были кричать:
«Моритури салютант, Цезарь!»¹ —
и расшибать друг другу лбы:
поляк — француз, русский — чеху...
Катались по земле рабы.
А господин сдыхал от смеха.
Знаток латыни и манер,
он упивался этим действием...
Огромный черный гулливер
топтался сапогом по детству...
Он уходил жрать коньяки,
петь «Роза мунде» под гитару,
а мы, держась за синяки,
ныряли под любые нары, —
поляки, венгры, русаки,
французы, чехи и евреи, —
выкладывали все куски,
от духа хлебного немея,
захлебываясь от слюны.
Шептал мой друг, держась за спину:
«Перестарались пацаны...»
Ну, ничего. Дели, Калина!
Съедали хлеб. Потом без слов —
язык для дружбы не помеха —
мы вытирали кровь с носов:
поляк — француз, русский — чеху.

Собака

Я эту собаку запомнил, как человека...
Случилось такое в сорок четвертом. Зимой.
Игрался спектакль «Охота XX века»
перед шеренгой, застывшей от страха,
немой.
У коменданта была привязанность к догам.
И был экземпляр — казался слоном
среди всех.
Даже эсэсовцы боялись верзилу-дога.
И вот этот зверь шагнул величаво на снег.
И вывели жертву...
Стоял мальчишка, продрогнув.
Куда тут бежать! Он давно ослабел.
Комендант наклонился, подал команду догу,
и тот в два прыжка расстояние преодолел.
Обнюхал смертника, прошелся спокойно
рядом.
Был он великолепен в размашистом,
легком шагу!
Вернулся дог к коменданту
и честным собачьим взглядом
сказал человеку пес:
«Ребенок ведь — не могу...»
Лагфюрер пожал плечами:
ему-то разницы нету.
Раскрыл кобур у пряжки с надписью
«С нами бог»,
но, едва сверкнула вороненая сталь
пистолета,
в эсэсовское горло впился красавец дог!
...Дога четвертовали,
пустив под лопасти шнека...
Я вряд ли теперь найду в Сан-Пельтене
свой барак...
Но эту собаку
я вспоминаю, как человека,
единственного человека
среди фашистских собак.

¹ «Идущие на смерть тебя приветствуют, Цезарь!» (лат.) — из обращения гладиаторов Древнего Рима.

Ал. Сурков

РОВЕСНИК ЛЮБОМУ ПОКОЛЕНИЮ

К шестидесятилетию
Александра ТВАРДОВСКОГО



Александру Твардовскому шестьдесят. Как-то не укладывается это в сознании. Может быть, потому, что когда долго живешь рядом с человеком, не замечаешь, как волны лет перекачиваются через его голову, оставляя белую горькую соль возраста на волосах.

Я помню Твардовского молодого, широкоплечего, голубоглазого, русого смолянина, появившегося в Москве где-то в середине тридцатых годов и как-то естественно быстро занявшего одно из самых значительных мест в русской поэзии тех лет. Он появился в Москве, имея за плечами добрый пяток книг, изданных в родном Смоленске. И вскоре отметил свое появление поэмой «Страна Муравия», едва ли не единственного из множества написанных разными поэтами произведений, посвященных коллективизации, которое и поныне волнует читательское сердце.

С тех пор многое написано поэтом и отдано на суд большого читателя. Несколько томов, которые вобрали в себя далеко не все написанное почти за сорок лет, — свидетельство многосторонности дарования Твардовского и взыскательности большого мастера.

Все годы жизни поэта в советской литературе творчество Твардовского было в фокусе читательской любви и внимания критики.

О поэмах, стихах, прозе Твардовского написано не поддающееся учету множество критических статей. Изданы серьезные монографии. На протяжении десят-

ков лет соискатели кандидатских степеней избирают его творчество объектом своих исследовательских усилий. И мне бы не хотелось в канун шестидесятилетия поэта присоединить свой голос к этому многоглаголивому потоку мнений и суждений.

Отнюдь не обобщая, не строя прогнозов, мне хочется перед важной датой в жизни товарища выразить свое несогласие с тем, что уже лет с сорока он постоянно и настойчиво и в лирике и в авторских отступлениях своих больших поэм пытается убедить и себя и читателя в том, что-де идут годы и приходит старость.

Сказав однажды, что «писатель — ровесник каждому поколению», поэт сам опроверг свои горестно-иронические размышления о старении.

Да, шли годы, и с годами становилось глубже, острее художническое зрение поэта, возрастала требовательность к себе; с опытом расширялись горизонты видения мира.

Но оставалась и остается молодая упругость поэтической строки, молодое стремление всегда быть «с веком наравне», присущее молодости желание быть всегда и во всем бескомпромиссно правдивым, желание и умение быть самим собой всегда и везде, продиктовавшее уже в зрелом возрасте строки:

Фото А. Лесса.

Вся суть в одном-единственном завете:
То, что скажу, до времени тая,
Я это знаю лучше всех на свете —
Живых и мертвых, — знаю только я.

Сказать то слово никому другому
Я никогда бы никому не мог
Передоверить. Даже Льву Толстому —
Нельзя. Не скажет — пусть себе он бог.

А я лишь смертный. За свое в ответе,
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.

Это принятое от юношеских лет жесткое правило и послужило тому, что традиционно классические по внешности стихи и поэмы Твардовского неизменно выделяли его какой-то особой, неизменной новизной, решительно ломающей тесные рамки традиционности.

И лирика, и поэмы, и кристально чистая проза Твардовского отмечены знаком этой непоказной новизны, продиктованной и природой таланта поэта и окружающей его жизнью, к которой он всегда чутко прислушивался, и правде, которой был всегда верен. Можно спорить с теми или иными представлениями поэта о разных сторонах нашей действительности, можно не соглашаться с авторской трактовкой героя в поэме «Теркин на том свете», но при всем том, даже горячо споря с ним, нельзя отказать поэту во всегдашней взволнованной искренности, в стремлении выразить в поэтическом образе свою точку зрения на действительность, такую, какой она предстает перед мысленным взглядом поэта.

Твардовский с первых написанных им строк был верен животрепещущей теме бурно и сложно развивающейся советской действительности. Ею, этой действительностью, наполнены и его поэмы, прочно вошедшие в сознание нескольких поколений наших современников-читателей, и его лирика, будь это интимная исповедь сердца, или лирика природы, или лирика горячего гражданского отклика.

Достоинство сосуществующая с Некрасовской традицией, поэма «Страна Муравия» родилась в тридцатых годах как взволнованный отклик поэта на бурные, полные драматических коллизий события коллективизации сельского хозяйства.

«Книга про бойца» поражает читателя, хорошо знающего «фактуру» современной войны и психологию ее участников, знанием самых мельчайших деталей походного и траншейного быта, жизненной правдой образа главного героя Василия Теркина и тех многочисленных «проходных» персонажей, которые составляют не фон для подвигов и размышлений героя, а среду, без которой и вне которой он немислим.

Казалось бы, что предельная локальность, временная замкнутость поля деятельности Теркина должны бы были быстро отправить эту поэму в историю литературы и в приложения к истории войны. Но она, так же, как и «Страна Муравия», живет и продолжает волновать сердца современников, которых от событий коллективизации и отгремевшей войны отделяет дистанция солидного размера.

И происходит это потому, что сквозь плотную ткань обусловленного временем бытового и исторического фона зрение читателя примечает черты непреходящих сторон характера людей, населяющих произведения Твардовского.

С тем большей мерой это относится к большому послевоенному полотну «За далью — даль» — плоду многолетнего творческого подвига поэта, где он омысливает свою сложную и героическую эпоху.

Животрепещущая современность, которой был всегда верен Твардовский в выборе темы и материала своих произведений, в «За далью — даль», в привычной для автора со времен «Страны Муравия» форме своеобразной поэтической хроники-путешествия, вмещает в себя и широкое историческое обобщение, и неотразимо верную историческую параллель, и, что самое главное, присутствие во времени и преходящем черт непреходящих, общечеловеческих и в то же время живого, нарождающегося с каждым новым днем.

Этой же являющейся признаком истинной поэзии особенностью отмечена и лирика Твардовского, которая чем дальше, тем больше наполняется иногда жизнеутверждающими, иногда тревожными думами о нашем времени, о судьбе человека и человечества, о судьбе страны и судьбе мира.

Недаром поэт в разные годы, варьируя главную мысль о предназначении поэтического слова, отвергал потоги гладкописцев, которые «до пошлой сказки низводят сказочную быль». Поэт писал в 1962 году:

Я за такой устав суровый,
Чтоб ограничить трату слов;

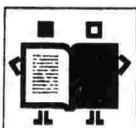
Чтоб сердце кровью их питало,
Чтоб разум их живой смыкал;
Чтоб не транжирить как попало
Из капиталов капитал;

Чтоб не мешать зерна с половой,
Самим себе в глаза пыля;
Чтоб шло в расчет любое слово
По курсу твердого рубля.

Верный этой своей задаче, Твардовский прошел нелегкий, не лишенный ухабов и рытвин путь поэта, которому выпало на долю высокое счастье стать подлинно народным поэтом, стихи которого читаются и запоминаются миллионами, строки которого при жизни автора становятся поговорками и присловиями.

Свое шестидесятилетие большой поэт советской земли встречает в хорошей рабочей форме. И от души желая ему долго-долго сохранить эту форму на радость читателям, мне хочется закончить это слово строками, которые я приводил, отмечая полу столетие поэта, и которые поныне остаются столь же животрепещущие актуальными для его литературной и гражданской судьбы:

Спасибо, Родина, за счастье
С тобою быть в пути твоём.
За новым трудным перевалом
Вздохнуть
С тобою заодно.
И дальше в путь —
Большим или малым
Ах, самым малым,
Все равно:
Она моя — твоя победа,
Она моя — твоя печаль,
Как твой призыв:
За мною следуй,
И обретай в пути, и ведай
За далью — даль.
За далью — даль!



ПРОЗА

Евгения Гинзбург



УЧИТЕЛЬСКАЯ КРОВЬ

РАССКАЗ

Рисунок С. Аристокесовой.

Теплоход, грациозный, поворотливый великан, с достоинством нес свое большое тело по майскому волжскому разливу. Мы плыли сквозь черемушный дух, сквозь соловьиное щелканье, сквозь ритмичные всплески воды. Мы оторвались от всякой конкретности, отвели взоры от неумолимости мира. Вроде ничего нет на свете важнее, как уловить все до единого оттенки воды и неба. Час был закатный, и нам были подарены все краски: от пламенной багровости до теплой нежности очищенного персика.

Все старики — ведь майские теплоходы всегда оккупированы стариками — высыпали на палубу, разместились в креслах и устремили растроганные, почти богомольные взгляды в далекий небосклон. Мало кто разговаривал. Только седобородый ученый с нависшими черными бровями подробно описывал спутнику иллюминацию в городе Костроме в тринадцатом году по случаю трехсотлетия дома Романовых, да тучная старуха в голубом стеганом халате диктовала соседке итальянскую диету для похудения:

— Утром сто граммов нежирного творога и чашечку кофе... Нет, вот именно без сахара...

На них зашикали, как в театре на непоседливых соседей, мешающих слушать. Голоса смолкли. В наступившей тишине старики с грустной кротостью следили, как солнце садится в дымчатом мареве. Резкий толчок теплохода вывел всех из очарованности.

— Входим в шлюз...

Мгновенно изменилось общее настроение. Все поднялись с мест и устремились на нос теплохода, откуда виднее, как выплывают из глубины вод медлительные чугунно-тяжелые ворота, похожие на подъемный мост средневекового замка. Умиленное созерцание природы сменилось восторгом перед делом рук человеческих. Заговорили все сразу. Посыпались технические термины, имена инженеров, названия давнишних строек.

Тут-то я и различила в общем гуле голосов чьи-то знакомые интонации. Постепенно этот голос притушил остальные. Сейчас все слушали размеренную речь привыкшего к лекторству человека.

В статном сорокалетнем мужчине с киноаппаратом через плечо я не сразу узнала своего бывшего ученика. Только когда он сделал характерное движение шеей, словно вывинчивая ее из корректного воротничка нейлоновой рубашки, мне показалось, что он сейчас назовет меня по имени. И я поняла: это бывший казанский мальчишка тридцатых годов, бывший мой ученик.

— Коля!

Но после первых возгласов, улыбок, рукопожатий, после того, как, отъединившись от всех, мы уселись на корме, я поправилась:

— Николай Алексеич!

— Вы помните мое отчество?

А это было совсем не удивительно. Потому что

отец Коли Алексей Николаевич преподавал в той же школе и был окружен общим почетом. И дед Коли, и его мать, и разные дяди и тетки — все были педагогами. Эта семья была просто находкой для журналистов, и о ней нередко появлялись в печати очерки под заголовками «Династия учителей» или «По стопам отцов». А однажды — даже очерк «Учительская кровь», за который автора осудили, заподозрив в очерке намеки на что-то недозволенно генетическое.

Подростком Коля был тоже мечен на будущее учительство. Возился с малышами, был незаменим в любом походе, в экскурсии.

— Почему же не в учителя, а в инженеры?

— Чтобы тетушке досадить, — отшутился он. — Помню, мне как раз в вуз поступать, а тут одна наша двоюродная тетя народную учительницу получила. Справляли шумно. Вот мне в политехническом и говорят: «Что же вы не по стопам тетушки?» Можете себе представить! Ну, по стопам отцов — это еще куда ни шло. Хоть акустика не оскорблена! А уж по стопам двоюродной тети — это, как хотите, не звучит...

— А если всерьез? Ведь я помню: у тебя... у вас не очень-то ладилось с математикой. Такой был выявленный с малых лет гуманитарий с педуклоном.

Он разъяснил неохотно скороговоркой:

— Убоялся бездны премудрости. Сопротивление материалов ведь легче преодолеть, чем сопротивление душ... На пример отца наглядился. А математика, что ж! К ней ведь и притерпеться можно. Стерпится-слюбится... Что это? Опять шлюз?

Он взял меня под руку, повел к носу теплохода. Вокруг нас быстро собрался народ, и Коля опять вразумительно и четко объяснял механику передвижения воды. И снова я со странной горечью отметила сухость, размеренность, какую-то подчеркнутую рассудочность интонаций. Но все-таки голос моего бывшего ученика был тот же. Вопреки интонациям он плескался чем-то дальним, дорогим, как все ушедшее. Точно прежний Коля участвует в школьном спектакле — играет сорокалетнего инженера.

Этот голос да еще обволакивающее дыхание Волги, отдающее водорослями, нефтью, юными снами, вдруг воскресили в моем сознании яркие образы былого, давно отодвинутого куда-то в запасники памяти другими, более острыми картинками.

Я вспомнила волжскую ночь у костра, на песчаной отмели, против Звениговского затона. Это была большая экскурсия. До Звенигова мы с ребятами добрались на пароходе, но ночевать в затоне не захотели. Куда интереснее на косе на середине реки, против пристани. Мы доплыли до нее на лодках, везя запасы хвороста для костра, котелки для ухи, куски брезента на случай дождя, две общие тетради, чтобы тут же по свежим следам записывать впечатления. Девчонки визжали, когда брызги от весла попадали им в лица, но настороженно затаили, как только общий баловень Володька Струков, прирожденный конференсье-острослов, запевал своим забавным голосом модную тогда песенку насчет того, как из Сан-Франциско в Лисабон пароход — две тыщи тонн — шел волнам наперерез и на риф налез! Тут все кричали хором «Бум!», и лодки крепнулись набок, а девичий визг становился еще громче.

Вспомнила, какая звонкая тишина нависла над нашим островком, когда ребята, накупавшись, нашумевшись, охрипнув от пения и споров, нагло таившись переперченной ухи, наконец безоглядно ушли в сон, а я, лежа на спине, еще следила, засыпая, как дале-

кие звезды мчатся налегке сквозь густо-синие небесные водоемы.

И как вдруг на цыпочках подкрались ко мне два мальчика с просьбой разрешить их спор. И один из них был этот самый Коля, в котором я тогда никак не могла заподозрить теперешней инженерной рассудительности.

Мальчишки очень доверяли мне. И не только потому, что ребята вообще любят молодых учителей, безотказных на любые туристские маршруты, но еще и потому, что я читала им стихи. Много стихов. Гораздо больше, чем предусматривалось программой по литературе. Именно от меня мальчишки впервые услышали про отважного рыцаря Газтана, который мчится под косматым парусом, мчится наперекор стихии, потому что «ревет ураган, поет океан, кружится снег, мчится мгновенный век, снится блаженный берег»!

Но когда дошло до строк, что рыцарь мчится «в путь роковой и бесцельный», в разговор вступил Сергей Косенко, председатель учкома, известный в школьных кругах как видный марксист, и возмутился рыцарем за его нецелестремленность.

Так сидели мы на родимом волжском песке, по-ночному прохладном, и говорили о неведомых, недосыгаемых океанах, о загадочном маршруте отважного Газтана. И Коля поворачивал свою длинную мальчишескую шею характерным движением, как бы вывинчивая ее из воротника, чтобы увидеть то, что выше, и в глазах его взлетали мгновенные промельки чего-то тайного, невыразимого словами.

У нынешнего Николая Алексеевича сохранился этот характерный поворот шеи, но глаза его смотрели теперь ровно, в них светилось деловитое и немного усталое всеведение.

...Между тем наша корабельная жизнь вдруг резко изменилась. Умиленная тишина первых дней плавания сменилась гулким шумом, хохотом, бегом по палубе. Потому что подошли последние числа мая, школьные занятия заканчивались, и теперь почти на каждой пристани на наше судно бодро вливались все новые и новые отряды пионеров с рюкзаками за плечами, с жарко-красными или небесно-голубыми шапочками на буйных головушках. Пионеры ехали в Ульяновск и в Казань, по следам молодого Ленина.

Кончилось медлительное замирание вечеров, окрашенных закатами. Никто не наблюдал теперь в поздние часы, как лунный свет пересекается черными тенями прибрежных деревьев. Теперь под окнами кают с резким скрежетом передвигали стулья, звонко цокотали каблучками прямо над головой с верхней, капитанской палубы или самозабвенно играли в «Ручеек», сбивая с ног зазевавшихся пассажиров.

Корабельная служба напрягала все силы в повседневной борьбе со стихийной жизнерадостностью нового поколения. Проводница Тамара, отличавшаяся до сих пор крайней флегматичностью (на все жалобы пассажиров она обычно отвечала кратко: «Ужо придут слесаря — уделают!»), стала заметно нервничать, поскольку пионеры посягнули на неприкосновенность плюшевых дорожек, расстеленных в коридорах. А своим единственным служебным долгом Тамара считала именно чистоту этих дорожек. Теперь дорожки были сбиты, запылены, истоптаны десятками голенастых расчесанных ног.

— Дорожки! — вопила Тамара, напирая на свое горьковское «о». — ДОРОЖКИ-ТО ХОТЬ ПОЖАЛЕЙТЕ!

Она молитвенно поднимала вверх нарядные, синие ресницы. Дети смущались на секунду, но тут же неслись дальше, охваченные своими заботами, недоступными взрослым.

В ресторане теперь постоянно не хватало посуды. Рядом с грациозными официантками в кружевных наколках то и дело стала появляться специально для сбора посуды коренастая, растрепанная тетя Дуся с кухни.

Она там, внизу, видеть, совсем запарилась, не успевая обеспечивать пионеров тарелками. Тетя Дуся цепким глазом улавливала замешкавшихся за едой стариков и, властно протягивая перед самими их носами свою короткопалую, пахнущую томатом руку в засаленном рукаве, строго говорила:

— У вас, граждане, эта тара опросталась? Тогда не задерживайте! Дети кушать хотят...

Старики, плывущие по Волге ради тишины и отдыха, откликнулись на детскую интервенцию по-разному. Одни с непроницаемой каменной кротостью жались в дальние углы, полностью уступив юным поле боя. Другие пытались вступить с ребятами в договорные отношения — то проникновенными рассказами о благонаправлении прежних поколений, то притворным участием в играх. Сухонький старичок, бравший и в обед и в ужин манную кашу и кефир, пытался даже заодно подтягивать при хоровом исполнении веселой песни, в которой после каждых двух строк повторялось: «И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет».

Но были среди стариков и непримиримые. Они требовали капитана, укоризненно напоминали ему о стоимости билетов, едко высмеивали пассивность педагогов, которым бы не книжечки почитать на вольном воздухе, а унимать своих архаровцев, за что им, собственно, и зарплата-то идет. Особенно гневалась старуха в голубом стеганом халате, знаток итальянской диеты. От душевных волнений она вроде бы даже начинала худеть. Во всяком случае, стал как-то проявляться силуэт ее давнишних очертаний, поглощенных жирами. Зато краснота лица сгущалась в гнев до багровости.

— Я бы их всех за борт перекидала, — шептала она в ухо своей тихой собеседнице, а та бормотала в ответ, что, мол, это, пожалуй, уж слишком радикальное решение вопроса.

Но скоро на нашем теплоходе произошел случай, ударивший неожиданным громом и юных и стариков, зачеркнувший, как ничтожные мелочи, все неприятности повседневной жизни.

Пропал мальчик. Исчез, не оставив ни малейших следов, точно его и не было в этой поездке. Это был мальчишка, которого ребята звали Воробей и который значился по списку как Воробьев Валерий, ученик пятого «Б», благополучно переведенный в шестой.

Он и впрямь напоминал воробышка, этаким хохлатенький заморыш.

Главное, все пассажиры отлично запомнили этого Воробья, потому что накануне его исчезновения, с вечера, учительнице Светлане Никифоровне как раз пришлось с ним помучиться на глазах у всех. Он никак не хотел заходить в салон, где его группа должна была по плану давать самостоятельный концерт. В самых дверях салона Воробей заартачился, уперся, и Светлане Никифоровне ничего не оставалось делать, как втащить его за руку и энергично нажать на тщедушные воробышние плечи, как бы приклеивая мальчишку к месту. Воробей заскулил, вырываясь из рук учительницы, но тут девочка с огромным капроновым бантом-пропеллером загудела педалью, бабахнула по клавишам, и они откликнулись тем самым маршем, который нам передавали каждый раз по корабельному радио, когда мы отплыли от какой-нибудь пристани. Под этот испытанный марш дети начали декламировать на разные го-

лоса свой монтаж, в котором и Воробей имел роль. Роль, правда, была небольшая: просто он должен был, после того как Светлана Никифоровна восклицает «Пионеры!», громко подхватить: «Бросьте над миром клич!»

Потом все вспоминали, что на репетициях у него это здорово получалось, даже все удивлялись, как он умеет голос менять. Чуть не басом выкрикивал. Но тут на Воробья, как говорится, стих нашел. Светлана Никифоровна уже трижды восклицала «Пионеры!», а Воробей все продолжал нахохленно молчать и пристально разглядывать носки своих сандалий.

«Бросьте над миром... Бросьте над миром...» — шипящим шепотом неслись со всех сторон подсказки. Но Воробей молчал. Тогда-то Светлана Никифоровна и произнесла удручающе-дружелюбным тоном: «Ну, Валерий, если ты не хочешь с нами выступать, то иди вниз, сядь на свою койку и помечтай о чем-нибудь». И Воробей вышел из салона. Концерт продолжался, но Воробья больше никто не видел.

За ужином обнаружилась лишняя тарелка с кашей. На койке, куда Воробей был послан помечтать, сиротливо лежало серенькое Воробышное пальтишко, взятое по настоянию мамы на случай неустойчивой погоды. Всю ночь Светлана Никифоровна курсировала по верхней и по нижней палубе, заглядывала в машинное отделение и на капитанский мостик, периодически возвращаясь к той койке, где, все так же одиноко свернувшись, лежало пальтишко Воробья. Она еле дождала рассвета, когда можно было наконец разделить свою жгучую тревогу между всеми пассажирами. В общем горе население корабля сплотилось, забыв все, что их разделяло: возраст, привычки, нехватку тарелок, смятые плюшевые дорожки. Были посланы телеграммы на все пристани, где останавливался теплоход с момента исчезновения мальчика. Были обысканы все мыслимые и немыслимые закоулки, с пристрастием допрошены все, кто дежурил ночью. Мальчика не было.

Поползли зловещие слухи. Кто-то намекал на возможность самоубийства.

Кому-то даже померещился ночью подозрительный стук как бы падающего тела и соответствующий отзвук воды.

На Светлану Никифоровну было больно смотреть. В мятой блузке, с серым, постаревшим лицом, она то бесцельно бродила по палубе, шлепая шепелявыми туфлями без пятаков, то бросалась к капитану, рыдая и требуя для чего-то остановить теплоход и «принять меры».

— Неужели и вам ужасы мерещатся? — осведомился, подсаживаясь ко мне, инженер Николай Алексеевич, бывший ученик мой Коля.

Тревожная ночь, так состарившая Светлану Никифоровну, оказала на Колю обратное действие.

Он выглядел оживленным, помолодевшим. Солонная шляпа скрыла его зачаточную лысину, корсетный нейлоновый воротничок был расстегнут, придавая юношескую непринужденность костюму.

А главное, в голосе Коли зазвучали вдруг прежние казанские нотки, исчезла та подчеркнутая рассудочность интонаций, которая как-то коробила меня.

— Вы выглядите настоящим Шерлоком Холмсом, — невесело пошутила я, — будь я Конан-Дойлем, обязательно описала бы, как, осмотрев пальтишко Воробья, вы немедленно открыли его нынешнее местопребывание.

Николай Алексеевич рассмеялся.



— Как в воду смотрели! Пальтишко я действительно обследовал и в карманах отыскал кое-что проясняющее личность пострадавшего. Но только, говоря по секрету, не сыщицкая, а учительская кровь моих предков во мне зыграла. Просто делом чести считаю найти парнишку. В розысках опираюсь на ребят, как и отец всегда делал... Вон, видите?

Он показал на группу Воробьиных одноклассников, делавших ему издали таинственные знаки, подзывая к себе. Он быстро встал, извинился и присоединился к ребятам с таким видом, точно он с ними в заговоре. Мне не слышно было, о чем они зашептались, но я сразу подметила особую манеру Коли в обращении с детьми. Он как бы подавал им тайный знак своей принадлежности к их миру. И как же он был в это время похож на своего отца, владевшего этим волшебным учительским умением на какой-то момент становиться ровесником своих учеников!

В этот печальный день за обедом всем хватило посуды, потому что многие старики и дети, подав-

ленные судьбой Воробья, совсем не пошли в столовую. Сгустился вечер. Скоро уже должны были исполниться сутки безвестного отсутствия мальчишки, когда я услышала стук в окно моей каюты. Это был Николай Алексеевич, Коля. Взяв с меня слово хранить полное молчание, он повел меня на самую верхнюю, так называемую шлюпочную палубу. На цыпочках мы подошли к подвешенной, плотно покрытой брезентом спасательной шлюпке. Мы затаили дыхание. Но вот Коля молча показал мне пальцем на странное явление.

Брезент, покрывавший шлюпку, словно дышал. Он слегка шевелился, взбугриваясь неопределенными округлостями.

Коля откашлялся и сказал громким шепотом:

— Капитан! Если у вас есть нужда в паре шестизарядных кольтов и в преданном сердце,— доверьтесь мне!

Брезент на спасательной шлюпке замер. Коля сделал мне знак отойти и укрыться за выступом капитанской будки, а сам, подойдя ближе к шлюпке,

зачастил что-то горячим, страстным шепотом. До меня доносились только отдельные слова: «Мустанги... Лассо... Добрый конь...»

Он включился в игру. И сделал это так талантливо, что брезент наконец приоткрылся, и оттуда, расправляя затекшие конечности, вылез наш потерянный Воробей. Они долго шептались. Воробей принимал такие позы, что было ясно: он видит себя укротителем мустангов, таким удальцом в бархатных панталонах и пунцовом нашейном шарфе. А Коля говорил все громче, все увлеченней, призывая мрачного путешественника и дуэлянта последовать за преданным сердцем, гарантируя полную безопасность. Враги обезврежены. Он начал было говорить Воробью о незабвенной красавице креолке, дочери сахарного плантатора, но это как-то прошло мимо ушей продрогшего, изголодавшегося Воробья. Зато куда внимательней прислушался он к словам Николая о находящейся неподалеку техасской таверне, где усталым путником обеспечен стакан подогретого джина и добрая яичница, кипящая в сале.

Воробей дрогнул. Прижимаясь к стенкам, он последовал за преданным ему ковбойским сердцем. В своей одноместной каюте Николай Алексеевич накормил Воробья до отвала московской колбасой, бычками в томате и конфетами «Белочка». Потом Воробей умылся и заснул мертвым сном на постели своего друга.

Только глухой ночью, когда все спали, Николай отнес его, сонного, вниз и уложил на законное Воробьиное место, где рядом спали другие пионеры, а в ногах лежало свернутое серенькое пальтишко.

Со всех учителей, пионеров, пассажиров и команды Николай Алексеевич взял слово, что никто не спросит Воробья, где он был, и что все будет с ним разговаривать как ни в чем не бывало.

...На другой день погода испортилась. Лил неумный дождь, берега дымились ненастными испарениями, печальные перелески топтались в темной жиже. Но мы все бродили по пустой палубе с Колей, моим бывшим учеником. Вот теперь мы говорили с ним по-настоящему, и я называла его, как в его детстве, на «ты». После происшествия с техасским ковбоем Валерием Воробьевым между нами точно шлюз открылся. Разговор сам по себе соскользнул к тем неожиданным перекресткам и тупикам, которые совлекли Колю с отцовской учительской дороги, показавшейся вдруг непроходимой. А мечта-лось ли? Ого, еще как... Да и теперь, по совести говоря, бывает. Посмотришь иногда... Вот хоть Светлана эта Никифоровна... Ну так ли надо с таким мальчишкой! Да и вообще ребята замечательные... У одной девчоночки экскурсионный дневник... В очках девчоночка, такая конопатенькая... Какие наблюдения! И язык неплох, хотя Светлана уже прошлась красным карандашом, все живые слова уже вычеркнула...

Он говорил о школе, как говорят об оставленной первой любви, таясь от безупречной, с умом выбранной жены.

И долго еще в тот дождливый вечер бунтовала в рассудительном инженере горячая наследственная учительская кровь. Острой, хоть, может, и недолгой душевной болью мучило отвергнутое призвание...



**Александр
Медведев**

кого-то пронзительно кличут,
волнуя чреду тополей.
Окраинные просторы!
Дома лебедино-белы,
и воздуха тонкие поры
осиновой грусти полны.
И, как горизонт, впереди
небесные близкие своды.
И тихо трепещет в груди
воздушное слово свободы.



Не пришли ни тревога, ни страх,
лишь значительней близость ночлега.
Волчьей проседью первого снега
забелела трава на буграх.

Ходит свет в голубых облаках,
в неуютной ночной акварели,
и свирелей морозные трели
чует ухо в речных тростниках.

А душа не томится ничуть
в светлом холоде лунного поля —
в том ее непонятная воля
или, может быть, самая суть.

☆
Неясным еще обещаньем
осеннего леса вдали,
а может быть, горьким признаньем
повеяло вдруг от земли.
Снуют челноки электричек
по чистой холстине полей,





Л. Аннинский



СОЛЬ ВОДЫ

У Светланы Евсеевой есть стихи о рыбаках: их ждут, а они все не приходят. «С мужчинами так бывает: вдруг пропадут». Наверное, в порядке вещей и другое: появляются рыбаки именно тогда, когда их не ждут. Вряд ли кто-нибудь мог себе представить, что в нашей прозе 1969 года морские бродяги займут такое видное место. Ожидали все-таки другого. Ожидали развития деревенского характера. Смотрели, что еще отмочит неунывающий беловский Кузьма Барахвостов, этот вологодский Мюнхгаузен. Следили за решением земных проблем посреди гигантской континентальной России. И вдруг среди этой распаханной тракторами равнины — «Трап подай и убери, чашу на кнехт накинй и сбрось!», «Сальник баллера течет, и в ахтерпик просачивается вода», «Квазиординаты, ортодромии, гномические проекции и черт те знает что...»

Когда Георгий Владимов опубликовал свой роман «Три минуты молчания», то интерес критики к нему еще можно было объяснить инерцией: рыба рыбой, но все, что написано автором «Большой руды», вызывает закономерный интерес. Но параллельно опубликовал в «Нашем современнике» свою повесть «Макук» Николай Рыжих, уроженец села Хлевище, Воронежской области, ставший моряком и рыбаком. Его повесть несколько затерялась в шуме, который возник вокруг «Трех минут молчания», но ведь она есть. Она написана. Ведь понесла же нелегкая в Тихий океан уроженца села Хлевище (как понесла она в Атлантику харьковчанина Владимова, прекрасно писавшего жизнь шоферов). Покопавшись в памяти, можно обнаружить, что не так давно прошла еще одна повесть в этом же духе — «Соленый лед» Виктора Конецкого...

Поэтому отнесемся со вниманием к этому рыбацкому происшествию нашей прозы. Коль скоро плавание состоялось, коль скоро произошло в нашей прозе конца десятилетия такое событие, давайте поговорим о нем. И, взяв в пример роман и две повести, о которых я упомянул выше, посмотрим, какое отношение все это имеет к современной проблематике человека, и, наконец, ответим на главный вопрос: чего их туда потянуло? что в их духовном составе требует такой развязки? Или, как сказано в записках четвертого помощника капитана на лайнере «Воровский»: чего меня понесло в этот рейс?

И начнем с чисто читательских ощущений. Во всех трех произведениях при всей разности письма есть что-то общее. Я имею в виду даже не лейтмотивы, кочующие от текста в текст: обязательно есть сцена, когда кто-нибудь красноречиво «травит», есть момент, когда посудина теряет ход и ее тащит ветром на скалы или на другую посудину, так что герои вверяют себя судьбе. Есть обязательный страх морского волка, что у него отсутствует диплом. Есть разговор о полотнах Айвазовского. По этим лейтмотивам мы еще сравним повести: интереснейшие будут нюансы. Но есть и что-то общее в целостном построении повестей, они все... междужанровы. В «Макуке» у Н. Рыжих сквозь сюжет просвечивает дневник старпома. «Соленый лед» В. Конецкого носит подзаголовок «сочинение внежанровое»: то ли записки, то ли очерк, то ли этюды... так, нечто! Г. Владимов написал «роман», но люди, читавшие этот роман, затруднятся подтвердить его жанр. Скорее перед нами странное соединение романа о героях, лирической исповеди публициста и производственного очерка о рыбацком труде — нечто неожиданное, как если бы И. Гончаров соединил «Обыкновенную историю» с «Мильоном терзаний» на базе «Фрегата «Паллада».

Причудлива и неуловима вся эта художественная ткань. В ней нет ни четкой деловой последовательности бытовой «реальной прозы», ни той искусной, завершенной условности, какая свойственна теперешним сельским «сказкам»; нет, наконец, и той простодушной яркости, которая бывает свойственна морской беллетристике и, худо-бедно, дает ей свой язык. Здесь есть все: и тяжкий реализм деталей, и красивая вязь морских легенд, вставленных в эту тяжкую раму, и красота моря, и презрение к этой красоте. Здесь есть все... и все здесь неустойчиво. Здесь влюблены в морскую специфику: ахтерпик, сальники, штормтрапы и шпигаты — все это составляет своеобразный попутный шик стиля, который мгновенно выпархивает в пародии, — авторы ни на секунду не могут забыть, что они в море, и, хотя они заняты все-таки людьми, характерами, ощущением такое, что спутать шпигат со шпинатом было бы для них смерти подобно: специфика моря их просто гипнотизирует.

И они здесь же, рядом, тоскуют по земле. Это какой-то всеобщий тайный стон, прорывающийся в

лирические минуты: как над качающейся бездной тоскуют они по твердым рязанским дорогам, по трамвайным путям родимого среднерусского городка, по зеленой травке и ржамому полю с васильками. Эх, россияне! Нет, все-таки не на палубе легкого брига рождаются они, не ветра Альбиона качают их в люльке, а несут они в океан все те же земные заботы, и все те же проблемы пытаются они решить среди шкотов и шпигатов, и качка палубы все не дает им покоя, и не могут они привыкнуть к этой качке, и сдвигается, перемешивается, встает на дыбы вся их морская «межжанровая» проза, и уже не определишь, присутствие ли моря так их взвинчивает или, наоборот, их внутренняя нравственная тревога ищет себе эквивалента и гонит в волны.

Итак, взгляды. Посмотрим, в чем соль этой воды. Главный художественный и этический лейтмотив, свойственный этой прозе, — презрение к экзотике. Или, как чаще теперь формулируют: опровержение морской «романтики». Заканчивает молодой человек училище, мечтает попасть на большой шип, уйти в кругосветку, за кордоном полазить, посмотреть южные моря, экватор, а попадает в «рыбину контору», на какой-нибудь небольшой МРС. «Что здесь хорошего? Что мы видели? Рыба да море, море да рыба». И еще — «план давай, хучь пропади». И никаких тебе «стеклянных айсбергов Южного полюса». И никаких бананово-лимонных сингапуров. Это у Айвазовского даже ураганы даны в «романтических красках». А тут, пишет Н. Рыжих, ничего похожего. Так что картинные капитаны вызывают у него только улыбку. Он их повидал всяких: и лихих, обветренных мореходов, и властных, хриплоголых вожаков, и капитанов-аристократов, щеголей, не повышающих голоса (впрочем, от их спокойствия боцманы потеют). Эта последняя версия «романтики», кстати, самая ходкая. Когда-то морской волк носил серьгу в ухе и был татуирован по всем частям мощного тела. Теперь экзотическая романтика в другом, теперь — подтянутость, сдержанность, аккуратные золотые галуны, небрежный шик, четкость, спокойная уверенность в каждом жесте. Этот новый романтический облик включает в себя, между прочим, и культуру отдыха. Никаких пиратских разгулов с ножами и драками! Самолет на Южный берег Крыма, в лучшем случае коньячок тайком от стюардессы, но уж коньячок — экстр. А на мостике ни-ни. На мостике, среди шквалов и рифов, — маленькая чашечка кофе... «Каким был наш Петрович», — вспоминает Н. Рыжих и честно прибавляет: «...пижон, конечно, уж кофе-то мог бы и в кают-компанию выпить».

Вот этот-то самонавейший тип морской бутафории и опровергает в своей повести «Макук» Николай Рыжих. И опровергает он его как раз с помощью Макука — Михаила Александровича Макукова, их нового капитана, присланного на смену аристократу Петровичу.

Команда вытаращила глаза, когда Макук появился на борту. Это было настолько неожиданное опровержение романтики аристократизма, что никто даже не поверил, что перед ними капитан. Команде представил комичный старикан в кривых валенках и треухе. Он был похож на ночного сторожа. Он дымил махоркой. Нельзя сказать, чтобы братва с «Онгудая» так уж сплошь курила «Золотое руно», но ниже «Беломора», наверное, не опускались, так что макуковы самокрутки были здесь таким же вызовом, как его шаркающие валенки и торчащее набекрень ухо шапки. И потом, эта несмелая, виноватая улыбка, с которой Макук представлялся команде... Видит бог, спасло его капитанское звание, но в душе каждый по-

думал: «Да как же ты командовать-то здесь будешь? Тут нужна глотка... железная выдержка и опыт Петровича. А этот улыбается... Да его ж... живьем съедят...»

Заметим, что Г. Владимов с еще большей остротой поставит этот вопрос. Но прежде посмотрим, как решается проблема в «Макуке».

Разумеется, Макук командует не так, как командовали аристократические романтики нового типа. Его безграмотные записи в судовом журнале потешают всю команду. Диплома у Макука, естественно, нет, но если у Конечкого и Владимирова капитаны будут мучиться, потеть над сочинениями ради этой запоздалой бумаги, Макуку это все совершенно не надо. Он командует не по уставам. И вот моряки, которые привыкли к «резким и точным, как астрономические вычисления», командам Петровича, услышали, как Макук, завернув полу шубы и достав махорку, скомандовал рулевому, ткнув пальцем в карту:

— Ну, давай-ка суды... Вправо ходить не могли... Так поддержи!

Как вы догадываетесь, этот косноязычный мужичок вполне опроверг романтика Петровича. Да как! Подражая Макуку, команда перешла на самокрутки. Ибо в нем-то и оказалось такое невероятное чувство моря, что и уловы поднялись и дело пошло. Кстати, именно Макук спас судно, когда оно потеряло управление и ветер понес его на камни. Драматургия ролей была соответствующая: пока стальные парни играли желваками и буравами глазами приближающиеся рифы, перекидываясь предсмертными остротами и мысленно говоря себе: «Я не трус!», — Макук... спал у себя в каюте. О нем вспомнили, растолкали. Макук выбежал, быстро все смекнул: команда поставила парус, а капитан, шаркая кривыми валенками, кинулся в рубку. Вырулил, конечно.

Желание опровергнуть экзотику уже само по себе есть знак того, что испытывается нужда в подлинном. Н. Рыжих действительно ищет какой-то этический противовес новой экзотической схеме. Противопоставляя «романтику-аристократу» эдакого живучего, спокойного мужичка, он, между прочим, чувствует истину. Люди, следящие за развитием современной прозы, легко отыщут здесь параллели — капитан Макук, с его «добродушным»: «Бывали случаи», — конечно же, родной брат Ивана Африкановича Дрынова из Беловской Вологодчины. Тот тоже все мог сдюжить: «Э, дело привычное!» Наша проза ищет героя жизнеспособного, живучего в своей доброте, такого, чтобы сумел не только противопоставить себя лжи, но и жить по правде, жить, не сламыкаясь, жить устойчиво, прочно.

Но, опровергая один вариант экзотики, Н. Рыжих ставит на его место другой вариант экзотики. Капитан в треухе, определяющий на глазок местонахождение судна, — как хотите, но это все-таки еще одна легенда. Та самая, которую так любил Паустовский: помните? — «каждый год восьмого ноября по всем прибрежным городам Анатолии собираются в кофейнях старые моряки. Они пьют кофе, поглядывают на небо и совещаются, а к вечеру объявляют фелюжникам и контрабандистам предсказание погоды почти на всю зиму». Вот откуда происходит капитан Макук.

Виктор Конечкий на эту удочку не попадает. У него против всех видов романтики старинный профессиональный иммунитет. Писатель, вот уже десять лет противопоставляющий моряцкой экзотике моряцкую работу, — он верен себе и в этом рейсе. Идет он, как я уже сказал, четвертым помощником капитана, везет к «Джорджес-банке» подменные экипажи на траулеры и видит из иллюминатора сво-

ей каюты возвращающиеся с долгого промысла малые сейнеры — почерневшие от ржавчины, обмятые швартовками, овеванные ветрами... Может, это как раз «Онгудай» с Макуком, а может, «Скакун» с Сенеи Шалаем на борту... Так вот, никакой поэзии! — провожая взглядом этих описанных Владимовым мастеров лова, Конечкий сбивает пафос нарочито «деловой» деталью в духе уставного придиры: «Почему-то рыбаки вывешивают штормтрап возле самых шпигатов». Слово «романтика», как вы чувствуете, здесь неприменимо, оно появляется у Конечкого в контексте почти издевательском: его с иронией произносит корабельная уборщица, разбитная деваха с выбитыми зубами. Что же до Айвазовского, этого патентованного певца штормов и штилей (которых «он не знал»), то... «бред этот «Девятый вал». Капитан Макук про Айвазовского слыхом не слыхивал, и когда его подначили на этот разговор, то простодушно переспросил, к восторгу команды: «Кто это, Айвазовский?.. Не слыхал что-то. Не наш человек, видно?..» Конечкий борется с художником иным способом. «Девятый вал» возникает у него в виде огромной, перегородившей коридор глухой рамы с болтающейся бирочкой: «132 р. 39 к.» — выписали, купили, а вешать негде, вот и стоит без толку: штормовое солнце — как яичница-глазунья. В этом же стиле Конечкий описывает и море. Он вообще неохотно описывает его, в крайнем случае говорит что-нибудь вроде того, что цвет волны напоминает мокрую пепельницу или грязную портянку. И вся экзотика.

Что же у В. Конечкого приходит на смену ложной романтике?

Работа. Будничная, каждодневная работа. Уходя к берегам сказочного Ньюфаундленда, четвертый помощник капитана деловито отмечает: «И продуктовый отчет — на моей шее. И заявка на питание экипажа, и книга приказов...» Он готов смириться с инвентарными номерами, с бухгалтерией, с тем, что рейс — сплошная скука, но только не с экзотикой. Честная работа — вот моральный капитал В. Конечкого. Пусть они знают, что «работать в рейсе я буду честно, без ожидания скидок на писательскую принадлежность... Ибо нет ничего омерзительнее творческой командировки». Лифтер (куда уж прозаичнее профессия!), так вот, даже лифтер, любящий свою работу и умеющий ее делать, — прекрасней всего этого книжного бреда про скалистые берега и прозрачные айсберги...

Легко представить себе и на этой базе (четкая работа, профессиональный шик) еще один буфафорский вариант: продолжите эту линию, и вы получите того самого железного Петровича, которого сменил живописный Макук. Нет такого элемента реальности, на котором не могла бы произрасти книжная экзотика. Ей подставляют темную интуицию — она ее осваивает. Ей подбрасывают профессиональную умелость — она и здесь расцветает. В. Конечкий боится этого. Оберегается он с помощью иронии. Его записки построены на взаимоснижении стилей. Сидит четвертый помощник в каюте, читает книжку А. Гуревича о викингах. «Дочь Эйрика Рыжего... командовала двумя кораблями». Легендарная красота! И вдруг «мой творческий процесс прервал директор ресторана Жора. Он был красив и зол. И сообщил, что у него не хватает шести «кадров» — поваров, коренщик, официанток».

Прелесть прозы В. Конечкого в этой вот тончайшей вибрации между «скудной» морской работой и «красивой» морской экзотикой. Смысл в том, что с помощью прозаического директора ресторана Жоры он снимает экзотический пафос с норманнской старины. Но отрываясь от своих поэтичных раздумий и приступая к обязанностям, четвертый помкапитана и

с корабельных дел своих снимает пафос: он обнажает в деле уставную трезвую механику и прагматику, тот самый «продуктовый отчет», ту самую инвентарную бирочку: 132 р. 39 к. В. Конечкий не романтик страстей, но и не романтик работы, он как раз на грани, откуда экзотика уже кажется забавной, а работа — еще не механической. Но заметьте: Конечкий ни за что не отдаст и этой своей осмеиваемой «романтики», если хотите, она ему постоянно нужна для иронии, он без нее не может, без нее вся его проза попросту канет на дно будничных забот. Так, боясь попасть в экзотические дебри, Конечкий искусно балансирует между вариантами... Но и осмеиваемую эту «морскую романтику» он тайно бережет. Потому что с ней у Конечкого ассоциируется реальная, начавшаяся судьба личности. Не «стеклянные айсберги» с открыток. А знак его судьбы — судьбы того мальчишки военных лет, который, поступив когда-то в морское училище, поверил в это дело, получил право на мечту. Именно этот личностный план, этот реальный момент судьбы и заставляет Конечкого расстреливать романтические айсберги.

Он это делает виртуозно. Он... вешает на айсберг инвентарный номер. Это совершенно поразительная сцена — финал повести. Помните? Перед хрустальной громадой — благоговейное молчание всей команды. Все смотрят на грозное ледяное чудо. И... и... это что такое? Пятно красное там? Белого медведя убили, что ли? Кровяные подтеки у самой вершины айсберга... — Так это ж номер! — заорал кто-то. — Номер восемнадцать!.. Ледовый патруль метит айсберги из ракетниц. Чтобы не спутать. Как овец в стаде.

Виртуозный и чисто «конечкий» ход: убить мнимую поэзию прозаической деталью. Вдумаемся, однако, в этот эпизод. Откуда эта страсть к преследованию красоты? Эта влюбленная ненависть к ней? Там, в подлинной глубине, его герой остается все тем же мальчишкой из послевоенного города, который от скудости быта поверил песне, пошел за мечтой. И он положит все силы, чтобы подвести под мечту реальный фундамент, чтобы «соединить романтизм с реализмом». И он подкрепит мечту делом и уберет ее от «экзотики»!

Теперь вернитесь к сцене с айсбергом — к тому моменту, когда инвентарный номер еще не замечен и команда, раскрыв рты от изумления, смотрит на эту громаду, перед которой жалкой, эфемерной блохой скользит по воде их лайнер с четырьмя сотнями людей на борту. И слушайте: «Торжественная тишина стояла в рубке. Мы вплывали в храм. Его куполом были небеса. Айсберг был алтарем... Мы были жалкими гостями мироздания, блохами, водяными блохами... Планета и мироздание только терпят нас — и больше ничего...»

Вот объяснение всего! Вот откуда это постоянное желание забить сознание работой! Только бы не было этой паузы! Кто-то, Толстой, кажется, заметил: что мы все суетимся, остановимся в сутки хоть на три минуты, помолчим, вспомним, кто мы! В. Конечкий боится этой расслабляющей паузы. Для него мир не мир морали, но мир стихий, и моральный человек не сын мира, а песчинка в этом океане слепой природы. Он не верит этой тишине, этой красоте, и он стреляет в алтарь природы, в айсберг, стреляет инвентарным номером, чтобы прогнать видение, он боится тех трех минут молчания, когда личность освобождается от спасительных забот о насущном и встает перед вопросом о смысле всех этих забот.

Не этот ли вопрос — о нравственном смысле работы — мучает и Г. Владимова?

Переходя к роману «Три минуты молчания», мы должны ощутить прежде всего нравственный диапазон его замысла. Это не просто трехминутный сектор для приема радиосигналов «SOS». Это еще и randevу личности со своим собственным ощущением моральных ценностей и высших целей. Это те три минуты, когда человек может вспомнить (или не вспомнить), кто он в мироздании.

К нравственной этой проблеме Владимов выходит медленно. Образно говоря, путь к трем минутам молчания лежит у него сквозь долгие часы крика и суеты, работы, штормов, громов и молний. Это чисто читательское ощущение: погружаясь в рыбацкие будни, во все эти тонкости технологии и быта, в это нескончаемое богатство типов, типажей, живописных фигур и острых положений, во всю эту энциклопедию рыбацкого профессионального быта, вы попадаете в какой-то удивительный плен. Самая большая сложность заключается в том, что Владимов рассказывает все это блестяще, что его резкое, острое бытописание нравится, что он действительно сам прошел все это: он поступил, как Золя, желавший, как известно, броситься под дилижанс, чтобы понять переживания пешехода в несчастном случае. То, что Владимов пошел в рейс, было известно; его краткий отчет об этом рейсе, появившийся в писательской многотиражке в 1962 году, мог быть предзнаменованием, в том числе и великолепного очерка, но Владимов сберег материал для романа, и вот теперь мы ощущаем вес этого материала: он разрастается, расширяет сюжет в стороны, он идет параллельно действию вставными новеллами, он блистает, блещет и блестя — подробностями, деталями, частностями и прежде всего огромным, слепящим количеством рыбы. Так вы и не можете освободиться от гипноза материала, хотя чувствуете: ведь не в этом же дело.

А в чем? Постепенно в этом сверкающем потоке начинает прорисовываться моральная ситуация. Разумеется, ничего общего с так называемой морской романтикой она не имеет. Эту самую романтику Владимов дает на откуп двум салагам, двум городским мальчикам, пошедшим в рейс проверить свою мужественность. Причем это уже не жалкие аксеновские школьники, это парни, мобилизовавшие всю свою спортивную выдержку, — боксеры, баскетболисты, и они, в общем, не жалуются. Но они... восхищаются морем, и этого достаточно. Как бы далеко владимовский Дима ни ушел от аксеновского Димы, для нашего автора это все равно подделка, псевдожизнь, бегство в романтику. «Я вам не буду расписывать, какое было море» — это сказано как раз в пику проповедникам морской экзотики, а герой романа, между прочим, от проповедей и трезвона звереет, он от всего этого в море пошел, потому что море — это...

...Море — это работа. Тяжелая, ежедневная, злая работа. Работа, которая разом выводит человека в предельный режим. Рыбацкое дело тем и хорошо, что обнажает в человеке суть. Какова же суть?

Злейшая. Злее злого! «Тут не детский сад!» Тут слабым не надо. Деньги бешеные. И работа соответственная, «наша, рыбацкая работа. И в ней ничего святого нет. Запомни это, салага. Чем скорей ты это усвоишь, тем легче жить». Лучше сказать: тем легче выжить. Потому что слабого здесь не пожалеют. Здесь нет такого понятия: жалость. Владимовские рыбаки живут по жестокому закону силы.

Одним словом, если вы припомните «Большую руду» и возьмете тамошнюю бригаду шоферов (но без Пронякина!), если вы спроецируете их круговую поруку на «морской фон», трехкратно ужесточив ситуацию, — вы получите моральную проблематику «Трех минут молчания».

Там был, однако, и Пронякин — человек, тронутый гордостью. Он погибал в столкновении с бригадой. Но он был. И погибал, не сдавшись.

В «Трех минутах» вы угадываете эту пронякинскую неуступчивость, эту жесткую силу сопротивления человека. Но что-то случилось. Он расслоился, раздвоился, этот дух. Пронякинская жесткость, крутая верность себе как бы отделилась и в «Трех минутах молчания» дала отдельную фигуру «Деда», стармеха Бабилова. Этот действительно поступает по совести, и только по совести, он ни перед кем не гнется и не ломает шапки. «Дед» — самый замечательный в романе характер, самая большая удача Владимова. Но... он как-то по большей части отключен от сюжета, он здесь скорее символический идеал, нежели участник, этот старый, полуслепой, стоящий на грани пенсии механик, и к нему относятся скорее как к старому чудаку, «ископаемому» староверу, чем как к реальному противнику.

Что же осталось от пронякинской упрямой честности, когда из нее вынули этот костяк? Остался Сеня Шалай, шалый парень, от имени которого ведется повествование. Жалость — вот все, чем он богат. Он жалеет людей, жалеет залетевшую на «Скакун» птицу (на что ему, естественно, говорят: корми-корми, мы ее потом зажарим). Сеня наделен совершенно непонятной в его положении жаждой добра, его бесит, «как мы друг к другу относимся»: «Вот я такой. Я добрый, и все тут». Его хватает на это получудачское сопротивление «хору» — за что его считают чокнутым, ругают «гуманистом», но, в общем, терпят, потому что, повторяю, нет в Сене пронякинской серьезности, и ненавидеть его, наверное, не за что. Это не характер даже, это скорее симбиоз характера (живой, хваткий малый, с чутьем на людей, не без хитринки) и авторской воли, нагрузившей этого нормального Сеню великой жаждой добра, справедливости и товарищества. Этот-то странный симбиоз выявляется и в тексте романа, где пронзительные моральные раздумья соседствуют в устах Сени с залихватским слэнгом, который идет ему куда больше. Так что можно понять того критика, который спрашивает: скажите же мне наконец, кто он, этот Сеня! Одно из двух: если это личность, то чего он такой лопух, а если он, «как все», так чего я должен его слушать?

Однако я не умею судить литературных героев так вот, напрямую, помимо автора. Меня интересует не характер Сени Шалай, а духовное состояние Г. Владимова, выразившееся в Сениных парадоксах. Непонятен герой, но ясен пафос автора: Г. Владимов ставит вопрос главный, коренной: личность не может мириться с неморальной ситуацией, личность ответственна за все, что с ней делается, и примириться с ложью человек не может. Это вот личностное достоинство и сделало когда-то «Большую руду» книгой-событием (хотя по части разговоров о достоинстве Пронякин весьма уступал тогда аксеновским интеллектуалам). Был, однако, выявлен закон: человек, в котором проснулось достоинство, не может отбуксовать обратно, — он или ломается, погибает как личность, или ломает шею.

Пронякин погибал, неся свой крест до конца.

Сеню Шалай Владимов хочет спасти. Наделив его удивительной остротой морального зрения, Владимов поставил своего героя перед дилеммой: или сломаться, принять «закон хора», стать «таким, как все», или... На этот второй случай иллюзий мало. Как сказал Сене бондарь: я бы таких, как ты, добрячков на мачте подвешивал. Салаги — те честных из себя строят, так они за «романтикой» погнались, отплавали и ушли. Ты же свой вроде. А продаешь, сволочь. Не видишь, на чем земля стоит...

Как спасает Г. Владимов своего героя, вы знаете, если читали роман. Стали тонуть шотландцы, и «Скакун» их спас. Описано это очень здорово, и Сенины моральные мучения как-то отошли на второй план. Я думаю, тут не столько шотландцам повезло, сколько «повезло нам с этим шотландцем»: спасение утопающих — какой прекрасный сюжетный финал рейса! А потом — Сеня встретил Клавку-буфетчицу.

Интересно вообще обдумать тип женщины, которая у Владимова всегда спасает героя. «Дед» Сене говорит: «Тебе женщина нужна, а не баба», — но появляется-то все-таки обычно баба. Крепко сбита, лихая буфетчица, которая вовремя на стол накроет, вовремя приласкает, вовремя и замолчит, — вот владимовская женщина. Когда-то такая буфетчица пыталась спасти Пронякина. Но не успела. Сеню Шалаю она спасти успела. Вы скажете: это ж спасение от проблемы! Ценой потери, так сказать! Да, это не ответ, это уход от ответа. Но и тип ухода характерен: что-то, значит, есть во владимовском герое, что нуждается в такой «обслуживающей мужчину» спасительнице: то ли неистребимый след «мужской экзотики» хемингуэвского толка, то ли, напротив, какая-то произвольная слабость, ищущая возможности прислониться... Но так или иначе, спасает Владимов своего Сеню Шалаю.

Почему? Вот этот-то вопрос решающий. Дело в том, что со времени появления «Большой руды» ситуация в литературе переменилась. И если для 1961 года, столь богатого, как известно, бутафорскими вариантами «самосознания» героя, достаточно было утвердить саму качественную несовместимость личности с бутафорией, с безличием, в какие бы джинсы оно ни рядилось, то теперешняя проза ищет не столько пропасть между берегами, сколько мосты между ними, — она действительно ищет «формулу спасения», вернее, пути позитивной практической деятельности для личности. Не случаен интерес к доброму и прочному народному началу в нынешней деревенской прозе. У Василия Белова вы найдете один из вариантов «спасенной доброты» — лукавого, хитроватого мужичка, носителя неистребимого нравственного чувства, человека земного, живого, живучего.

По самой природе своего дара Г. Владимов не мог освоить этой лукавой, ласковой художественной манеры. Его кристаллическая, «мужская», хемингуэвская ткань не поддавалась бы такой переориентации: тут нужна гибкость и подвижность, а Владимов тверд да упрям. И попытался он вывести своего трагического героя на зеленый берег жизни, рассказав паруроечку «историй». Тут Владимов-беллетрист вовремя и помог Владимову-философу.

Значит, есть какая-то слабость в самом понимании человека. Какая-то слабость в самом нравственном чувстве, которое Владимов вселяет в Сеню Шалаю. Оттого ли, что втиснули моральную тревогу в человека заурядного, или отчего-то еще, но замечался этот Сеня вокруг совершенно внешнего вопроса: похож я на них или не похож? Из того же я теста или из другого? Такой я, как все, или не такой, как все? Вся нравственная мысль героя упирается в эту механическую дилемму. Моральное самосознание лично-

сти отвечает у Владимова на чисто формальный вопрос, по существу, негативный: как все или не как все? Между тем человеку, внутренне верящему в свою моральную правоту, это, казалось бы, должно быть маловажно. А тут боится человек быть, как все, боится быть не как все. Он слишком занят отстаиванием своего права на «непохожесть», он слишком воюет за самую возможность «идти, куда хочется», но, по-моему, он больше знает, чего ему «не хочется», чем куда ему идти. Владимов, с огромной убедительностью отстаивавший в «Большой руде» сам факт, сам контур личностного достоинства, невольно идет по контуру и теперь. Конечно, это не «морская романтика», которой Владимов пощады не дает. Но это все-таки... понимание личности извне.

Во владимовском понимании человека есть одна слабая черта: он мыслит личность только в естественном, природном контексте. Недаром его герои так влюблены в машины. «Потому что люди обманут, а машина — как природа: сколько ты в нее вложишь, столько она тебе и отдаст, ничего не занаичит». Вот оно! Природа не выдаст, в ней — закон, в ней хоть и слепая сила, да нет слабости, а люди — те слабы, лукавы, и в лоне природы они чужие. Человек не сын природы, имеющий с нею, если хотите, нравственную связь (и потому имеющий нравственную связь с другими людьми как с сыновьями одной матери, как с братьями). В природе, в мироздании для Владимова высшего смысла нет; на пустынной ладони природы человек, в сущности, одинок. И значит, или он победит, или погибнет. Так лишенное морального смысла, построенное на соотношении стихийных сил мироздание производит на свет человека, который решительно не может понять, откуда же в нем это желание делать другим добро. И открывается в обыкновенной душе Сени Шалаи непонятный просвет в бездну, и сам он не понимает, что с ним сделалось, и жить по-прежнему он не может.

Но жить надо.

Помните, что сделал герой В. Конечного, когда перед стометровой громадой айсберга он ощутил такую же эфемерность человека, заброшенного в эту пустынную природу?

Он заслонился работой, делом, порядком. Пометил айсберг инвентарным номером.

Заслонился и Г. Владимов. Рыбой. Огромным количеством выловленной, ошкеренной, блистательно описанной рыбы, в котором потонули все столь зорко увиденные человеческие проблемы.

Закончим наше плавание и мы. Подведем итоги этому морскому экскурсу нашей прозы. Да, в ходе ее развития он оказался неожиданным и, наверное, не будет долговечным. «С мужчинами так бывает: вдруг пропадут». Тем лучше. Значит, духовные и нравственные проблемы, увезенные нашими героями в дальнее плавание, вернутся на грешную землю. А проблемы это все те же: нравственное достоинство личности, истоки этого достоинства, пути его реализации. И, может быть, лучше решать эти вопросы на твердой почве. Во всяком случае, ясно одно: от них не уплыть.



Юрий Черниченко



БЕЛГОРОД

Город стоит у водораздела Днепра и Дона. Еще цела пуповина, связывающая его с селом, а на нем уже ранг областного центра. Еще сладостным «базарованьем» начинается выходной день почти весь микрорайон, а небо уже запорошено выбросами цементного завода и в панельных домах празднуют с телевизором, без «писняка». Еще тучностью хозяйки определяют достаток семьи, студентки любят семечки, в ходу черные плюшевые жакетки, а индустриальный дух уже муштрует, приучая к вечной боязни опоздать, к молчанию автобусных давок и субботней тяге за город.

Сторона глубинно сельская: среди населенных пунктов встретишь Соломино и Толоконное, Грязное и Недоступовку; их улицы, чтоб не занимать чернозема и быть поближе к воде, тянутся по оврагам, осенняя грязь стаскивает сапоги, и кажется, что именно под этими нахлобученными крышами сочинены все томительные анекдоты про то, как «поехал мужик в город».

Впрочем, электричка на Харьков останавливается чуть ли не у каждого колодезного журавля. Миллионный гигант не больно считается с областным званием соседа, он вообще мало с чем считается: Харьков у людей, люди нужны, тысяч бы сорок уже сегодня, а лучше пятьдесят, чтоб избавляться от пьяниц. «Требуются... срочно нужны... завод приглашает на работу... А также учеников, пенсионеров, домохозяек на неполный день. Иногородним предоставляется общежитие». «Чудак ты, такой парень — и хвосты крутить! Учти: вечерняя школа, строится метро». «Завод имеет пионерлагерь и профилакторий. Желающие обеспечиваются садовыми участками». «Да ты у нас через год бригадиром, потом мастером, в райсовет тебя обрядим... Паспорт — дело наживное, ты пиши заявление. Семья? Ты к станку становись, на тебя уже план, а квартира — видишь, дом заложили?»

Не хватает людей. Тотальная урбанизация в самом деревенском краю России. Воскресными вечерами матери загружают спортивные сумки домашним салом, картошкой и премиальным сахаром: в общежитиях такой род смывки очень популярен. «Мам, ты б сама отвезла, а то мне стыдно, парни смотрят». «Ну вот, была она девкой — одной сумки хватало, выскочила замуж — готовь, мама, две».

Клавкина Александра Алексеевна, двадцать пять

лет доярка, Герой Труда, высокая, сухая, в сапогах и длинной черной юбке, выступала перед старшеклассниками Стрелецкого на вечере «Дороги, которые мы выбираем». Вспомнила, какая была здоровая в молодости: раз за одну ходку принесла с поля тринадцать немолоченых снопов — по снопу на корову. Изложила, как просили, сколько тонн силоса перенесла, сколько цистерн надоила. Девочки слушали испуганно, и заметно было, от души жалели. Ушла Клавкина раздосадованная.

Поколениям свойственно отличаться взглядами на жизненные ценности, но в селе корова, живность во дворе, полный закром пшеницы всегда оставались самой прочной валютой — до этих лет! Город главной ценностью объявил свободное время. И если в селе эта ценность пожирается Лыской, заботой о сене для нее, огородом, гусями, поросенком, — тем хуже для села. Если даже и девать свободное время некуда.

Над колхозами — словно гигантский вытяжной колапак: чуть ослабли ниточки, чуть оплошал председатель — ау, улетело, вот тебе и вся критика. В год сельское хозяйство области теряет десять тысяч работников. Осталась четверть миллиона, но люди старятся, выносятся же самая ценная фракция. Новые цеха, заводы, комбинаты проектируются в молчаливой уверенности, что и из этих подросших село отдаст самое толковое и жадное к жизни, ибо председателям присуще ошибаться, а девчонкам — высказывать замуж.

Вынужденное защищаться, село отвечает научно-технической революцией. Переворот в белгородском селе осуществляется Белгородом: его проектами и заводами железобетона, его прорабами, стройуправлениями, сварщиками, его стратегией, наконец, суть которой — в переводе ферм на промышленную основу, в подчинении сельского труда законам потока и четкой специализации...

ЗИМНИЙ НИКОЛА

Сурков Николай Алексеевич, председатель колхоза «Знамя», оказался в городе; я отыскал его по телефону, и вскоре он явился в гостиницу — сияющий, с румянцем Алеши Поповича, брови в смехе изломаны и лезут вверх, под самый бархати-

стый ежик. «Василий Иванович, белые сзади!», «Вперед, Петька, вперед!» — напомнил, тряся руку, присказку прошлогодней встречи. Едва успели перемолвиться — год оказался ничем, озимь померзла, но яровые вырвали, съездил по молодежной линии на Цейлон («Я все к комсомолу, приходится живот подбирать»), Ольга Семеновна сейчас в больнице, ничего серьезного — обследования, Алешка школьником стал, ходит в Черемошное, — как он вздохнул и показал часы: назначены встречи. Расставаться с ним мне не хотелось, условились ехать к строителям вместе, а под вечер — в колхоз.

В «Знамени» строится фабрика на четверть миллиона индеек в год. И птица изысканная, выживающая только под приглядом у бабки, и объем громадный. Этакое биологическое тело весом в тысячу тонн должно процветать и возобновляться почти в такой же изоляции, как Стрелка и Белка в космическом корабле: и воздух, и тепло, и свет подай, не говоря уже о витаминах и микроэлементах и о том, что индейка в силу эволюции видов с жесткого клевать не может. А если пустить бабкиным способом, то не хватит даже земли, про птичник что помянуть. Строительство в десять миллионов рублей и делает «Знамя» сегодняшним белгородским колхозом, а Суркова — вполне белгородским председателем.

Начали с визита крупному газовику, скупому на любезности, — речь шла о подстанции. Газовик только требовал — и бульдозеров, и машин, и молока рабочим, Сурков с готовностью соглашался и, попросившись, «Волгу» рванул с места просто-таки радостно («После разговора с таким хочется жить, слово — алмаз, не обман, а делает»).

Потом отправились к собственно строителям — согласовать объемы на семидесятый год, и тут колени кор был совсем иной. Инженер с рыжими бачками извивался, акробатствовал, боясь пообещать что-то определенное, дискуссия была вязкая, как летний асфальт. («Вы дайте оборудование, предъявите спецификацию, тогда и будем по возможности включать в титул». «Вы утвердите титул, тогда и будет оборудование, его же надо заказать».) Сурков был вынослив и неуступчив, точно дьяк посольского приказа, каждый новый крючок встречал стойчески, и переговоры о 2,3 миллиона годовых рублей продвигались к пользе спецхоза.

Я же думал о том, что сегодняшний тридцатилетний председатель едет в район, как правило, не за накачкой, не за деньгами, а чаще с деньгами, сбить деньги. И самое трудное дело у него не с собственным райоником, а с «технарем», человеком осязаемых реальностей — строителем, ответственным снабженцем, директором завода. Те деньги, что поступили за пшеницу и свеклу, пока еще не деньги, а только туманная возможность; наряды на лес и кирпич придают им известный вес. Но только когда добыт надежный подрядчик, деньги становятся полновесной валютой! Главная доблесть председателя, затаенная его мечта — добыть твердого подрядчика.

Твердый подрядчик теперь даже ценнее, чем некогда директор МТС, расположенный к колхозу, и уж тут председатель разбейся, костями ляг, а добыть подрядчика — в нем и авторитет твой и вес на колхозном собрании — все.

Сурков, однако, держался с достоинством, а если чутьчку и заискивал, то получалась как бы шутка над тем, кто заискивал бы всерьез.

Познакомился я с ним три года назад, когда Сурков вернулся из Парижа (поездка была по Франции, но все так говорил: «из Парижа») и пришел в райком доложиться — свежий, оживленный, с тем особенным лоском, какой наводит поездка за рубеж.

Его даже не расспрашивали: кто ж не знает про Париж, — а словно подмигивали, будто он утворил такое, за что следовал бы строгач, но раз все законно, то обойдется, и выкладывай, мол, было? Сурков смеялся так, что надо было понимать: конечно же, было, да и хорошо было бы оно, если б не было? Но рассказывал про фермы, даже про ферму устриц, про то, что с работающим французом лясы не поточишь, про мозаику экономических укладов, про заводскую молодежь, про вино в одной цене с боржомом и сдержанность в выпивке. Рассказывал не нудно, не навязчиво, и как-то само прояснялось, что он, как и подмигивающий, доселе толком ничего не знал, а живут серьезно; на стриптиз же, если правду, валюты не было. И знаток Парижа улыбочиво вздыхал, поднимаясь: «Да-а...»

Нетрудно было заметить, что Сурков уже профессиональный, так сказать, работник с людьми и располагать к себе умеет.

Я знал в общих чертах его историю. В двадцать восемь лет он был взят с должности колхозного агронома в обком партии, «показался» и быстро проявил себя, получил квартиру, перевез семью. Но не прошло и двух лет, как стал томиться и без видимых причин попросил вернуть себя на прежнее место. Секретарь обкома, ведавший сельским хозяйством, шутиливо уличил его: «Перспективы не видишь, секретарь молодой?»

Возвращаться же пришлось на живого человека — колхоз выдвинул агрономом его однокашника по институту. Однокашник мог не говорить об эгоизме и товариществе, но сохранить добрые отношения было, кажется, невозможно. И штука вся в том, что без вины смещенный не только не озлобился, а привязался к Суркову сильнее. Я видел, как этот смуглый украинец, характером кремень, веселеет, когда заводной Николай Алексеевич начинает его тормозить и поддразнивать, видел (случались часы) их почти мальчишескими: винцо, побаски, истории в лицах, карикатуры, на какие Сурков мастер, баян, тоже послушный неудавшемуся инструктору, кислород беззаботности, не дающий стареть...

Да и со мной, чего греха таить: чуть в Белгород — сразу ищущего.

Ох, ловок, умеет притянуть, ловец человеков!.. Но ведь ради дела же в конце концов! На пользу колхозу, району, делу вообще. Если цель и в корне отличные средства оправдывает, то такие — подавно.

Ловкий Ванюшка Найденов из «Поднятой целины» мирком-ладком, рассказами сделал то, что не давалось грозному Нагульнову, и на расспросы Макара ответил: не то важно, придумано про комсомольца или нет. «Важно, что семена вывезли». Важно, чтоб результат был, а в данном-то случае всем видно: семена вывозятся. Уже ведь и наука целая есть о приветливости руководителя, за границей подсчитано, насколько улыбочивый организатор производительней хмурого...

А потом вмешалась теща.

В первый же приезд в «Знамя» я познакомился с сероглазой брюнеткой Ольгой Семеновной и мамой ее Татьяной Дмитриевной, женщиной прямых мнений и высокого кулинарного мастерства. В свои годы Татьяна Дмитриевна окончила в казачьем Темрюке гимназию (отчего речь ее не похожа на южный говор Оли), хотела учиться филологии, но так и осталась сельской учительницей. У нас с Татьяной Дмитриевной оказались одни журналы, общие читательские симпатии и одинаковая боязнь телевизора.

От Татьяны Дмитриевны я и узнал, что суженого своего Оля встретила в Харькове, когда после школы не пошла в институт и пошла ученицей на Трак-



Встреча гарибальдийцев.
Первый справа — Чино Москателли, рядом — «Яков Курски».

торный завод. Их станки были рядом: Оля стала фрезеровщицей, а Николай, тоже срезавшийся на экзаменах, выучился на токаря-расточника. Узнав из писем о дочкиной дружбе с каким-то тульским паренком, Татьяна Дмитриевна напугалась: девочке-то восемнадцать! Распродала под Ставрополем все, приехала в Харьков и тут же решила, что паренек этот — Олино счастье, полюбила его, как сына, и не только не препятствовала ранней (им исполнилось по двадцать) женитьбе, но и сама благословляла. Они расписались, когда Коля окончил второй курс агрофака, Оля продолжала работать на ХТЗ¹, потом Алешка родился, переехали в колхоз.

Без радости перебиралась Татьяна Дмитриевна в Белгород, давление там стало хуже, шум и колгота угнетали ее, почти перестала читать, и, когда Коля внезапно прибежал спросить: «Мама, поедem назад?» — она без раздумья ответила: «Хоть сегодня».

— Мы люди деревенские.

У Сурковых четырехкомнатный коттедж, водопровод, газ, ванна, Коля любит современную мебель, но на стенах (тут Татьяна Дмитриевна не уступила) — только передвижки. Хозяйства, кроме уток, не держат, все деньги (Колина зарплата — 250, год хороший — за 300, Олина — 80, пенсия Татьяны Дмитриевны — 40) проживаются. Сберкнижек нету в помине. На курорты не ездят, но людей принять любят. Хорошие люди Колю уважают и любят, а плохие завидуют и пакостничают.

Исподтишка, обиняками я стал выпытывать (все тот же нагульновский интерес!), каков зять не на работе, всегда ли удается ему управлять собой, подчинять обстоятельствам поведение и настроение. Чутьем пожившего человека теща сразу поняла меня и спросила в лоб:

— Значит, вы думаете, что Коля притворяется? Нет, он хороший.

Да кто ж говорит, что плохой, и почему Татьяна Дмитриевна всех людей ценит по тому, кто как относится к Николаю Алексеевичу? Хорош к Коле — так и добрый человек, не питает симпатий — так глуп и зол. Годится ли такое?

Задав вопрос, я надолго ушел, а когда вернулся, Татьяна Дмитриевна сказала:

— Я все думала, что вы спросили. Поступает ли

Коля плохо? Может, если не знает, а так — нет. Ему ничего не стоит, чтоб его любили.

Будучи явно субъективным, мнение тещи отличалось железной убежденностью и не могло не быть принятым к сведению.

Сильней озадачила меня история с гарибальдийцами.

В Черемошном сторожует, а иногда выходит на легкую работу Яков Минаевич Байдилов, известный колхозу своими рассказами про то, как партизанил в Италии. Наград или иных доказательств у него не было, кроме разве того, что из плена он вернулся сразу домой и спокойно работал в бригаде, да дюжины «итальянских» слов, какими расцвечивал воспоминания.

Из рассказов следовало, что, взятый в плен под Волховом, Байдилов попал в лагерь на юге Италии, там их гоняли чинить после американских бомб мосты и дороги. Камни стерли всю спину, еды не было никакой, люди мерли, как мухи. Итальянцы подсказали: «Тикайте», — пришлось тикать. Попал он в отряд имени Гарибальди («Он у них, как Ленин, только умер давно»), командиром там был Москателли. Ходили взрывать те мосты, что сами чинили, в селениях рассказывали про Советский Союз. Собираются они, говорил Яков Минаевич, в буфетах, какие зовутся «тракторе», пьют «граб» — яблочный самогон, хлеб зовут «пан».

Районные газетчики записали рассказ сторожа.

От них-то, журналистов, Сурков однажды и узнает, что в Белгород с выставкой строительных материалов приехали итальянцы, возглавляет их Чино Москателли, предприниматель, но левых взглядов. По мнению газетчиков, это был тот самый партизанский командир.

— Скажи ты, случится же! — взволновался Яков Минаевич. — Надо бы позвать его, посидели бы тихонечко, да как? Он, видать, богатый, а у меня не белено...

Как лицо частное, Яков Минаевич наверняка пригласил бы бывшего командира. Дело в колхозе, у которого пока ни фабрики, ни Дворца культуры, чтоб гарантировать благоприятное впечатление. Выходит, из-за недостроенной фабрики и натурального вида села Байдилов не должен поступить человеческого образом?

Сурков поехал приглашать итальянца! «Не для него, — как сказал мне, — а для самих себя».

Москателли, высокий, уверенный, лысый человек в

¹ ХТЗ — Харьковский тракторный завод.

дымчатых очках, охотно согласился, хотя заметно было, что никакого Байдикова не помнит. На беду, Сурков не выполнил каких-то формальностей, предупредил только журналистов. Дед — тоже не было печали! — явился показаться в кирзачах и таком сереньком пиджачке, что пришлось срочно бежать в сельпо и подбирать ему черную пару массового пошива. Зато необмятый костюм омолодил Якова Минаевича, и, когда вышедший из машины итальянец вдруг воскликнул, увидев его: «Мама миа, Курски, Яков Курски!» — и обнял, Байдилов на радостях стал объяснять всем, что в отряде его звали по области, Курский, а фамилия была в секрете.

Стол у Якова Минаевича был без выдумок: холодец, сметана, сало хорошее, картошка с луком, помидоры, водка, с холода все шло, за окном стало места, а в доме было уютно и просто. Чино Москателли пробовал говорить с Байдиловым без переводчика, но дед все позабывал. Позабывал, однако сумел сам объяснить с рюмкой в руке, какие итальянские крестьяне молодцы, что позволяли трясти яблони и тем спасли много людей! Москателли лукаво спросил хозяина насчет «граппа», и Яков Минаевич, помявшись, добыл бутылочку самогона, какой был оценен высшим баллом.

А пели уже в клубе. Столики в зале накрыли легко — вода, вино, яблоки; девчата, принаряженные и заинтересованные, были на удивление хороши. Рядом с ленинским портретом подняли портрет Гарибальди. Гость говорил о фашизме и цене победы, о русском солдате Якове Курском, скромном и доблестном, который объяснил им, почему пришел Сталинград. Обняв Байдилова, Москателли затянул «Катюшу», а Суркову пришлось с ходу подбирать на баяне песню гарибальдийцев.

Возвращались ночью, мело по-настоящему. Надо было заночевать, да в городе поднялся бы переполох. Садилась на каждом километре. Москателли, помогавший толкать, говорил, что русская метель могуча, и он будет вспоминать ее до конца дней, а Суркову уже приходило в голову, что обещание это может быть выполнено точно и досрочно. Пять часов добирались до трассы, а когда добрались, Николаю Алексеевичу казалось уже неважным, что может написать итальянец в своих газетах...

Ну что за выгода от того, что сторож Байдилов оказался кругом правым? Экие загадки задает новое председателское поколение! И откуда это в нем — от молодости и того, что петух не клевал, или от понимания чего-то не всем понятного?

...Провозились в Белгороде до темноты, а отправились — метель. В ветровое стекло, подсвеченная фарами, тыкалась снежная метла, вести Николаю Алексеевичу было тяжело. Он беспокоился об Алешке, вдруг задержат в школе, идти три километра, а портфель больше человека. Метет это, он сказал, к «зимнему Николе», который девятнадцатого декабря, всегда бураны.

Мне же думалось, что вот уже третий год я знаю этого «зимнего Николу», при мне ему перевалило с третьего на четвертый десяток, он вошел в возраст хозяев жизни. Конечно, есть смысл и значение в том, что он рабочий-металлист, как шолоховский Давыдов, и доброволец овечьинских кровей, но от нагана, каким собирал семена Макар Нагульников, он избавлен, колхозной нищеты не принимал, а фабрику мирового класса ему строят городские. Всерьез наследником его делает «вывоз семян», работа с че-ловеками, и пора, пора хотя бы для себя разобраться, как оно теперь «вывозится» и что всходит...

Из тьмы лезла в глаза белая метла, и стекло ломало ей прутья.

Третий раз провожу конец года в колхозах водораздела. Специализацию как курс с определенным началом и отрядным концом открывать не приходилось, ибо она, «по самому существу своему, бесконечна — точно так же, как и развитие техники» (В. И. Ленин). Почему же прежде не брались за нее всерьез? Сверху еще могли руководить, а внизу соглашались работать и жить по-прежнему. Тут суть, а преломлялась она в соответственных заботах.

Не первая ли заповедь руководства — равномерность развития хозяйств? «Всем сестрам по серьгам», техникой ли, селитрой, шифером — зато и требовать со всех одинаково. Разверстывая, уравнивай! Отстающих — до уровня передовика. Это ясно, но ни любимчиков, ни пасынков нет, и выгодные и убыточные продукты поставлять должны все. В конце концов торжество этого принципа далось нелегко, за него начал драться Валентин Овечкин знаменитыми «Районными буднями» еще в 1952 году. По земае и планы, равенство между колхозами, хотя бы то сравнительное равенство, что было меж деревнями в доколхозную пору!

Белгород был принужден опрокинуть погектарное планирование, а с ним и то равенство. «Серьги» он собрал в одну горсть. Многоотраслевой колхоз, возникший из простого сложения сотен крестьянских хозяйств и копирующий середняцкий двор («Всякой твари по паре»), стал, по здешнему мнению, заповедником ручного труда.

Если индустриализация некогда удалась, то именно потому, что все силы и средства государства были сосредоточены на создании СТЗ¹, «Ростсельмаша» и Магнитки. Область пошла на объединение колхозных ферм и, определив ключевые позиции, назначила передовиков на обозримое будущее.

Твердые планы принесли возможность — возможность, не обязанность! — взять району весь заказ на себя и затем разделить его между хозяйствами с гделью специализации. Поскольку заготовки хлеба уже не безоглядная выкачка такого, можно допустить прежде немыслимое: колхоз зерновые сеет, но ни бубочки государству не сдает! Животноводство, стоявшее на остатках зернового промысла, шаткое, зависящее от урожая, превращается в устойчивую, доступную механизации отрасль.

Колхозу А передается заказ на все районное производство свинины. Его сосед Б концентрирует весь откорм молодняка. Колхоз В примет всех овец, а Г займется промышленным птицеводством. В указанных колхозах создаются индустриальные комплексы, и все кредиты, материалы, строительные мощности направляются только в спецхозы — до победного конца. Мелкие фермы обычных хозяйств передают свое поголовье комплексам. Рост производительности труда должен сделать все отрасли рентабельными, животноводство станет индустриальным рабочим, а специализация в своем революционном значении сравняется с переворотом, какой некогда произвел в селе трактор.

Так и просится: «ди эрсте колонне марширт...». Ясно, как с А, Б и В, а что будет с К, Л, М? «Серьги» достанутся узкому кругу, плоды сконцентрированных вложений спецхозы пустят себе на пользу, а что за радость обделенному наблюдать, как здорово живет его соседу? Доходность продуктов уже в силу

¹ СТЗ — Сталинградский тракторный завод.

закупочных цен сильно разнятся: откорм взрослых бычков или, скажем, выращивание подсолнуха очень прибыльны, а на молоке, на баранине еще никто не забогател. Так что уж обо всем алфавите — даже внутри спецхозов экономическое движение мудрено соразмерить. А допустимо ли ссорить хозяйства, создавая внутри района центробежные силы? И выдержат ли поля давление невиданных фабрик, прокормят ли?

— Знаете, под маркой специализации можно весь скот перевести. Скажи в овечьей отаре это слово «специализация», и все бараны — врассыпную, как от волка: знают, что бойней пахнет. Нет, пока стоит — цело, нарушь — посыплется.

— Неймется! Проекты, гигантомания, обещания чудес...

— А у нас как? Посули журавля в небе, так и синицы в руку не надо. Один выдал инициативу, наверх пошел, а кашу хлебает другие...

Дерзость Белгорода, как и Троицкого райкома овечкинских «Районных будней» (Троицк — Льгов лежит неподалеку, чуть северней), состоит в добровольном принятии вины за отсталость на себя.

Никаких иностранных спецов, никаких зарубежных агрегатов — переворот в животноводстве делался воистину своими руками, и привычные минусы сказались и здесь. Как ни известно правило «Не рушь старый дом, пока не обжит новый», а и тут мелкие фермы были сведены раньше, чем успели развить поголовье спецхозы. Технологию осваивали с легкого конца — с цехов откорма, оставляя самое кропотливое — воспроизводство «голов» — на потом. Выяснилось, что техника сама по себе и трудна и дорога, но все-таки «кадры решают все», подготовка людей должна идти во главе, а не в хвосте процесса.

И социальные сдвиги, какими запомнятся время... Именно в это пятилетие административные меры удержания колхозников почти перестали действовать, а заработок квалифицированного селянина практически сравнялся с городским. Денежный поток стал и пожилого колхозника наводить на мысль, что домашнее хозяйство впрямь подсобное, что старый образ пропитания отжил век, с деньгами надо идти в продуктовый магазин. Специализация сама вытесняет натуральное существование: охота была возиться дома с одним телком, если на комплексе я раздаю корм тысяче! Для того ли мой день сжат до восьми часов, чтоб я дома в навозе копался?

В одно зимнее утро знакомый всему Стрелецкому дед Мамин Михаил Прокофьевич, ветеран и инвалид труда, заналыгал свою Лыску и повел ее продавать на молочный комплекс колхоза «Новая жизнь». Приняли быстро, выписали квитанцию на пятьсот семьдесят рублей и сказали, когда за деньгами. Деду стало, однако, грустно, в красном уголке он стал жаловаться: молодые помогать по двору не хотят, хотят магазином жить, да и начальство тоже — не дали справку на забой, мясом на верную сотню взял бы больше.

— А куда она тебе, та сотня? — стала ругать его Клавкина Александра Алексеевна, та доярка, что выступала в школе. — Солить ее? Наготовили мяса — молока на твои деньги? Не видал очередей в «Гастрономе»? Все свои гарантированные в кассу протягивают, а в борщ что класть? Я вон какую группу тащу, а дома гарантия своя — корова, свинья, как положено.

А две молодухи — Корнева Анна и родня ее Марья — стали ругать деда за то, что плачется: радоваться надо, что развязался, теперь свет увидит, телевизор заведет, себе много ли надо, а на базар не

натаскаешься. Поросянок крохотный — пятьдесят рублей, да еще в Ливны за ним ехать. Гори оно синим огнем, прав ты, дед, и радуйся!

Клавкина на них напустилась. Не соображают ничего, а туда же! Обе стороны повернулись за поддержкой к секретарю парткома товарищу Донцу, что у окна курил «Беломор», и закипел жгучий спор все про тот же индивидуальный сектор. Дед, озадаченный услышанным, втихомолку ушел домой...

Еще в 1968 году за частным сектором Белгородчины было 38 процентов областного производства мяса, 37 процентов надоя и 61 процент сбора яиц. На эту долю всерьез обратили внимание, когда «сектор» резко сбавил мощности (в пригородном, например, районе за ним осталось только три процента мяса). В сытом Белгороде вдруг стала проблемой простая говядина! Спецхозы, положим, снабжают далекий Мурманск, но житель микрорайона — он в пустых полках винит затею, ее авторов!

Словом, никогда еще белгородский опыт не был так открыт критике, как в начале семидесятого года. Но никогда не было и столь убедительных доказательств, что дерзостная стратегия оказалась жизненной и верной.

Специализация дала белгородцам сдвиг, какого не было за всю колхозную историю. Пики нагрузок, когда-либо бравшиеся «маяками», специализация сделала обычной колхозной нормой: скотник обслуживает триста бычков, свинарка — 1 200 подсвинков, птичница — семь тысяч кур. От работы, при которой соль на плечах выступает, человек на комплексах избавлен: смена длится восемь часов, неделя пятидневная, отпуска регулярны, труд сводится в основном к управлению транспортом и догляду за животными.

Так было из-за чего копья ломать?

Проблема «сестер без серег» сохраняется. Правда, до ссор между колхозами не дошло по той простой причине, что оставленное «бессерезным» производство товарного хлеба и есть самое прибыльное. Урожайность зерновых в Белгородском, например, районе выросла за пятилетку с 14,8 центнера до 27,2, есть из чего отсыпать на продажу. Но скрывать не от кого: уже пять лет все заводы железобетона и стройуправления заняты созданием (теперь — расширением) фабрик первого списка, обделенные могут строить только хозяйственным способом. И если оплата в общем-то уравниена, то у спецхозов такой магнит, как жилые дома при комплексах. А в них газ да ванны, а рядом клуб, к нему ведет асфальт, сюда охотно переезжают люди из Харькова (да-да, из Харькова, он ведь рядом, семьдесят километров от Белгорода!), и в этом случае обделенный именно обделенным себя и чувствует. Надо спешить, теперь задача выглядит вполне привычной: отстающих — до уровня передовых.

Пять раз собрали урожай. Что осталось? Самое страшное — если не осталось ничего, все прожито, клеилось да латалось, а начинать — с прежнего.

Между Толоконным и Соломиным за пять лет скоплены большие фабрики мяса, шерсти, яиц, теперь именно они составляют главное богатство сельского края. Создан флот, у его фрегатов есть слабые места, в свой срок корабли постареют и будут вызывать усмешку, но пока это фрегаты, ими горды, в их остойчивость верят.

Останови сейчас программу, прерви, смешай все, обрежь связи — все равно белгородская, дерзкая, еретическая, ни на что не похожая пятилетка уже останется интересной страницей с записью о хозяйском разуме народа.

ЦЕЙЛОН В ПРОСТЕНКЕ

В председательском кабинете — новинка: к цветным перспективам индусиной фабрики, доселе украшавшим его, прибавился пейзаж Цейлона. Прибрежный остров с пальмами, океанский пенный накат и три женских фигуры в сари. Николай Алексеевич считает, что передержал. Но от этого, может, и возникло ощущение ветра из-под темных туч над экватором. Колхозный плотник на рамку наклеил ромбиков, получилось по-деревенски красиво. «Это — НОТ! Для разрядки»¹.

В конце концов и напоминание, что не весь белый свет, что в окнах, что океан будет шуметь и после нас, — тоже НОТ. Слушаю из своего угла, связывая из фраз, согласий, отказов картину происходящего, а глаза то и дело сами — к тому НОТу.

За ночь утихло, на рассвете Сурков из дому обзвонил участки. Все обошлось, только бабы, ездившие масло бить, загнали машину в траншею и ночевали в конторе, да где-то оборвало фазу, ищут. Алешка поднапутал с иксами, пришлось с полусонным разбираться, потому что бабушка алгебры в первом классе не признает.

«На солнце иней в день морозный, и сани, и зарею поздней сиянье розовых снегов...» Прыгали через пухлые сугробы, стараясь не набрать в валенки: «Вперед, Петька, вперед!»

Знакомая липовая аллея к пруду, наследство какого-то прожившего помещика; запорошенная Доска почета, коновязь... А фабрика на бугре заметно выросла! («Вы спортзала не видели — там такое... Будут ли индюки, а баскетболисты будут»). На южном скате — целый порядок белокирпичных коттеджей, чепыр-на-дцать за год? («И еще два клуба на участках воздвигли без подрядчика, а в три месяца — шабашники. Ульяна Порфирьевна, кормилица, миллион кирпича в лето доставила, успевай класть».)

Прорисовываются задуманные им Ясные зори — «не агрогород, а агросело».

— Ну, зам, бабу лепить будем? — опрятной, как белочка, секретарше Кате.

— Как дошел, спина мокрая? — бухгалтеру Константинову Ивановичу.

— Алло! Петр Иванович, живой? А ну, дыхни! — кому-то по телефону.

Даже не шутка, а тон. Вот так будем работать. Солидность и власть ему просто не нужны, как человеку не нужна третья рука. Впрочем, за три года он снял двух начальников участков — не пошло дело, и в один день, застав под хмельком: «Давай заявление, удовлетворять будем!» За рабочим столом никаких рассказов, баек, быстро, напористо, не сельски сжато.

Надо в Одессу посылать за бензовозом. Зоотехник Будников поедет в «Россельхозкомплект» в Москву. Двадцать тонн жмыха не вывезено. Завгар, ты что тянешь? Ставить все бульдозеры дороги чистить. Профторг Марья Григорьевна пришла за деньгами на подарки детям к Новому году, а денег — конец года — наплакал кот.

Агроном Григоров влетает, продолжая брань с Константином Ивановичем. Тоже из-за денег — на удобрения. «Еще тебя я буду спрашивать!» «Смотрите, «фон» какой, спрашивать не будет!» Вот-вот назреет ссора, краснеют, задеги самолюбия.

— Вы скорей к пруду — и на кулачки. Есть один порядок: «Спрашивай — отвечаем». Всех детей девятьсот — найдем тыщонку? Но не додумайтесь по бригадам вручать, обязательно чтоб Дед Мороз... Катя,

найди там кудрявых, они думают что-нибудь про «Русскую зиму»? Ну, пар вышел? Какие удобрения, могут ждать?

А те двое действительно кудрявые — блондин Миша, комсорг, и худрук Дома культуры чернявый Виктор. Когда Виктор приехал на смотрины, Сурков три часа возил его по полям и слушал его выпускные вариации на роскошном хромированном баяне. Мишу он перехватил у райкома комсомола и дал квартиру в коттедже.

За окном пронесся вороной в ладных санках, и первым вошел начальник Нечаевского участка, сенаторски седой и величавый Жихарев, председатель тамошнего колхоза с войны до недавнего укрупнения. А за ним экспедиторша Ульяна Порфирьевна, и прямо с порога:

— Николай Алексеевич, жмых выбирать, ведь ульвет, там не спят!

С Ульяной Порфирьевной мы давние приятели. Смеется моим комплиментом, покручивая большими пальцами, качая носком валенка; глаза маленькие, полные ума и лукавства, как у актера Плотникова, вся настоящая, вся талант улаживать.

— Да как миллион достала? Спать не надо. За деньги я вам хоть министра привезу!

— Не заносись, Ульяша, Ростов вспомни, — крикнул, покосившись на нее, Жихарев.

Живенько присмирела, только глаза виновато смеются — ну, сболтнула баба, что с нее возьмете?

Она из исчезнувшего типа свах, тонких психологов. Уже давно могла бы завести темно-синее расклевшенное пальто с чернубуркой — униформу районных дам, а по-прежнему верна плюшевой жакетке, клетчатой шали, и это достигает цели. То ли воспоминания — не о матери, нет, потому что многие матерей так одетыми и не видели, а скорей о лоне, откуда произошел, о собственной принадлежности, так сказать, — нахлынут на просимого, то ли произойдет засечка уровней (господи, люди все еще такие жакетки разбирают, а я-то — ого-го, а все кажется, что годы даром прошли), то ли простота и непонятливость деревенской тетки, проникающей сквозь секретарш, играют роль, но «этому, в одадтре, пропахшему «пятью звездочками», надо отказать, зато колхозной труженице помочь, у них-то и послать, видно, некогда». Ульяна Порфирьевна пустою почти не приезжает.

— Скажите, — толкает тихонечко локтем, — а чего это нашего все за границу посылают? Не заберут ли? Беда будет, нельзя. Что-о вы, стенкой пойдут!

Если без лишнего, то теперь Ульяна Порфирьевна осуществляет вторичный этап снабжения: ездит после Суркова, по налаженным контактам. Корень летнего ее успеха в том, что Николай Алексеевич заручился шефством завода силикатного кирпича, и невыбранные фонды уже на второй день оказывались в «Знамени». Сурков спокоен — в сделки сама не вяжется и не втянет колхоз, у тех подземных вод, по каким текут многомиллионные ценности, не замочится — вовремя отойдет в сторонку. Недавнее дело: в Ростове загребли группу доставал, отросток шел в соседний колхоз, дали, кому следовало, срок. Подводный рынок вздрогнул и на время притих, Ульяне же Порфирьевне — с гуся вода: непричастная!

...Между тем у Жихарева с Сурковым шел разговор о каком-то демобилизованном Степане по уличной фамилии Гыкало. Николай Алексеевич его не знал. Тот просится из колхоза, говорит, что в Москве женился. Но петляет, Жихареву ясно: в Харьков потянуло, все Гыкалы там.

Был призван Степан, малый в форменных сапогах и шароварах, но в пейлоновой куртке и выдающихся

¹ НОТ — научная организация труда.

желтых перчатках. Сел и, глядя в сторону, на Цейлон, сказал, что в Москве у него девушка, фактически жена, физик, и пусть его отпустят по-хорошему.

— А чего ж вы не расписались? — иронически улыбался Жихарев.

— Ей еще восемнадцати нет. Не регистрируют.

— Так. Та-ак! — обрадовался Жихарев крушению легенды. — Восемнадцати нету, а уже физик! Она что, десяти лет у тебя в институт пошла? Брехать, Степан, тоже надо уметь.

— Стойте, стойте, давай хоть познакомимся. — Сурков сел напротив парня, протянул руку. — Где служил-то?

— Она заочница, на радиозаводе, — твердил парень, наливаясь злостью. — Если семья, то прав ваших нет!

— Да где ж семья? — смеялся, не щадя его, Жихарев. — Ты свидетельство о браке положи!

Сурков приблизился к парню, опершись грудью на стол:

— Послушай, Степан, а с каких пор иголка за ниткой? Брал бы ее сюда, физик она, радист, есть или... будет. Мы в этом году фабрику пускаем. Посмотри: был: вход только через душ, в чем мама, как говорится. Чистота, рядом спортивный зал, «солнце» крутить будешь. Ты ж разрядник?

Степан отрешенно глядел на пейзаж, не отвечая. Я уже знал, что Сурков сделал правилом знакомиться с каждым проходящим солдатом. Именно знакомился, называя себя Николаем, как делают ровесники, звал на работу, предлагал себя в сваты, но до углов, храня достоинство нового спецхоза, не опускался. На этого же он почему-то нацелился — может, хотелось дать урок старику Жихареву, какого за долгую службу уважал.

— А скуки не бойся, мы тоже не лаптем щи... Вот придет «Русская зима» — увидишь разворот. Да и сейчас покажем... Катя, неси-ка альбом с «зимой»!

Степану пришлось глядеть альбом.

Праздник прежней масленицы впрямь удался на славу. Чередой сюрпризов был сам съезд — Успенка, Бочковка, Нечаевка, Вергилевка, Черемошное расшуровали фантазию, к дубраве ехали и на тройках и на тракторах, были «Три богатыря», экипированные по-васнецовски, были цыгане, негры и турки, но фуорор произвел кладовщик Кобыков в вывороченном тулупе, с громадным носом — вел волов, а на спинке саней надпись: «Не в свои сани не садись!». Были карусели, блины, была ледяная гора с бочонком вина, и если сапоги на шесте так и остались неснятыми, то ледяной пик брался многократно, хотя здоровенный Дед Мороз — Бондаренко — спускал соискателей вниз, не стеснясь.

Здорово было, что потеха собрала всех, убрала на день кружки, слои, стеночки, на какие колхозное общество четко делится (бригадир кумится с бригадиром, у специалистов свой круг). Первейшая сельская боязнь — стать посмешищем, быть тем, кого «обсуждают», боязнь, родящая связанность, инертность, — дала, казалось, трещину.

Я знаю желание Суркова нарушить хуторскую разобщенность, знаю его любовь к некоторой театральности, к ритуалу, к любопытству в глазах, азарту и увлеченности. Неотступная, дышащая трясина пьянства, снижающая все и вся до уровня болота, здесь не только замораживается надзором, штрафом, а уже как-то и осушается.

Летом, закончив тяжкую прорывку свеклы, непременно празднуют «березку» — наследницу Троицы, и свежие дубравы оглашают такой «писняк», что вправду «гай шумит». Не был, но насыщенный про соревнования пахарей. Это даже не соревнование

с неотъемлемой теперь доской показателей, процен- тами и т. п., а состязания, тяжба мастеров, все решается скоро, на глазах, болеют все от первоклашек до бабок, и потом трое трактористов с дубовыми венками на плечах стоят на почетных ступенях, усталые, как это говорится, и довольные. При первом торжественном бракосочетании председатель сельсовета не отрывался от бумажки со сценарием и доверительно зачитывал публике, что должно следовать дальше, а колхозная многотиражка в репортаже сообщила, что «методист Дома культуры обменялся кольцами со счетоводом бухгалтерии». Николай Алексеевич нового не изобретает, все эти ритуалы более или менее толково описаны в рекомендациях клубам, но в «Знамени» это просто делается, и делается потому, что председатель берет на себя ответ за то, «что люди скажут», он заставляет, а подчиниться никогда ведь не стыдно.

— Карточки... — Степан закрыл и отодвинул альбом. — Я что, Нечаевки, что ли, не знаю?

— Ты себя знаешь, — молвил, играя пальцами, Жихарев.

— И вас знаю, не беспокойтесь! — с едкой дерзостью ответил парень. — Чего я ее привезу — ваши матюки слушать?

— Ты, Степка, у старых Гыкалов не учишься...

— Я не Гыкало, я Федоскин! — взорвался Степан. — А если взз Кычкой звать? Надоело! Я все про вас знаю. Что, не вы — с карабином вокруг тока? А рукам волю — не было, га?

Сколько же накопело у кого-то в Нечаевке, если до сих пор такой слой осадки!

— Ах ты... ах ты... — задышал, пунцовая, Жихарев, — да я ж твою мать, твою мать... колхозным хлебом... я ж вашей хате голодом помереть не дал! — Он оглянулся и как-то сразу взял себя в руки. — Жен-их!.. Ты и сейчас себя не прокормишь.

— А я туда не жрать еду. — Степан поднялся и натянул свои красивые перчатки. — Ладно, не хити по-хорошему, я неделю подожду и решать буду.

И, не простившись, вышел.

— Зараза какая, еще кланяться ему, — злился на свою беспомощность Жихарев. — Катись, дорога скатертью, жили без тебя и еще сто лет проживем.

— Не проживем. — Сурков бросил альбом на этажерку. — Двести человек нужно на фабрику, вы с Ульяной там не годны... А с этими кличками пора кончать! Еще услышу «Гыкало», «Кычку», «Кузю» — двойки буду ставить начальникам участков!

Двойка — основание лишить дополнительной оплаты, в «Знамени» пятибальная система оценки работ, за выпивку на производстве, матерщину — двойка.

Урока не получилось. Напротив, парень дал урок крепкой сельской памяти, и если он чего-то не прощал — за себя или за уличную фамилию свою — старому начальству, то уходил от нового. Замечательную мечту о «физике радиозавода» Федоскин Степан не желал менять на индюшино-спортивное будущее колхоза «Знамя»!

— Вот так они жили, — сказал мне опечаленный Сурков.

Но отлегло у него скоро. В полдень Катя с подружкой скатала у крыльца бабу и сделала ей из прутьев прическу, напоминавшую знакомый мне ежик. Сурков увидел, кинулся на девочку, вывалял их в снегу, сам получил ком за шиворот и дурашливо кричал, убегая; потом Татьяна Дмитриевна отругала его и дала свежую рубашку.

Вторую половину дня мы провели на фабрике, где сварщики, соря огнем, монтировали паукообразные котлы из труб. Громадное предприятие вовсе не походит на мирную птицеферму, конец стройки уже

маячит, в этом году — «душа винтом» — надо дать первую сотню тысяч индеек, и Сурков во время обхода нашего то и дело умолкал, задумывался.

— Страшно?

— Коленки стучат. Но назад поздно: «белые сзади».

Вечером отправились на репетицию в клуб Черемошного; надо было прояснить с «кудрявыми» насчет «Русской зимы».

Пятеро девчат под управлением Виктора не слишком увлеченно разучивали на два голоса эстрадную песенку. На первых рядах сидели в пальтишках старшеклассницы из интерната и слушали, перешептываясь, а парни, одетые наряднее девчат, с яркими шарфами, с распахнутыми «молниями» курток, гуртовались в фойе. Тут никто не заставлял, и молодежь, пришедшая скоротать вечерок, вела себя соответственно — никак не вела. Было ли им скучно, не знаю. Сурков мимоходом спросил:

— Хлопцы, чего не поете?

— У нас голоса пропитые, — ответил свеженький, с пушком на губе парнишка.

Я узнал его: в прошлом году на концерте в Вергилевке он был вроде бы Кобзоном. Вообще подражательность была видна во всем: Катюша с микрофоном копировала Мнансарову, девичий квинтет тоже старался петь как можно ближе к пластинке. Только двое комиков несли свое, но и оно, в сущности, было подражанием балагану: в сценке в парикмахерской помазком служил веник, бритва была величиной с косу...

Что ж, диктат моды был всегда, стыдиться своего — дело тоже привычное, и все-таки при всем этом нужно суметь остаться самим собой.

Из Вергилевки мне тогда пришлось возвращаться вместе с комсомольцами, вот в фургоне летучки я и повидал настоящее веселье. На постороннего они не обращали внимания, толчки, ухабы, теснота — все тормозило их, все было к смеху. Пели «Сусиджу», пели «Ивушка луговую», царила обстановка «вечерницы», непринужденной сельской «улицы», было заметно переплетение влюбленностей, брожение молодых страстей — все то, что и позволяет говорить, что «у нас есть куда пойти...».

Я знал, что в ранней молодости колхозник тульской деревеньки Борки Колька Сурков отличался на «топ-тогонах» как балалаечник, хотя играл на гитарном строе, и что мероприятия эти проходили, при всех их идейно-творческих минусах, отменно весело. О тяге подражать и скуке клуба, о жуткой сельской неумелости я и заговорил с хозяином после ужина, когда он сел рисовать за болеющую супругу трахейную систему черного таракана. Институт требовал трахей незамедлительно, не то заочнице Сурковой О. С. откажут в вызове на сессию.

Николай Алексеевич сказал, что ребята в фойе, девчата в первых рядах большей частью уже «одеревенели», процесс одеревенения начинается с десяти и заканчивается к пятнадцати годам, семнадцатилетнего растормошить уже мудрено: он взрослый, «смеяться будут». Братся за человека надо с восьми, ну, с десяти лет, покуда он весь живой и теплый. Если комбайнером парень не делается сам собой, оттого лишь, что брат — комбайнер, то и прочему теперь тоже надо выучивать. А вот преподаватель музыки Фролов, на которого было столько надежд, подлым образом дал деру, надув Суркова и двадцать мальцов, каким дома купили баяны, и сделав правым Жихарева, который считал, что «нечего этих дармоедов селить в коттеджах, нехай попробуют крестьянской жизни в хате».

Вообще идет жизнь сугубо серьезная. Разрыв между техническим уровнем и человеческим его обеспе-



Николай Сурков, «ловец человеков».

чением все возрастает, даже закрепляется в кадрах — путем финансовой селекции. Зоотехник Будников, работающий с крупнорогатым скотом, ставку имеет вдвое высшую, чем директор Дома культуры, работающий с людьми; у директора средней школы и молоденькой доярки ответственность разная, а зарплата почти равная. У кого в селе самые низкие доходы? У интеллигента — заведующего клубом, художника, библиотекаря; без колхозной помощи им не прожить. Значит, всем тем, что за пределами «хлеба единого», занимается или чудак-энтузиаст (но и его через месяц-другой переманит богатый заводской профком), или больше никуда не пригодный, или джентльмен удачи, вроде беглого Фролова. От птичника до фабрики индеек — дистанция огромного размера, а сельский клуб — «каким ты был, таким остался». Втягивать человека в культурную жизнь надо в те же годы, в какие дома его приучают к работе, но кто втянет? Учительница стыдится полуголасной песни, как непристойности, та для нее неотрывно связана с пьяной гулянкой. Музыкальной школой, хореографическим кружком естественности и «развязности» не воспитаешь в силу отсутствия той школы и невозможности создать кружок — роскошь, нечего колхозу да в калашный ряд! Спортзал при

фабрике затеян хитростью, проект ни баскетбола, ни «солнца» не предусматривал. Если во всех иных областях председатель фонды выбивает, то в человеческой сфере он сам в меру своих человеческих сил наделяет фондами технические вложения, вдывая в них душу.

Суркову много стоит колхозный университет культуры. Это особая арена его дара. Добывать — добываются интересные люди, дело безвозмездное, на одной симпатии. Самое образованное и талантливое, что есть в области, и не массовый тираж, а лично, персонально, для вас! На комсомоле — ответ за явку из поселков. В зимнем цикле лекций и бесед шла речь о народной музыке и о модах, о живописи XIX века и об архитектуре. Приезжали белгородские поэты, читали свое и не свое — за тех, кто уже ушел; с первым опытом выступила десятиклассница, прочитала любимые вещи взволновавшийся Сурков...

Строя фабрику, город должен двигать и духовную жизнь. Но если со сдачей комплекса в хозяйстве «загорится само», то периодический «университет-ликбез» к самовозгоранию не приведет. Нужно готовить горючий материал!

Идеалом человека Суркову представляется космонавт Титов. На пути из Брюсселя в Париж тот по добром овладел всем автобусом, превратил его в «единое человеческое общежитие», острел — и превосходно читал Пушкина, бодрил уставших — и пародировал гидов, и Сурков понимал пограничников, задерживавших маршрут, чтоб пообщаться с космонавтом-2.

В Титове вновь зажил поразительный сельский просветитель Топоров — тот, кто читал сибирским крестьянам классиков, ставил в коммуне спектакли, учил слушать скрипку... Народная жизнь больше, чем кажется, устойчива к воздействию извне — особенно в нравственной наследственной сердцевине. Личность сменить эти гены даже у малой части народа в краткий плановый срок, увы, не может, но может ускорять или замедлять накопление фондов цивилизации.

Социализм определен Лениным как строй цивилизованных кооператоров. А цивилизованный колхозник — еще не тот, какой водит К-700 и зарабатывает триста в месяц, а надо думать, тот, кто к этим достоинствам добавит первенство общественному перед личным, атеизм и грамотность, кто отвергает все формы неуважения, в деревне особенно изощренные и многочисленные, отмечает сплетню и травлю, и неверие в возвышенное, и приправу гадостью, обычную, как перец к борщу. Цивилизован человек, который рассчитал в себе и выпнул подлеца, крохобора, ябеду, завистника, чинушу, гордеца и сквалыгу; он из самоуважения не покроет воришку, а при исполнении киргизской песни не произнесет непечатного, допуская, что и такая музыка кому-то мила. В итоге он не будет бояться жить в родном селе. Пока же Жихарев в известной степени прав: Степан нечаевский с самим собой — с такими, как сам сейчас, — жить не хочет.

Мы вспомнили Овечкина, его «Районные будни».

«Кому же лучше живется у вас — коровам или колхозникам? Телятам или ребятам?» — там спрашивает директор МТС Долгушина председателя лучшего колхоза. «Коровы — для нас, а не мы — для коров!» — в пятьдесят шестом году это звучало революционно. «Не для упрощения лишь хлебозаготовок создали мы колхозы, а для самих крестьян, для улучшения их жизни», — рассуждает сам с собой Марьин.

Судьба Дада Овечкину возможность повидать — не на Средне-Русской, правда, возвышенности, — как

эти мысли, подчас робкие, додуманы до логических выводов, подкреплены миллионными вложениями, стали фундаментом перспективных планов.

Последние годы автор «Районных будней» прожил в Ташкенте. Бывал только в пригородном многонациональном «Политотделе» у знаменитого председателя Тимофея Григорьевича Хвана, но здесь бывал часто. В Москву писал воодушевленно: увидел воплощенный идеал колхоза — тот идеал, что мерещился им, голодным коммунарам 1925 года, когда под Таганрогом они создавали свою коммуну. Мне довелось гостить у Валентина Владимировича. Писатель начал книгу о «Политотделе», намеревался связать в ней начала и концы. Работу прервала смерть. Схоронили писателя на ташкентском кладбище, плита у могилы какая-то несурзкая: «Овечкин Валентин».

Для чего живет и работает «Политотдел»? В чем его цель — не квартальная, не годовая, а вообще? Поднимать урожай? В сборах кенафа за колхозом мировое первенство, но урожай служебен, мерилом быть не может. Так чистый доход, прибыль? Но деньги для нормальных людей самоцелью вообще быть не могут, тем более такие деньги, какие надо еще отягчить фондами.

Есть крестьянская мера трудов и дней — детьми: «Жизнь прожил, пятерых сынов на ноги поставил, троих дочек замуж отдал». Детей должно быть больше, чем нас, они должны быть лучше нас и жить должны лучше — вот смысл философии всей. Чадолюбие, введенное в хозяйственную политику, вовсе не патриархально: народить, своими трудами воспитать детей, взлелеять тела и намагнитить сердца так, чтоб тополевая родная долина всегда оставалась краем обетованным, выучить и выпустить в жизнь — что здесь патриархального или сугубо среднеазиатского? Колхоз, в котором стариков отходит больше, чем рождается крикунов, — это создание «для упрощения хлебозаготовок», а не живой организм.

В колхозе под Ташкентом в год рождается круглым счетом триста детей. Детские сады прекрасные, бесплатные, а главное — доступные, ребята понимают себе цену и спокойна, доверчива, совершенно чужда сельской дичливости. Школы колхоз строит за свой счет, оснащает кабинеты, освобождает педагогов от дум о корове и сене (системой продуктовых заказов), и примерно шестьдесят из сотни выпускников выдерживают конкурсы в институты и техникумы. «Политотдельская» молодежь — народ ограниченный, выделанный, с развитым чувством достоинства, почти каждый прошел или музыкальную, или хореографическую, или спортивную школу; здесь стадион на двадцать тысяч мест, здесь обучают теннису и боксу, футболу и верховой езде, борьбе и утехе — художественной гимнастике. Дирижеры и тренеры, кулинары и архитекторы — каких только профессий не найдешь в «Политотделе»! Трудно на четырех с половиной тысячах га занять всех возвращающихся сыновей и дочек, но колхоз старается.

Был образцовый колхоз и в овечкинской «Трудной весне». Два хороших человека, два энтузиаста, молодая девушка-библиотекарь и музыкант-любитель, делали тут «то простое и небольшое, что надо делать, чтобы молодежи да и всем колхозникам жилось интереснее...». Приходом к новому идеалу Овечкин переоценивал прежнее, вводил совсем иной, труднообразимый для черноземных сел масштаб: в «Политотделе» сфера интересной жизни как раз и сложна и велика, затраты громадные, а говорить, что они окупаются, тут бессмысленно и несурзочно, потому что мировая урожайность хлопка, хлопковые и кукурузные поля на то и существуют, чтоб все эти затраты производить и жить, как люди.

— Но у них кепаф, это мешковина, — говорит Сурков. — А что сыпать в мешок? Сахар. А сахар тут, согласны?

Он рисовал уже клеща и чертыхался: у Дрянной твари дыхательное отверстие рядом с анальным.

ДОВЛЕЕТ ДНЕВИ...

День «зимнего Николы» начинаем на утренней дойке. Молоко — это, как известно, контроль, и никакие фабрики не освободят Суркова от обязанности летом в четвертом часу, зимою в пятом трогать на фермы — и все про то же: не забились ли трубы, хватит ли жмыха до первого, сколько подстилки, когда выбраковать старуху Голубку... Это сфера зоотехника Будникова, он в ней полноправен, как в своих секторах полноправны агроном, инженер и т. д.; но диалектика такова, что если проверять, то и сфера будет, заглож контроль — ни сферы, ни молока, ни прав.

Сейчас в «Знамени» тысяча четыреста коров, план требует иметь в придачу к фабрике полуторатысячный гурт, но дояркина должность остается самой маятной, и уже теперь на фермах доят пятнадцать девчат с Прикарпатья — женская вариация шабашников, приданое зарабатывают. Мечта иметь в резерве хоть десять доярок (ради дисциплинки, просто для подмены) не приближается — отдаляется.

В коровнике управились, дежурная звенит посудой. — С праздником, Николай Алексенч!

Доярка Рая — малиновая фланель на халатике, выжанные носки белые, чистые, фуфайка тоже опрятная, из-под клетчатого платка выбиваются золотистые завитки (как только успела затемно прийти в полном порядочке?) — стоит ждет, пока он подойдет, выбирает в кармане по семечку и грызет аккуратно, чтоб не скрасить губы.

— С каким, Раечка? Я ж на «летнего».

— А летом скажете — на «зимнего».

— Ну как она, жизнь, Раечка?

— А какая наша жизнь, Николай Алексенч, — безлика, — качает ногой в маленькой сверкающей галоше.

— Угля нет, наверно?

— Да не про то. Что видим, кто про нас знает?

— Какая ты хорошая стала, Раечка, посвежела.

— Скажете тоже, хвосты крутить — засвежеешь.

Когда нам постановку привезете?

— Муж что пишет, как курсы?

— А-а там, пишет, хоть отдохнуть... Вы вот редко стали глаза казать. Добьетесь, на собрании возьму слово.

— Ой, Раечка, не бери, ну что хочешь сделаю...

Что ж, и это его работа, может, опасная, но работа, и он пусть с заметным удовольствием, но выполняет ее. А как быть мне и Будникову: слушать невинный этот флирт или отойти, не мешать?

— А вы мне Будникова молоком тут не поите! — вдруг строжится Сурков. — У него шея толстеет! Он на доярок сопеть начинает!

Хочет Раечка...

К слову, Сурков — из супругов верных. От многих молодых семей, где мужья тоже верны и преданны, эту отличает то, что жена здесь не экспортный продукт, не показательная сторона, какую заведено гордиться, выхваляться, на какую в гости зовут. Сурковы — ровня, у них ни заискивания, ни ломливости, и ко второму десятку супружеских лет в отношениях сохранена застенчивость, тень потаенно-

сти, и нетрудно вообразить, как начинался их заводской роман.

...Один «престол» в Нечаевке (где та церковь, кого греют ее кирпичи?) сделал бы день взрывоопасным, а тут еще добрая сотня именинников в других селах! Об эту-то пору и лопаются трубы, беспричинно возникают замыкания, тракторы наезжают на углы, на плетни и даже на движимое. Задача ясная: быть на местах, общаться с народом — завтра уже полечает.

Мы и ездим. Снова все занесено, копаем, толкаем, берем и на «взяли» и на «раз-два», добряк Будников впрямь здоров замечательно, один Семен Семеныч не толкает: он в ботах, начерпает.

Точно не скажу, как этот Семен Семеныч попал к нам в машину. Кажется, сперва просился подвезти, но в срок не вылез, а по-простецки напомнить ему про «станцию Березай» Сурков почему-то не смог, вот он и вошел в роль инспектирующего, даже как бы направлял нас на одному ему ведомый след. Был он в коричневой меховой шапке, при каракулевом воротнике, но с физиономией настолько поношенной, что впечатления благополучия не складывались. Даже казалось, что он переодет.

Семен Семеныч интересничал, являл широту: возмущался превращением Джеки Кеннеди в мадам Онассис, обращал по пути внимание, сколько пашни уходит под всякие столбы, в каком состоянии наши дороги, вообще владел разговором.

Будников с Сурковым не замолчали, а стали говорить о заведомых пустяках. И тут мне вспомнилось, что в прошлые встречи упоминался в разговорах какой-то Акцизный, известный уже не одному здешнему поколению.

Занимался он деятельностью, за какую пословицей назначен первый кнут. Если в свидетельствах его и случались сгущения, то он всегда готов был исправиться в деле, на счету он имел ряд крупных «вскрытий», и уж кого боялись в здешних селах пуще рака, это Акцизного. Были потом тут работники, огорчавшие Семена Семеныча демонстративным презрением, но после вроде бышем поросло, и Сурков рассказывал о нем уже со смешком — так примерно, как о тех отверстиях клеща.

Так и оказалось — Акцизный! На кой же ляд Сурков возит его с собою?

В Нечаевке Семен Семеныч подошел к Жихареву первым и тоном знающего подноготную спросил, закончен ли перевес бычков. Но Жихарев, пожимая руки, Акцизного не увидел, словно тот был духом бесплотным, и только спросил, откуда начнем.

В специализациях не искушенный, Петр Алексеевич Жихарев относится, однако, к тем хозяевам, у каких сбруя всегда смазана, стекла в коровниках вставлены, ворота ровно на петлях, фураж под замком, скот учтен, да и без того каждая животина помнится «в лицо». Такой хозяин знает, кто чем болеет, кто и на чьи пьет (и в общем-то много не попьет), сколько у кого на книжке, и, глянув в окно, скажет, кто и с какой подлинной целью сейчас идет; он сметлив и наблюдателен, а хозяйственная инерция его и «ложь во спасение» часто выручали колхоз.

В самые жуткие годы в Нечаевке опухших не было, воровства и пьянства среди «актива» не водилось, строгость и догляд были отменные, районный следователь был гостем редким, хотя свои меры воздействия, чего тут греха таить, вовсе не всегда были такими, о каких в газетах пишут, что и помнится крепко.

У таких-то руководителей Сурков и ходил в агрономах, постигая взаимосвязь целей и средств, закон про «аукнется» и «откликнется», правило, что народ со-

стоит из отдельных лиц, — вообще всю ту председательскую науку, какая в полноте и описана быть не может.

В Нечаевке хороший памятник солдатам Курской дуги. Теперь есть и просторный клуб — правда, построен он только минувшим летом. Бригада каменщиков-армян поражала и словно укоряла нечаевцев своей запойной работой — по пятнадцать часов в сутки, без перекуров и ругани, только под собственным надзором: сдали домину под замок в сто дней. Село объясняло для себя все тем, что каждый из них, известно, тянет на «Москвича», летом вкалывает, а зимой — ни за холодную воду. Но наглядный пример шабашников следы оставил...

— Пошли на откорм. Как «аккордники», тянут?

— По полтора рубля в месяц — и мало! Разлагает такая оплата, Николай Алексеевич, одна свара и беда, — разводил руками Жихарев.

В набитой бычками воловье два мужика раздавали с подводы силос — махали руками, что-то «обсуждая», дело шло через пень колоду.

— Здоров, Петро, здорово, Никола, о чем спор?

— Во — начальство! Чего б на полчаса раньше, Николай Алексеевич, бокс бы увидели! Он за грудки меня схватил, скажи я еще слово — ударил бы! За ключи, Николай Алексеевич, что ключи у него попросил...

— Не, он за брата, заело, что про брата ты. — Петро прыгнул с подводы. — Ну можно так на рабочего человека, скажите?

Оба уже «хватали», были вполпьяна и кричали разом, распаясь. Акцизный сразу же спросил:

— Бригадир, так? Ударил или пытался? А за грудки тряс? И на воздух поднял?

История выходила скверная, и я заметил, что Жихарев наконец и услышал, сбробел и почти силком утащил Акцизного — пошел за бригадиром.

— При чем же тут брат? — спросил Сурков.

— А что брату, то бы, значит, и ему! Чтo рук не распускал!

Я спросил Будникова, что за преступник брат у бригадира? Оказалось, совсем иное. Брат прошел все фронты, вернулся целехонек, поехал зачем-то в Харьков — и под трамвай, насмерть. Вообще над бригадировой семьей какой-то рок: сестру на трассе задавило автобусом, кто-то еще утонул. Никола, зная, чем ударить под дых, и помянул брата, какой всю семью поднимал.

Не оскорбление даже, а изощренная подлость. Идиотизм деревенской жизни в условиях спецхоза. Может, и впрямь есть действия, за какие давать в морду законно?

Они нудились — привычно было работать «от головы», а этот «аккорд» мучил тем, что и в праздник кормить надо, отвес бьет по карману.

— Я, как дурак, тянуться не буду! — надирался Петро. — Кому «Москвич», а мне здоровье нужно, и мне б сегодня в гости...

— Колхозный закон — что гусиная шея, — поддавал Никола. — Верти, как хочешь, на один навоз три процента сбрасывают!

Будников, чертыхаясь, отошел. Петро, сказал он мне, имеет только три судимости, Коля тоже «Крым и Рим» прошел, ключей им и жены не дают... Золото — не кадры!

— А что же вы на работе «приняли»? — сказал Сурков.

— Обидно, вот чего! Людям праздник, а мы гробимся...

— А Жихарев, как прокурор, глазами блынат...

Я наблюдал за Сурковым.

Предел, знают школьники, это постоянное, к кото-

рому стремится переменное, приближаясь так, что разница может быть меньше любого бесконечно малого числа. В математике — ладно. Но тут — еще миллиметр, еще микрон — и взорвется! Выбранился или нет? Нет, откажется от понимающего тона. Перестанет даже условно занимать их сторону. Ясно, мол, хлопцы: сейчас вы не в своем виде, просвежитесь, за месяц вам положена двойка, а не получилось у вас с «аккордом» — так сдавайте скот, чего толочь воду. А с бригадиром разберемся, все!

Еще заноза — еще микрон. Из них выходила злость, собрано ее было по колониям и по «Рымам» вдосталь, вспотели, дышали перегаром. Был бы и тут в запасе «брат» — и он бы пошел в дело...

А предел был все далек.

Предел чему, собственно? Вниманию, терпению, выдержке?

Да нет, все-таки уважению, иначе никак. Уважительный тон не исчезал! За что же после «брата»-то? И после «гусиной шеи»? И той «полбанки», что где-то сейчас в соломе пустая?

— Мне нравится с вами беседовать! — с веселым негодованием перебивает их. — Теперь вон оно сколько увидели! И бычки вроде ничего.

— Нехай прикарпатские кормят!

— Это он мне ради праздника...

Тишину принесло появление бригадира. Высоченный и суровый, этот впрямь может поднять на воздух. Он гневался, на скотников не смотрел да и стыдился, гадко себя чувствовал.

— Брал за грудки Николу?

— Пусть спасибо скажет, что я не выпил, а то б и дал.

— Нервы лечить надо. Босиком по снегу, помогает. Вызовем на совет участка. И вас разберем, хлопцы. Двойка — да в Николин день...

— Так за ваше ж здоровье, Николай Алексеевич! — улыбается оскорбитель, вроде довольный, что «всем сестрам»...

А у оскорбителя волосы под шапкой слиплись, роба пропахла бычьей мочой, пальцы сбиты, искорежены. Дали «аккорд», чтоб чуть обжился, поправил жену-страдалицу, поднял детей. Силос раздаст, напоят-накормят, но не умеет работать. Сам работать не умеет.

— Ладно, пошли скот смотреть.

Не забило ли трубы, как силос едят, хватит ли фуража до первого... Забыть не забудут, работать останутся, потом начнут и здороваться — село.

Спасал Жихарев хозяйской грозой от голода, в копейках исчислял трудодни — и Петро еще пацаном, Петькой, тянул, и слушался, и будто шло. А работать при больших деньгах и при открытом Харькове на свой ответ, расчет и разум — нет, Жихарев так работать не выучит. Степан Федоскин тоже в своем прав.

Смеркается. Устали и промерзли. Жихарев — у конторы участка:

— Николай Алексеевич, это самое... Ульяша звала, очень просит.

— Гм, а надо бы. Как, не против? Будникова уломать беру на себя. Тогда так... Семен Семеныч! Мы тут еще чуток задержимся. А вас отвезут. Вот ключ, держите по нашему следу...

— Да чего ж мне одному, вы, верно, к Ульяше? А мы с Ульяшей — старые друзья, пуд соли, считай — родня. Пошли, пошли без церемоний! Да она обидится, что вы меня не заташили...

И ведь испортили мы день Ульяне Порфирьевне! Куда все ее краски девались, куда разговор! Все старалась на кухню убежать. На кухне-то и призналась:

— Что вы, это я храбрая, а было, как встрепу его

на улице — поги трясутся! Ночь спать не могу. Это сейчас от него одна шкурка осталась, а то он серьезный мужчина был, опасный...

Ни ладу, ни складу, ни веселья, опять говорились томительные пустяки, один Семен Семеныч и потреблял, и балагурил, и дом нахваливал: он был у Ульяши впервые.

Провожая, она обмела Жихареву на плечах пальто:

— Стареешь ты, Петруша.

— С чего взяла?

— А девки на тебя не смотрят.

— Так и девкам, что смотрели, уже по сколько? Голова-а...

Благо, если испорчено было застолье от простого неумения сказать старшему «проще». А если другое: «Ну смотри, не вынохивай, все равно ведь ничего не вынохаешь, убедись и — катись»? Конечно, не совсем боязнь, но из ее рода...

Но нет, нет, я уже осекался. Это инерция обыкновенного сурковского обращения с людьми. Скажи он «проще», все равно бы веселье не вышло.

Татьяна Дмитриевна права: в душевных проявлениях он искренен, свободен и прост. Как хозяин — молод, доверчив и к природе и к обстоятельствам, еще не раз набьет себе лоб. Слишком много взваливает на себя, слаб в искусстве достигать равной у всех тяги, и талантливые «прасолы», поставленные к штурвалам специализацией, кто в одном, кто в другом обставляют его. Станут ли Ясные зори, его «агросело», зеленым островом мечты? Судя по объемам капитальных работ — да, хозяйство и поселок могут оказаться на славу, производительность труда сделает резкий рывок, а доля свободного времени вырастет.

Но Сурков, что и составляет его отличие, живет так, чтобы будущими Ясными зорями не искупать и не оправдывать дня сегодняшнего. На дне сегодняшнем тоже лежит ответственность за мечту — за вчерашнюю, а несделанного тоже не воротить.

Уважительность Суркова — не способ расположить, но она и не от природной тонины души только. Не оттого только, что ему так лучше — а живет он для себя и именно потому — для дела, не наоборот. Думается, у него это такая же доминирующая черта, какой у Нагульнова была ненависть к собственности, а у героев Овечкина — желание вернуть колхознику чувство хозяина добра и жизни.

«Довлеет днесь злоба его». «Довлеет» — это не «давит», не «нависает», не «гнетет», а всего лишь «удовлетворяет», «соответствует»; «злоба» здесь — просто острота.

Идет речь не о «хлебе едином», рубль и центнер панацеей быть перестали, колхозник должен быть и сознавать себя уважаемым и чуждым страха человеком — тут-то, думается, злоба дня современных колхозных будней (не районных, потому что решается уже в колхозе). Воздействие города значит многое. Но и сам сельский быт, в котором произнесено: «Ладно, всех денег не заработаешь», — делает самым, подчас даже единственно эффективным, моральный фактор.

Да, прежде всего и сейчас — чувство хозяина и в сфере добычи «хлеба насущного» и в смысле распределения. Но, замкнутое сферой «хлеба единого», оно и эффект даст ограниченный. Хозяином — и уж куда вроде бы самостоятельнее! — был и мужик во «власти земли», мужик Толоконного и Неурожайки тсж, едва ли не самый забытый крестьянин на свете. Хозяином «от сих до сих» научился быть и звеньевой, воспитанный рублем и центнером, он уже не сваливает селитру в овражек и не срывает кукурузных всходов, но «брата» вспомнит охотно. Степана — по-уличному, и Степан придет за справкой.

Хозяин — это гораздо меньше, чем человек во весь разворот души, без струпов низости и страха.

Нынче Акцизный (прозвание и имя я, понятно, изменил) сам ездит и клеится «страха ради нудейска...». Но остается ли в молодом председательском арсенале страх, или острастка, или нажим как средство, надежда, способ достигнуть цели?

Тот однокашник Суркова, что пострадал от его возвращения, теперь сам «руководом» — это моторный, очень реалистичный крестьянин и происхождения и натурой, Воробей Анатолий Михайлович, председатель специализированного «на яйце» «Красного Октября». До белгородских перемен весь пригородный район давал шесть миллионов яиц в год, теперь один этот спецхоз поставит шестнадцать, а речь идет уже о двадцати пяти миллионах. Дело крупное, технический уровень высок, но идет с такими сложностями, через такие пни-колоды социального толка, что председатель подчас теряет хладнокровие. Суть досад и расстройств он выражает емкой фразой:

— Прижать бы к стенке, да стенки нет!

Все дело, уверен Воробей, в пригородности: разбегаются по заводам, идут в торговлю... Наемные — пожалуйста, на фабрике работать будут, а в колхоз вступить — дудки! Парень идет в правление за справкой; тут грозятся, читают мораль, а ведь по новому Уставу он и не член колхоза, если сам не вступал в него, может прямо идти в сельсовет — и до свидания.

— Если так пойдет, на Четвертый съезд колхозников нам посылать будет некого... Эх, подальше бы от города — за два года можно сделать, чтобы рассчитывались на «первый-второй»!

Обязательно рассчитывались бы и на «первый-второй» и по порядку номеров, если бы... если бы держались за коровку, реагировали бы на воздействия сенокосом-выпасом, а не вели бы со дворов Красавок и Лысок при первом серьезном «прижатии». Если бы не тысячи на книжках, позволяющие выдержать любую осаду. Если бы не оклеенные объявлениями про «требуются» заборы, столбы и тумбы. «Стенка» рушится, зарастает лебедой, к сохранившимся участкам прижимать можно с крайней осторожностью: чуть пережал — и эти завалются.

Командная высота далась трудно, теперь только бы развернуться, проявить себя — и почему, за что именно теперь приходится столько возиться, упрашивать, наблюдать «вытребеньки»? Нет, прижать, прижать, заставить рассчитываться, сами потом увидят, что оно и лучше!

Есть и иной поворот: не дать «прижать к стенке».

В Соломине молодые доярки поймали старую, привыкшую «вставлять ума», на том, что подливает воду в молоко. Кто-то услышал, как, уходя на выходной, она сказала подмененной: «Зина, там заряжено». Где что «заряжено»? Подозрение было давно, девчата кинулись к доильному ведру, а в нем полно колодезной! За неделю до этого старой была вручена колхозная премия — красивые часы. И только председатель на порог, поднялся крик:

— Собирайте собрание, на чистую воду!

Председателем в Соломине и Недоступовке тоже бывший коллега Суркова, почти сверстник его, Беседин Анатолий Алексеевич. Забрали часы у старой?

Она объяснила, что забыла вылить воду после мытья. Неуклюже, конечно, веры нет, но и жалко старую, авторитет подорвется. И анархию поощрять опасно! Сегодня — часы верни, а завтра?.. Сделали вид, что произошла ошибка.

Страх и уважение к работающему, нажим и доверие, боязнь «анархии» и открытость душ — они в давнем антагонизме.

Этот случай памятен миллионам людей. Партиец, человек, убежденный до самозабвения и до забвения законов, за какие сам дрался, ненавидящий выше всяких мер собственность как таковую, заставлял, укрепляя едва созданный колхоз имени Сталина, засыпать семена. Один из хуторян упорствовал, даже сказал непотребное — и партиец ударил его наганом в висок. Крестьянин упал, а поднявшись, исполнил требуемое. Партиец принял это за свою победу. Позже он говорил: «Кабы из каждой контры после одного удара наганом по сорок пудов хлеба выскакивало, я бы всю жизнь тем и занимался, что ходил бы да ударял их!» Уходя, хуторянин пригрозил жалобой. Райком партии действительно этого секретаря ячейки исключил, но Макар Нагульнов беспартийным пробыл две недели: накал уже ослаб, простили.

Сорок пудов Баника, занесенные в историю, запечатленные этапной «Поднятой целиной», были эффектом разовым, потом нужны стали способы в корне отличные, и они пришли, колхозы крепили, вера в столбовую дорогу коллективизации, в будущность ленинского кооперативного плана росла и грела...

Истина в том, что Нагульнов действительно преступил завет и нарушил заповедь. В иной обстановке за свои сорок пудов ему пришлось бы заплатить несоразмерно дорожке (впрочем, соразмеряющий стихийность с обстановкой гремячский секретарь скорей всего и не распустился бы до заплочных дел). А заповедь и Нагульнову, и председателям овечкинских Троицка, и сегодняшней, дипломированной уже поросли одна, она разом политическая, хозяйственная и этическая и состоит в следующем:

«На одно из первых мест ставится... — писал В. И. Ленин в феврале 1919 года, — борьба с злоупотреблениями тех представителей Советской власти, которые, обманно пользуясь званием коммунистов, проводят на деле не коммунистическую, а бюрократическую, начальническую политику, и беспощадное изгнание таких...»

В декабре 1920 года, на VIII Всероссийском съезде Советов:

«Мы знаем, что поднять их (20 миллионов крестьянских хозяйств. — Ю. Ч.) труд можно только после нескольких, долгих лет коренной технической реформы... Мы знаем, как обеспечить основы коммунизма в земледелии, — это можно сделать ценой громадной технической эволюции».

Девятнадцатого октября 1920 года ленинской рукой написано это слово — «колхозы». Оно стоит в краткой формуле:

«Тракторы и колхозы».

Законное «оружие» преобразований в деревне — трактор, тогдашний символ коренной технической реформы, революционное же оружие в подлинном виде существует для охраны законности! Это знал любой крестьянин, даже не умевший читать, знал даже недруг Советской власти, ибо понимал в этом могучую силу и притягательность социалистического порядка для масс.

Для российского села первых советских лет трактор был наиболее точным символом технического прогресса, хотя все-таки символом, отражавшим курс на культуру, цивилизованность, раскрепощение труда вообще, на знание — могучую производительную силу. Летом 1922 года В. И. Ленин поручил упраделами Совнаркома собрать и привезти из-за границы все материалы, касающиеся книги «Обновленная земля». Интересовавшая Владимира Ильича книга написана американцем А. Гарвудом, переведена у нас К. А. Тимирязевым и была ярким для своего времени рассказом о том, как наука, техника, знание преобразуют сельский труд.

«В наше время возделывающий землю, — читаем в той книге, — должен приступать к своему делу в таком же вооружении знания, как адвокат, издатель, доктор или «капитан», управляющий промышленным предприятием; теперь для всякого стал ясен диковинный факт, что то призвание, для которого еще недавно безграмотный неуч считался столь же пригодным, как и человек образованный, — что это призвание предъявляет настоятельное требование знаний, столь же широких и разносторонних, как и в любой иной человеческой деятельности».

Время берет свое: трактор, пожалуй, перестал быть острее прогресса, и если бы не законы восприятия, то образами технической революции сейчас могли бы стать хорошая доильная установка, мощная птицефабрика или... склянки с гормонами, ферментами, антибиотиками.

Но это внешнее. Ведущая роль культурности в создании основ коммунизма на селе только укрепилась, первенство техники в формуле «тракторы и колхозы» все прочнее. Именно вооруженность знанием становится первым критерием для колхозного «капитана», именно соответствие колхозного труда современным техническим меркам делает капитана «довлеющим», соответствующим политической злобе дня и дает ему самому, первому человеку колхоза, право на уважение от ближних.

ГЕРАКЛ И ТОЛИК ВОРОНА

Сурков молод, его капитанское будущее — в уникальной фабрике, о нем еще услышат.

В расцвете сил сейчас старший сосед его, Котов, Александр Львович Котов из спецхоза имени Жданова, где откормочный комплекс пущен три года назад, — тот, что на Третьем съезде колхозников представлял «белгородский опыт», зарядив энергией многих.

Худоцавый, мальчишеского сложения, живого характера человек, скромный плановик райзо и первый запевала на праздниках, Львович со специализацией был послан на прасольскую должность: скупить молодняк, откормить как можно дешевле, продать по красной цене и поделить прибыль с поставщиками-колхозами. С виду дело спокойное, стабильное: никаких думок о «сытой зимовке», сахарный завод заполняет ямы-озера жомом, скот придет, аппетит у него природный, корми и снабжай мясомкомбинаты.

Работа Котова — пример, что именно после того, как «полна бочка пшена», и приходят подлинные, достойные грамотного трудности.

В рядах воловен на одном взгорке были собраны многие тысячи голов. Район тратил на центнер привеса громадные количества труда — больше двадцати человеко-дней. Можно машинами раздавать корм, можно поставить навозные транспортеры, но избавить человека от вил, от необходимой, но бесконечной очистки помещений нельзя. Навоз, сколь он ни плодороден, — проклятие животноводов, нет человека, какому могла бы нравиться вечная ассенизация.

Миф об авгиевых конюшнях странен. Почему навоз поручили чистить Гераклу? Желание погубить того, кто не побоялся льва, гидры, медных птиц? Испытание интеллекта? Или дело впрямь по плечу только титану? Пожалуй, всего понемногу. У Авгия было пятьсот коней и еще сколько-то прочего скота — фантазии эллинов на наши масштабы скромны. Дело было поручено принижающее и бесконечное: возмись Геракл за вилы — и на следующее утро возникли бы новые горы навоза. Герой взял лопату, он отправился прудить реку — и остался

героем! Возможно, это самый глубокомысленный из мифов о сыне Зевеса.

В первую же осень зарядили такие дожди, что потоки жижи переполнили пруды, грозили прорвать их и обрушить в реку такую прорву навоза, что Котову и быков бы не хватило на штрафы. Львович не спал три ночи, собрал на плотинах всю технику, опасность миновала, но оставила ту же идею, какая некогда посетила голову Геракла.

Прослышав про какой-то опыт гидросмыва под Пензой, Львович отправился туда. Расположив тамошних хозяев, он получил в сувенир решетку, сквозь которую и проваливается, изящно говоря, органика. Провожающие сами внесли дар в купе. По некоторой причине свою остановку Львович проехал. Проснувшись в Харькове, он хотел подхватить образца, да не тут-то было. Семьдесят кило чугуна, а у Львовича нет геркулесовых данных. Остерегаясь зорких к металлолому пионеров, он спрятал решетку под снегом в скверике и только вечером вернулся за ней с дюжим шофером.

Облегченная, размноженная «сельхозтехникой» в нужных тысячах, дареная решетка легла настлом в волоньях, скотник оставил вилы, струя воды в нужный час смывает назем, унося его по канализации в пруды, оттуда — на поля, и нагрузка на человека в спецхозе приблизилась к Геракловой норме: 300 взрослых бычков на пару рук!

Если животное ест жом хорошо, то его жизнь долговечной, увы, не будет. Максимум девятисто дней — и костяк ослабнет, организм начнет разрушаться, бык «сядет на ноги», пора на бойню, хотя только бы, кажется, набирать вес. Издевка природы.

Котов связался со Всесоюзным институтом животноводства, и ученые вместо привычных разговоров о «сытой зимовке» получили хозрасчетный заказ научить животное есть долго и как можно больше. Член-корреспондент ВАСХНИЛ Михаил Федорович Томмэ рассказывал мне:

— Удивительно практичный и цепкий народ. Мы провели у них серию опытов по действию ферментов, испытали витамины, облученные дрожжи, минеральные подкормки. Контакт полный, хотя подход сугубо расчетливый. Мы предложили вводить в ткань животного микродозу фермента. «А сколько будет стоить?» «Рубль». «А привеса сколько даст?» «Ожидаем граммов пятьдесят в сутки». «Годится. Даже четыре кило говядины за рубль — это ничего». Вышло пятьдесят четыре грамма. Котов уже достаточно серьезно разбирается в самых современных препаратах. Для их комплекса мы дали кое-что из новейшего. У нас с деньгами на командировки скудно, так колхоз предложил нам оплачивать поездки...

Бычок живет теперь на откорме 210 дней. Средний вес «головы» в прошлогодних сдачах — четыреста кило. Колхоз применяет препараты, иные из которых стоят до двенадцати тысяч рублей килограмм, причем это наивыгоднейшие вложения: рубль затрат приносит восемь рублей прибыли!

— Дيامонийфосфат и антибиотик кормогризин применяются на всем поголовье, а диэтилстилбестрол вводим пока ограниченно, — с удовольствием произносит Львович перед экскурсантами.

Прямые затраты труда на центнер привеса в спецхозе сейчас составляют 5 часов 17 минут. И это пока многовато в сравнении с мировыми высотами, но сдвиг, конечно же, значительней, чем даже тот, что когда-то происходил с появлением «фордзона» и «универсала». В Котове, у которого заместителем по науке — кандидат, друзья в ученом мире, у которого иностранные министры бывают, мудрено узнать, говорят, бывшего плановика райзо.

Времени у Котова мало, на сантименты вовсе нет.

Главным агрономом в спецхозе имени Жданова работал Анатолий Ворона, однокурсник и давний товарищ Суркова (они родились в один день). Это скромный и тихий человек, единственно выделяющее его качество — абсолютная добросовестность. Судя по приросту урожая, отдача от его работы была, и вдруг — снимают с работы. Не понижают, не переводят — снимают. Не то чтобы завалил дело, а — чтобы не завалил, ибо не выдерживает скоростей, какие взяло хозяйство. Что попишешь: «не потянул».

Ворона был потрясен. Очень крепкий здоровьем, борец-перворазрядник, он мигом сник, сдал, решил уезжать подальше. Идти просить помощи у Суркова он не мог. И даже не потому, что должность «главного» в «Знамени» была занята. Встретиться, отвести душу, даже взять на трудное время денег — куда ни шло, но работы просить у сокурсника, так преуспевшего, так тебя обогнавшего, — это слишком.

По тем же причинам и Сурков не мог звать Ворону к себе: место занято, а предлагать меньшее, по сегодняшним силам Толика, поневоле значило показывать свой вес и значение. Кроме того, это и в районе было бы расценено как вызов: Сурков искупает чье-то бездушие.

Мог или не мог, но Сурков поехал. Силком привез в «Знамя», объяснил, как нужен честный агроном на участок, а всему колхозу — тренер по борьбе, нашел работу жене, помог перебраться в необжитый коттедж, по вечерам затаскивает к себе играть в шахматы и все набивается на новоселье.

Львович уже в расцвете сил, а о Суркове, наверное, еще писать да писать.



В. Коммунар, Б. Поляков

Первый десант

Из оперативного донесения в Москву:
«В течение двух часов части противника в Кили-Беке были полностью разгромлены: 200 вражеских солдат и офицеров убито, 720 сдались в плен, захвачено 8 орудий и 30 пулеметов, более 1 000 винтовок. В тот же день наши войска без боя заняли Пардину, острова Татару и Даллер. Овладение этими пунктами изменило здесь обстановку в нашу пользу, так как оба берега Килийского гирла от устья реки Рапиды до села Периправа, на протяжении 76 километров, находятся в наших руках. Измаильская группа наших кораблей получила наконец свободу маневра для артиллерийской поддержки прибрежных флангов сухопутных частей...»

В тот же день об этом успешном десанте сообщила сводка Совинформбюро...

Это было 26 июня 1941 года, на пятый день Великой Отечественной войны.

В планах «блицкрига» гитлеровские генералы отводили на уничтожение советских погранзастав всего тридцать минут. Но они ошиблись, и очень серьезно. Ни одна пограничная застава на всем фронте — от Баренцева до Черного моря — без приказа не оставила своих позиций. Это о наших пограничниках генерал Галдер, начальник генерального штаба сухопутных войск фашистской Германии, вынужден был сделать в своем дневнике такую запись: «...Русские всюду сражаются до последнего человека... сражаются, пока их не убьют...»

Весь мир знает сейчас о мужестве часовых нашей Родины, о том, как героически встретили они врага в первые же часы и дни Великой Отечественной... Но есть и забытые страницы.

Мы хотим рассказать историю поистине беспримерного подвига первых дней минувшей войны. Совершен он на Дунае, в Килии-Беке...

В июне 41-го пограничники, конечно, не знали, когда, в какой день и час начнется война, но чувствовали, что она приближается неотвратимо. На противоположной стороне Дуная фашисты рыли траншеи, вдоль берега устанавливали батареи, натягивали колючую проволоку в плавнях. Вниз-вверх по реке сновали вражеские корабли с незачехленными орудиями и баржи со стогами сена, под которыми трудно было заметить танки.

Все чаще над Дунаем стали появляться самолеты со свастикой. «Случайно» они залетали на советскую территорию.

Пограничники несли службу, приглядывались к врагу. Моряки Дунайской флотилии высаживали «десанты» на берег «условного противника», отрабатывали взаимодействие кораблей в бою.

Проводили военные игры и бои 79-го погранотряда, совершали тридцати- и пятидесятикилометровые марш-броски, окапывались, учились от обороны переходить в наступление, скрыто передвигаться, действовать небольшими группами, наносить внезапные удары.

Вечером 21 июня из наших дунайских портов Измаил и Рени неожиданно ушли все немецкие баржи, стоявшие под загрузкой зерна. Обычно их оставалось в порту под загрузкой на ночевку десятков — полтора, а тут — ни одной...

Бывший командир пограничного катера капитан первого ранга запаса В. А. Тимошенко вспоминает: «Прибывший из штаба рассылный передал мне приказ командира дивизиона: «С борта никому не сходить. Заступаете в готовность, службу нести подвижным дозором в квадрате...» Вышли мы в «квадрат». Место знакомое — протока между лежащими перед нашей базой Новая Килия и островами Катенька и Машенька. «Пошли в гости к девочкам», — шутили матросы. Место для дозора в протоке удобное — осоки, вербы, камыши.

Было тихо. Время приближалось к рассвету 22 июня.

В четыре ноль-ноль тишину смяли взрывы вражеских снарядов, на палубу катера упали срезанные пулеметными очередями стебли камышей.

Под прикрытием сильного артиллерийского и минометного огня противник на лодках, плотках, баржах и катерах устремился через Дунай. Наш берег молчал.

Молчали береговые батареи, заставы, молчали укрыпшиеся под осоками мониторы и «морские охотники». Когда же вражеский десант почти вплотную приблизился к берегу, защитники границы обрушили на него огонь из ручных и станковых пулеметов. Прямой наводкой, почти в упор били орудия. Пограничники забрасывали гитлеровцев гранатами. Ни одной лодке, ни одному фашистскому катеру не удалось причалить к нашему берегу...

23 июня пограничники решили прощупать позиции противника. Возглавил штурмовой отряд капитан Бодрунов. Смелчаки высадились на вражеский остров Раздельный и штыковой атакой скинули гитлеровцев в Дунай.

Фашисты бросали против десантников бомбардировщики, открыли шквальный артиллерийский и минометный огонь. Однако вернуть остров так и не смогли.

24 июня штурмовой отряд лейтенанта Богатырева предпринял еще одну дерзкую вылазку: форсировал Дунай и уничтожил гарнизон гитлеровцев в селе Пардина, захватив два тяжелых орудия.

Третий успешный рейд через Дунай пограничники провели вместе с бойцами 25-й Краснознаменной Чапаевской дивизии на рассвете 25 июня. Еще не взошло солнце, над рекой стелился густой туман. В это время и заговорили орудия наших мониторов «Ударный» и «Мартынов», а также батареи чапаевцев. Били артиллеристы по мысу Сатул-Ноу, где, как узнали наши разведчики, приготовился к броску через Дунай фашистский полк. Незаметные в тумане, катера подошли к тому берегу. Артиллеристы перенесли огневой вал в глубину обороны противника. Десантники застали фашистов врасплох.

В этом бою разгромили две роты гитлеровцев, взяли в плен семьдесят солдат и офицеров и прочно закрепились на занятой территории...

Между тем на других участках фронта положение ухудшалось. Танковые армии противника прорвали государственную границу и глубоко вклинились в нашу территорию.

Значение Дунайского участка фронта для врага было велико. По плану «Барбаросса» правому крылу гитлеровской группировки «Юг» предстояло молниеносным ударом захватить Одессу и Крым; врываясь левым крылом в Киев, выйти в тыл нашим войскам, действующим на Правобережной Украине, и окружить их. Фашисты предполагали, что советские южные города будут сдаваться им один за другим почти без сопротивления, причем, как считали гитлеровские генералы, Одесса падет в течение 5—6 дней. Однако все сложилось иначе...

Заняв некоторые острова на Дунае и часть вражеской территории, пограничники и бойцы-чапаевцы не только улучшили свое положение, но и спутали карты гитлеровцев на этом участке фронта. И все же обстановка оставалась серьезной. Силы сторон были неравны. В первом эшелоне у нас были корабли и катера ЧОПС (Черноморского отряда погрансудов), заставы 25-го и 79-го погранотрядов и во втором — две стрелковые дивизии, гаубичный полк и 96-я авиаэскадрилья. А у противника? Морская и речная дивизии, погранчасти, многочисленные береговые батареи, две армии, усиленные артиллерийскими и танковыми частями, а также авиация.

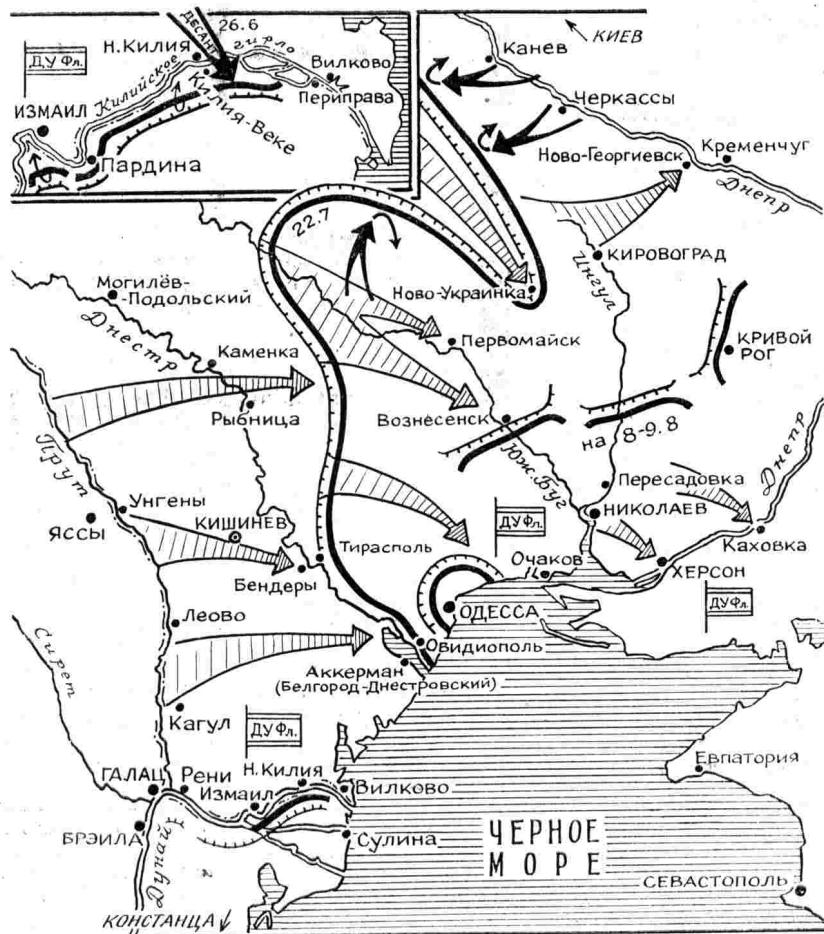


Схема военных действий в устье Дуная. Июль 1941 г.

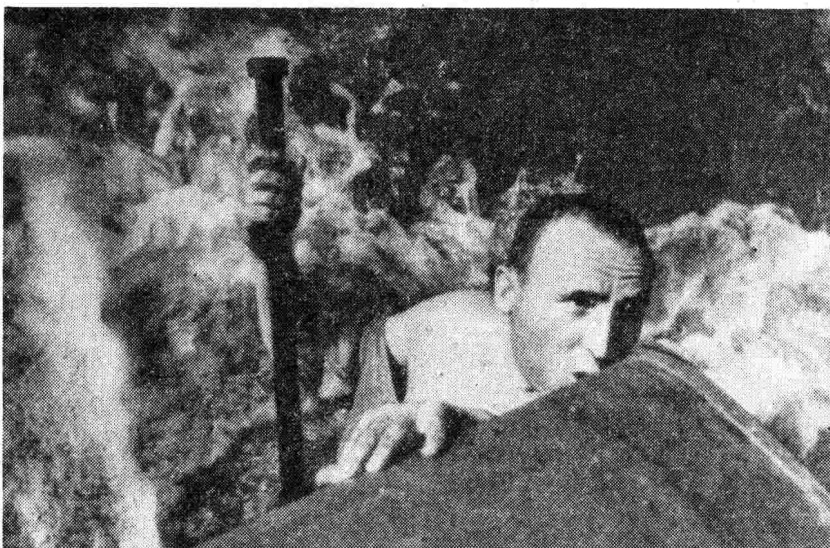
Государственная граница по Дунаю растянулась на 170 километров — от устья реки до города Рени, где в Дунай впадает Прут. Из орудий гитлеровцы вели непрерывный огонь по нашим кораблям, по портам Измаил и Новая Килия, готовились к новому броску через Дунай.

Командование Дунайской флотилии, 79-го погранотряда и 25-й Чапаевской дивизии решило, говоря языком военных, упредить врага, овладеть правым берегом Дуная от села Пардина до Черного моря.

Две с лишним тысячи лет назад, рассказывают местные краеведы, Александр Македонский построил тут храм Ахилла, возле которого и возникло поселение Ахилия — Акилия — Килия. Говорят еще, будто когда-то Килия была стратегическим пунктом древней, Киевской Руси на Дунае и киевские князья Олег, Игорь, Святослав не раз останавливались здесь, направляясь в Византию. Сейчас же это был сравнительно небольшой город, наводненный вражескими войсками, которые готовились к повторному десанту через Дунай, к броску на Одессу.

Пограничники и чапаевцы сконцентрировали свои силы в левобережной Новой Килии.

Со стороны реки Килию-Веке прикрывали камышовые плавни. Посередине реки между двумя городами лежали острова Катенька и Машенька...



Матрос Михайлов заделывает пробитую в катере во время боя 26 июня 1941 года.

Вот что рассказывают сами участники операции.
П. И. Ушаков.

— 25 июня вечером меня срочно вызвали из дозора в штаб ЧОПСа в Новую Килию. Город был разбит. Везде зияли воронки от бомб и снарядов.

В штабе я встретил знакомых командиров катеров и «морских охотников». Куропятников, старшина первой статьи, подошел, помню, хлопнул меня своей лапшей по плечу:

— Лик у тебя, Паша, постный, как у святого на иконе. Веселее гляди! Дело мировое: через Дунай махнем, и Антонеску и Гитлеру — по мордам!..

Через несколько минут нас собрали в кабинете командира дивизиона, объяснили обстановку. Пора наводить на Дунае порядок. Начало операции через несколько часов. На каждом катере установить дополнительно по паре «максимов», ленты зарядить трассирующими пулями. Так как вдоль вражеского берега и на самом берегу несколько рядов колючей проволоки, первыми, сразу же после полуночи, отправятся саперы и разведчики. Мы выступим после того, как будут проделаны проходы. Командир десанта — капитан-лейтенант И. К. Кубышкин...

Г. А. Куропятников.

— В ночь с 25 на 26 июня мы приняли на борт нашего катера десантников, около сорока пограничников и красноармейцев, и стали ждать.

Примерно в два часа ночи на том берегу раздались взрывы гранат, началась отчаянная стрельба. Продолжалось это недолго — минут десять, не больше, а потом все стихло. Как выяснилось позже, наши разведчики наткнулись на засаду... К утру поступило сообщение от саперов: «ворота» в колючках сделаны.

Тут и заговорили наши береговые батареи, орудия мониторов и «морских охотников». Под этот оркестр мы двинулись через Дунай. Сначала шли в строй кильватера под прикрытием «охотников», потом, за серединой реки, развернулись в строй фронта. По сигналу «красная ракета» ударили из пулеметов. Картина эта и сейчас перед глазами: сплошная огненная полоса, незатухающая, длиною в несколько километров молния.

В течение нескольких минут вражеский берег безмолвствовал. Его словно парализовало. Затем он начал оживать. Когда наш катер приближался к берегу, вода вокруг кипела от свинцового ливня и взры-

вов снарядов. Казалось, что все смешалось — вода, туман, небо... А тут еще сверху с диким воем навалились «мессершмитты»...

П. И. Ушаков.

— В Москве, в Музее погранвойск, под гвардейским флагом «мошки» («морского охотника») № 125, которым командовал лейтенант Тимошенко, стоит ДШК — крупнокалиберный пулемет Григория Куприянова и его друга Ивана Максимова.

Не знаю почему, но в тот бой «мессеры» особенно наваливались на сто двадцать пятую «мошку». Что творилось вокруг нее!.. Думали: все, конец «мошке». Однако нет же, вертится среди взрывов. И не только вертится — сражается. И как! Вот взорвался один стервятник, врезался в камыши другой, вспыхнул и заштопорил в воду третий... Потом, после боя, все узнали, что сбитые «мессеры» — работа командоров Степана Скляра и двух Иванов — Максимова и Перевозникова...

Г. А. Куропятников.

— Рядом с нашим «охотником» шел бронекатер под номером 132, за штурвалом стоял Щербача, старшина второй статьи. Только вечером, несколько часов назад, мы приняли его в партию... Примерно в трехстах метрах от берега катер Щербачи накрыло снарядом. Погибло несколько десантников, тяжело ранило командира корабля, а самому Щербаче оторвало ногу. Но штурвала из рук он не выпустил, высадив десант, удачным маневром ушел из-под обстрела и довел катер до своего берега. Спустя несколько минут он умер...

А мичман Образко... Он первым бросился в воду, преодолел «ворота смерти» — проходы в колючих заборах — и ворвался во вражескую траншею. В бою он получил несколько пулевых и штыковых ран, но сражался до тех пор, пока мог стоять на ногах. Падая, ухватился за кольцо гранаты, выдернул «чеку»...

В. П. Литвиненко.

— Первыми отличились разведчики. Одна группа высадилась удачно, без потерь. Петр Дюжин и Василий Зебзиев пробрались к фашистам в тыл и, когда мы поднялись в атаку, прошлись по гитлеровцам из пулеметов.

В это время мы проникли в траншеи и принялись за дело: где в ход финки, где гранаты...

Вскоре разведчики отличились вторично. Батальон противника внезапной контратакой решил сбросить

их в Дунай. Разведчиков было мало, и они пошли на хитрость. Часть бойцов стала отступать к воде, увлекая за собой основную массу наступающих немцев. Одновременно две группы десантников с флангов обошли гитлеровцев и ударили им в спину. Девять фашистам было некуда, путь у них был только один — в Дунай, в камыши. А там стояли наши бронекатера...

Враг бежал, оставив на поле боя всю боевую технику. Преследовать его десантники не стали: слишком мало было у них сил. Теперь их задача заключалась в том, чтобы укрепиться в освобожденных населенных пунктах и прочно удержать занятые позиции, то есть весь правый берег Дуная.

Десант прошел успешно. Как же и чем объяснить этот успех? Превосходством наших сил? Нет, факты и документы говорят о другом. Превосходство, причем многократное, было на стороне противника — и в живой силе и в технике. Стало быть, враг был бит не числом, а умением. Тем более, что бойцы погранотряда, стоявшего на страже самых южных рубежей нашей Родины, были уже обстрелянные, опытные. Запах пороха — не учебный, а настоящий, боевой — им был знаком. Многие из них — солдаты, сержанты и офицеры — участвовали в Финской кампании и в освободительном походе в Бессарабии. Неся пограничную службу на Дунае, они готовились не просто к обороне, а к сражениям на территории врага.

— Каждый из нас психологически был настроен только на наступление, — вспоминает полковник В. П. Литвиненко, бывший старший сержант отряда. — Да, мы знали, что, посмей враг напасть, придется обороняться. Но только в первые часы, а может быть, дни. А уж потом — вперед, на запад, на ту сторону границы и дальше до самого фашистского логова. Запал у всех был боевой. Никто ни на мгновение не сомневался, что, какой бы схватка ни была, в конечном итоге все-таки наша возьмет. Каждый был настроен на подвиг. Отряд стоял в крепости Измаил, и бойцы называли себя измайльцами, «потомственными суворовцами».

С войнами 79-го погранотряда «соперничали» моряки-пограничники Дунайской флотилии — народ лихой, азартный и, по доброй русской морской традиции, в военном деле умелый.

Позади застав, вблизи границы, стояли полки знаменитой 25-й Чапаевской Краснознаменной дивизии, той самой, которая позже сыграет решающую роль при защите Одессы и насмерть, до последнего бойца, будет драться у стен Севастополя...

Погранотрядом командовал подполковник Савва Игнатьевич Грачев — человек из первой гвардии чекистов, бывалый пограничник, участник гражданской войны. Чапаевскую дивизию возглавлял генерал-майор Иван Ефимович Петров, тоже герой гражданской войны, опытный военачальник, будущий командующий знаменитой Приморской армией и руководитель героической обороны Одессы и Севастополя.

Небезынтересно, что как раз накануне войны в отряде прошла инспекторская проверка. 20 июня комиссия Главного политического управления пограничных войск отметила: «Отряд имеет хорошие показатели в боевой и политической подготовке, а личный состав с высокой ответственностью охраняет государственную границу и готов выполнить боевые задачи». Вскоре войны-пограничники подтвердили, что высокая оценка их части дана не случайно.

Как же развивались события дальше? Какова судьба героического десанта?

Пограничники и бойцы-чапаевцы наступали, громили врага. «Н-ский стрелковый полк, — сообщалось в сводке Совинформбюро от 27 июня, — стремительным ударом выбил немцев из местечка Н., взяв в плен 22 человека. Противник отступил, оставив на поле свыше 700 убитых и раненых...» В боях на румынской границе части Н-ской стрелковой дивизии захватили в плен 800 немцев и румын.

Наш Черноморский флот совместно с авиацией нанес удар по базе немецких кораблей в Констанце.

Население освобожденных сел и города Килия-Веке встретило красноармейцев радостно, с цветами; угощали молоком, разной снедью, приглашали в дома. А крестьяне села Пардина тотчас организовали комбед, поделили между собой помещичью землю и оставленное противником продовольствие...

Дерзость десантников ошарашила, потрясла фашистов. Они подтянули крупные силы и, пытаясь вернуть утраченные позиции, штурмовали рубежи десантников. Горели плавни, сады, дома. Горела израненная снарядами земля. Враг, не считаясь с потерями, бросал в бой все новые батальоны и полки, решив прорвать оборону десантников любой ценой и сбросить их в Дунай. По необрунным трупам фашистские цепи катились одна за другой и всякий раз гасились о «волнорез» десантников. Случалось, за день гитлеровцы по 15—18 раз штурмовали траншеи пограничников и чапаевцев, и все безуспешно.

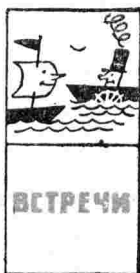
Несколько раз фашисты предпринимали так называемые психические атаки — шли в полный рост, цепь за цепью, под барабанную дробь, и цепь за цепью ложились, скошенные очередями спаренных пулеметов.

Окрыленные успехом, пограничники-суворовцы и бойцы-чапаевцы верили в победу. Но шли дни, недели... Оставлен Львов, Владимир-Волынский, Минск, Могилев, Лиенап... Враг вклинился на нашу землю на 350—600 километров.

Пали Кишинев, Житомир, Рига... Фашисты рвались к Смоленску и Киеву. С севера их дивизии все более угрожали югу Украины.

Потеряв надежду протаранить участок фронта, который защищали бойцы 79-го погранотряда и 25-й Чапаевской дивизии, гитлеровцы нанесли удар севернее и прорвали оборону частей Красной Армии. Над десанниками, сражавшимися на вражеской территории, нависла угроза окружения. 19 июля они получили приказ оставить занимаемые рубежи, вернуться на наш берег и отойти к Одессе. С болью в сердце покидали они освобожденные села и город Килио-Веке — первые, пусть пока еще небольшие, освобожденные ими населенные пункты. Почти месяц они бились по другую сторону границы, нанося врагу чувствительные удары на его же земле.

Уходили десантники, зная, что честно и мужественно выполнили свой долг. Уходили, сделав все, что могли, чтобы приблизить победу. Уходили, твердо веря, что вернуться. Они не знали, когда настанет этот день. Но не сомневались, что он придет. А для этого им, участникам первого в летописи Отечественной войны десанта на территорию врага, предстояло пройти по трудным дорогам войны, выдержать большие испытания: чапаевцам — на подступах к Одессе и у стен Севастополя, в сражениях за Донбасс и Будапешт; пограничникам-измайльцам — в битвах за Харьков, в яростных схватках с фашистами в Сталинграде, у волжских переправ...



А. Шаров



Свет софитов

Чаще воспоминания настраивают на печальный лад, но тут, в районе Сретенки, в вечерний час они приходят ко мне торжественными и радостными. Причины этого я вначале не понимал и только старался каждый раз, когда бывал здесь — в доме на Садовой, у друзей, — хоть ненадолго выйти на балкон. Ведь такие разбегающиеся огни везде.

Правда, уж очень широкая улица, и плавно изгибающаяся — как река. Но неужели дело только в этом?

Как-то я вспомнил, что именно в этом районе было особенно много маленьких студийных театров, которые так украшали Москву двадцатых и тридцатых годов.

Театральные воспоминания нахлынули на меня. Не знаю, как у других, а ко мне прошлое приходит мгновенными вспышками в темноте. Высветляется один час, минута, одна встреча — глаза, лицо. Можно — и это не так уж трудно, и тут большой соблазн — пририсовать к привидевшемуся все, что полагается. Но зачем?

В детстве и долго после детства театр был для меня, может быть, самой большой радостью в жизни.

Чаще всего я ходил в театр один. Я выходил из дому часа за полтора, но все равно вторую половину пути бежал; и долго стоял у театрального подъезда, чтобы успокоиться и отдышаться. Меня мучил нелепый страх, что билет «неправильный», и, благополучно миновав контроль, я чувствовал первую волну счастья.

Впрочем, тут все было счастьем.

Видеть, как постепенно заполняется фойе. Некоторые женщины шуряют на немислимо ярком свету и первые шаги делают как бы ощупью в этом совсем ином мире. И у всех улыбка предчувствия, какой не увидишь никогда и нигде.

Открываются двери в зал — темный, пустой, мерцающий, — и надо заставить себя не бросаться сломя голову, а чинно шагать вместе со всеми.

Где-то тут, в районе Сретенки, была студия Малого театра, руководимая Федором Николаевичем Кавериним. Зрительный зал, нелепо длинный и узкий, перестроенный, кажется, из склада, признали огнеопасным, и на всех спектаклях дежурили усиленные наряды пожарных. Они стояли вдоль стен в золотых касках, и к крошечной сцене вели две золотые дорожки. А на сцене были актеры. Это были шекспировские короли, купцы Островского, бродяги О'Генри, люди всевозможных веков и профессий, но когда в шкваркинском «Вредном элементе» милиция задерживала в казино старика без документов, он просил гитару, и как только он касался струн, еще до того, всем становилось ясно, что такое актер.

Сегодня уже трудно почувствовать театральную Москву тех лет.

Пожарные держали наготове шланги и топоры; некоторые улыбались и плакали по ходу действия. Даже если поначалу они были обыкновенными обывателями, то должны были стать прекрасными людьми — так мне казалось в пору, когда склонны переоценивать преобразующую силу искусства.

....Неподалеку была и студия Завадского. Помнится, она помещалась в подвале с низким потолком, приплюснутым тяжестью огромного жилого дома. По потолку вились трубы, похожие на корни. Иногда они нестройно шумели, недовольные тем, что вместо земли, куда должны были уйти, встретились с чем-то непонятным и лишним.

Театры путешествовали, меняя помещения на большие и лучшие. Но театр Каверина, добившись в конце концов обширнейшего зала, прекратил свое существование.

Могло почудиться, что были у него домовые или ангелы-хранители — может быть, и в форме пожарных — а он их растерял в спешных переездах. Но, конечно, угасание объяснялось другим. Погиб Федор Николаевич Каверин. Театр был его душой и отлетел вместе с жизнью.

...В студии Завадского, когда я туда попал первый раз, чуть наискосок, в первом ряду, сидел красивый высокий человек с чудесно вылепленной небольшой и гордой головой.

На него нельзя было не обратить пристального внимания.

И вдруг я вспомнил: да это же мхатовский граф Альмавива!

На спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в Художественный, где Завадский играл Альмавиву, я пошел со своей матерью.

Кажется, в первый и последний раз во взрослой жизни мы были с ней вдвоем в театре: и скоро ее не стало.

Я был очень взволнован и по дороге все время читал матери Блока — «Двенадцать», «Скифы».

Она слушала рассеянно, полуулыбаясь, погруженная в свои мысли. Почему-то мне важно было прочесть ей все, что я знал, до последней строки, и иногда я читал почти скороговоркой. В фойе я, глотая окончания строк, еще читал: «Вновь оснеженные колонны...», — когда мать подняла на меня озабоченные глаза и сказала:

— Надо тебе купить рубашку.

В семье существовала традиция, что я донашивал вещи после старшего брата Шурки. А я из недомерка вымахнулся в недепого верзилу. На мне была красная братнина рубашка с рукавами до локтя, «палаческая», как называли ее дома. Из рукавов, с аляповатой вышивкой по краю, высовывались руки, покрасневшие на холоде.

— А я и не знала, что ты так любишь стихи, — мягко сказала мать.

После спектакля она заторопилась к выходу, но мне страшно хотелось остаться еще. И она на этот раз уступила, хотя была человеком властным.

Сцена Художественного театра, превращенная по эскизам Головина в сад, переполненная цветами, огнями, шестом листы, молодостью, любовью, игрой, лукавством, словом, жизнью, вращалась, и из темноты выплывали аллеи, беседки, цветочные арки все более удивительные.

Было трудно представить себе, что художник Головин, создавший все это, в это самое время обреченно борется со смертью.

Навстречу Станиславскому, поднимавшемуся на сцену вместе с другими актерами, шел Альмавива, вначале «в роли», расслабленной походкой, чуть пританцовывая, а после робко и серьезно, уже не ощущая ничего, кроме присутствия учителя, и не решаясь поднять глаза.

Станиславский поцеловал его.

Потом Станиславский обернулся к залу и, склонив седую голову, сказал о смертельной болезни Головина и попросил разрешения послать художнику «от всех, кто здесь» благодарственную телеграмму.

...В студии Завадский был учителем, и он был другом.

Прозвучала последняя реплика студийной пьесы, и Марецкая, игравшая беспризорника, с озорной, неудержимой силой вскочила на суфлерскую будку, метнулась в зрительный зал и остановилась перед Завадским как вкопанная. Глаза ее так напряженно и отчаянно сверкали, что на секунду показалось, будто это единственный источник света.

Потом напряжение спало, публика зааплодировала, зажглось электричество, и все стало проще.

Через несколько лет театр Завадского временно перебрался в Ростов-на-Дону, где я тогда работал. На одной из премьер директор театра познакомил меня с Завадским и Марецкой и усадил между их креслами.

Марецкая уже совсем не походила на худенького

подростка, до последней косточки пронзенного детской неистребимой обреченностью театру, а было в ней нечто королевственное и лукавое.

Уже наступила южная сырая и ветреная зима; в уютном огромном зале только что отстроенного театра тоже властвовали сырость и холод. В руках у Марецкой была большая коробка с шоколадными конфетами, редкость по тем голодноватым временам. Она протянула конфеты мне, я от смущения сказал дурацкую фразу, кажется, «Спасибо, я не голоден!», и еще отрицательно замотал головой. Как я понимаю теперь, она тут же с увлечением и талантом начала разыгрывать эту, где мне отводилась роль не то застенчивого простака, не то жеманного дурака.

Я без сопротивления тонул.

Во время действия Марецкая вдруг положила коробку с конфетами ко мне на колени — как на стул или на другой неодушевленный предмет — и устремила сердитый взгляд на Завадского: что-то ей не понравилось в игре артистов. Я физически почувствовал стремительный ледяной холод этого взгляда и, может быть, даже чуть отклонился от него, вжимаясь в спинку кресла. Задев меня взглядом и с усилием припомнив неуместный факт моего существования, она внятно прошептала:

— Тут ужасная акустика!.. Поэтому бедняжка, — взгляд на сцену, — так беспощадно вопит.

В какой-то момент каждого потрясает открытие, что каждая девочка уже заключает в себе все поступки женщины, безумные и королевски щедрые, непостижимые. Неужели, взглянув позорче в глаза Марецкой-беспризорника, можно было в «той девочке» увидеть Марецкую нынешнюю?

В антракте она вернулась было к «этиду с простаком», но ей сразу надоело это, она подняла глаза и с таким пронзительным, разрывающим сердце и неожиданным теплом спросила: «У вас несчастье? Да?» — что я с трудом сдержал слезы.

По дороге из театра в гостиницу, временное мое обиталище, я все не мог решить: что это? Гениально сыгранная доброта? Или просто добрый человек?

...Чуть изгибаясь, Садовая поднимается и уходит к невидимой отсюда площади Маяковского.

Когда-то по Садовому кольцу тянулись бульвары. И, кроме общих деревьев, старых и прекрасных, общих скамеек, общей тени, были садочки у домов.

Легко было перемахнуть через ограду и обрести свое собственное, а не общее одиночество.

В весенние и летние ночи Садовое кольцо окутывали древесные тени и доверительные тайные шепоты: они не всегда были слышны, но чувствовались всегда.

Этот шепот глож в деловой каменной и торговой Садово-Каретной, но вновь возрождался и полностью овладевал площадью Маяковского. Она называлась тогда Триумфальной; посреди нее, где сейчас асфальт и памятник, был замечательный сквер.

Это была площадь влюбленных — мятущихся, несчастных и счастливых. Но, кроме того, это была и площадь театров, третья тогдашняя театральная столица Москвы — после Театральной площади и Сретенки. Подсчитано, что на Триумфальной площади в разные времена было — возникло и угасло — семьдесят пять театров!

Одно время в здании, где сейчас «Современник», размещался ресторан «Альказар» и две микростудии. Театры уходили в небытие как бы не совсем, а оставляя невидимые зародыши до благоприятной поры.

Одно время в здании, из которого перестроен нынешний Театр сатиры, было казино, и в изповские

годы некто, очень проигравшийся, застрелился на его ступенях.

И тут был мейерхольдовский Первый Театр РСФСР, где ставились верхарновские «Зори», а после — первый в Москве Мюзик-холл, с первыми чинно раздетыми под наблюдением реперткома тёрлс.

Среди театров карликовых и среднего роста сохранились в памяти два великана: Первая студия МХТ, с Чеховым, Диким и многими другими, и Театр Мейерхольда.

При всем их различии было в них, должно быть, нечто общее. Как бы иначе мог Ильинский играть сперва на одной из этих сцен, потом на другой?

В студию Художественного мы ходили «зайцами»; сейчас это не принято, а тогда было в моде среди мыслящей и безденежной молодежи. Там был пожарный вход, завешенный пыльной портьерой. Нырнув под тяжелое сукно и прижавшись в угол к стене, можно было чувствовать себя спокойным. К беде, балкон так низко нависал над партером, что из моего пристанища актеры виделись без голов.

Спектакли с Михаилом Чеховым — «Гамлет», «Эрик XIV», «Сверчок на печи» — я видел раз по десяти и, несмотря на все неудобства занимаемой позиции, запомнил Чехова на всю жизнь. В голодном и взорванном мире пение сверчка не заглушалось, а связывало прошлое с будущим, и сомнения Гамлета напоминали о непрменной важности того, что решает человек сам за себя, перед своей совестью. Эти мысли не мог спугнуть даже капелдинер, который спектакль за спектаклем крался за нами, но так и не настиг нас.

А потом он перестал появляться в театре, и мы узнали, что он умер. И примерно в это же время перестали ходить в студию, потому что переросли возраст «зайцев», а может быть, еще и потому, что обманывать живого — совсем другое, чем обманывать мертвого.

Зато в ТИМ — Театр Мейерхольда — я мог проходить открыто и в любое время, пока моя мать была заместителем председателя общества содействия строительству нового здания ТИМа.

В театре поражала неустроенность, необходимость: предчувствие будущей судьбы было разлито в воздухе. Он напоминал дом, жильцы которого только что приехали и не успели распаковать вещи или собирать уезжать.

Вероятно, театру не хватало уборщиц, и в углах скапливался мусор; пыль покрывала ломаные вещи, которых было много в темных закоулках. Вспоминая прошлое, кажется, что эта пыль неотвратимо заметала театр, как пески в пустынях заметают города.

Иногда театр представлялся безумцем, пытающимся сокрушать то, что сокрушать нельзя и невозможно. И не нужно. Сокрушать, как делал это Странствующий рыцарь. Но о Дон-Кихоте было сказано: «Он не безумец, он дерзновенен!» Открыл это не бакалавр Симон Карраско, не священник и не Герцог или Герцогиня, а Санчо Пансо — силой простого сердца.

Театр был дерзновенен.

Все же он напоминал и больного, не имеющего сил прибраться, да и не знающего, нужно ли это, так как сроки измерены. И торопящегося, торопящегося — тоже потому, что «сроки измерены».

Сцена театра казалась несуразно большой и высокой. Это на взгляд простого человека, а Мейерхольду тут было тесно.

Из высоты в полупустой зал опускались темнота и нежлой холод. Иногда чудилось, что там, в темноте, гнездятся огромные летучие мыши, порох крыл которых можно разобрать, если прислушаться.

Представлялось, что по ночам театр взлетает над миром — неблагоустроенным и ненадежным воздуш-

ным кораблем вроде татлинского «Летатлина». Возвращаясь, театр испуганно оглядывался и, боясь потерять связь с землей, страстно им любимой, ставил «Список благодетелей», во всем признавая вину перед эпохой, лишь бы не потерять ее доверие. Было странно, что на этой же сцене рвался ввысь китайчон-бой — Бабанова; и тут по земному шару с раздробленными цепями скатывались с полюсов всякие тираны из «Мистерии-Буфф».

И отсюда на оледенелую Москву лился красный свет верхарновских «Зорь».

Театр забывал о самоосуждениях и снова поднимался ввысь, чтобы наутро заново крепить себя к земле безнадежно и неутомимо.

Театр этот не затягивал, как студия Художественного, как Вахтанговский, пойти в него требовало усилия, но тот, кто попадал в этот мир, хотя частичей навсегда в нем оставался.

Я бывал здесь и на репетициях и на чтениях новых пьес.

На репетиции «Ревизора» у Марьи Антоновны, которую играла Бабанова, что-то не получалось. Мейерхольд из темного зала со своего режиссерского места подал знак, и Бабанова онемела, продолжая играть, но уже без слов.

Реплики за нее подавал Всеволод Эмильевич.

Бабанова двигалась по сцене, как лунатик: немислимое напряжение слов, копившихся в сердце, но запертых там, чувствовалось в выражении ее лица, в отчаянном ритме движений. Лампочка над режиссерским столиком освещала крупный нос Мейерхольда, худой профиль, немигающие птичьи глаза: гофмановский сидует в манере Калло.

Мейерхольд произносил реплики обычным, чуть хриловатым голосом, но очевидно, был очень большой смысл — тайна — в скрытых для меня, едва угадываемых оттенках голоса.

Показалось, что между сценой и залом лепится из темноты настоящая Марья Антоновна, какой прежде не могло быть.

Глаза у Мейерхольда были округлившись и злые; постепенно выражение лица изменилось, кожа посерела.

Он сделал знак, и Бабанова заговорила.

Потом в Эрмитаже я увидел «Данаю» Рембрандта, золотой дождь, падающий сквозь тьму, и вспомнил эту репетицию.

Где-то на чердаке ТИМа Сельвинский читал труппе «Командарм-2». Он отлично читал свои вещи, но Мейерхольд вдруг взял у него пьесу и стал читать сам.

Я помню, что, когда Оконный у Сельвинского говорит: «Мое бесконечное одиночество, жизнь моя мимо зорь и березок», — я чувствовал красоту слов «березок», «зорь». А когда это глухо прозвучало в чтении Мейерхольда, осталось только чувство одиночества — серого и без выхода.

Читал он стоя.

Помещение, как мне кажется, было низким, и он должен был наклонять голову. Он не делал ни единого жеста. Пожалуй, он читал эту пьесу так, будто написал ее не современный поэт, а Константин Треплев, которого он в молодости играл в Художественном.

...И помню в «Лесе» Счастливцева — Ильинского, уходящего рыбу на несложной геометрической конструкции в пустоте сцены. Как же это прекрасно, если исчезают почти настоящие берег, река — и пространство заполняется единственно воображением актера и режиссера. И какое неповторимое чувство, вероятно, овладевало Ильинским над пустотой, в пустоте, одним жестом превращаемой в живой мир.

И помню длинный стол вдоль сцены: воображение

продолжает его так, что он проникает сквозь весь мир. Стол похож на натянутую до отказа струну, но больше — на позорный столб. Это сцена сплетни в «Горе уму».

Сплетня о том, что Чацкий безумен, движется от одного человекообразного манекена к другому, превращаясь в приговор, в дикий, пронзительный крик: «Казнить! Распят!» — звучащий не в словах, а в музыке сцены, идущей гораздо дальше слов.

Это то, о чем говорил две тысячи лет назад Тит Ливий и четыреста лет назад повторил Франсуа Рабле: «Вы же знаете, что во всяком обществе больше глупых людей, нежели умных, и большая часть всегда берет верх над лучшей».

Теперь это повторял Мейерхольд:

— Прислушайтесь! Горе уму!

И еще я помню, как Мейерхольд вместе со своей женой, Зинаидой Райх, приходил к моей матери, к нам на 2-ю Тверскую-Ямскую.

Он чувствовал себя как бы в роли просителя, и это очень ему не шло и было тяжело. Изредка он взглядывал на Зинаиду Райх и, уловив ее взгляд, не прощающий чуть заметной приниженности, опускал голову.

Еще, как мне представлялось, он был придавлен красотой Райх и неуверенностью в ней, в будущем.

Должно быть, вопреки истине ему казалось, что моя мать — это частица того неперменного, что есть в окружающем, где его место спорно и все время оспаривается. А в жене он видел устойчивость молодости и красоты, даров, всеми принимаемых, в то время, как то, что пытается подарить он, тонет в гулком от пустоты зале, да и ему самому на завтра кажется «не тем».

Было в нем нечто бездомное, и в тот раз, возможно, он чувствовал это еще обостреннее, чем всегда, сравнивая свою жизнь с ясными женскими судьбами.

Помнится, он очень много говорил о мелочах, пустых деталях, мелких цифрах, сверяясь с записной книжкой, стараясь обрести остойчивость, но только еще больше сникая.

Летом сорок первого, последние дни перед уходом в армию, я почти каждый вечер проводил в театре. Близкие уехали, квартира наша надолго, а может быть, и навсегда, опустела.

Этот сезон оканчивался вместе с мирной жизнью. Актеры играли неровно, огромным усилием пытаясь увлечь за собой зрителя в обычный мир; без полной убежденности в реальности обычного мира и с прощальной нежностью к нему.

Для меня в эти дни все изменилось и в театре. Раньше он казался олицетворением праздника. Керубино говорит: Я люблю женщин, молодых и пожилых, блондинок и брюнеток, молчаливых и болтушек. Почему?! Да потому, что они — женщины!

Пожалуй, и я так же неразборчиво любил театр. Почему? Да потому, что это театр!

В те дни сквозь театральную праздничность и до меня стала доходить мудрость, воспринимаемая почти как завещание.

На виденное раньше, я смотрел как бы заново, поражаясь вчерашней слепоте. И когда после спектакля я кружил по Бульварному кольцу и по Садовым, я тоже впервые чувствовал, как нежно и печально они обнимают Москву.

Каждый театр — и те, которые существовали, и те, что жили только в памяти, — дарил что-то на прощание уходящим на фронт и уезжающим в эвакуацию; даже то, что в военных обстоятельствах не могло пригодиться. Впрочем, кто их тогда знал — «военные обстоятельства»?

Театры говорили прощальные слова, как все — близкие, дома, книги, деревья на бульварах, город, — не выбирая их, а те, что подсказывало сердце. То, чему можно было и надо было верить.

В Художественном на спектакле «У врат царства» я увидел, как проходит любовь — самая высокая — «самопожертвованная», по определению Толстого. Еще секунду назад жена Ивара Карено, не задумываясь, пожертвовала бы для него честью, счастьем, а сейчас — это произошло при нас на сцене — она уходит от Карено и не вспомнит о нем.

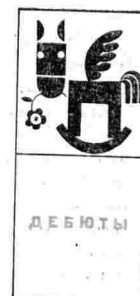
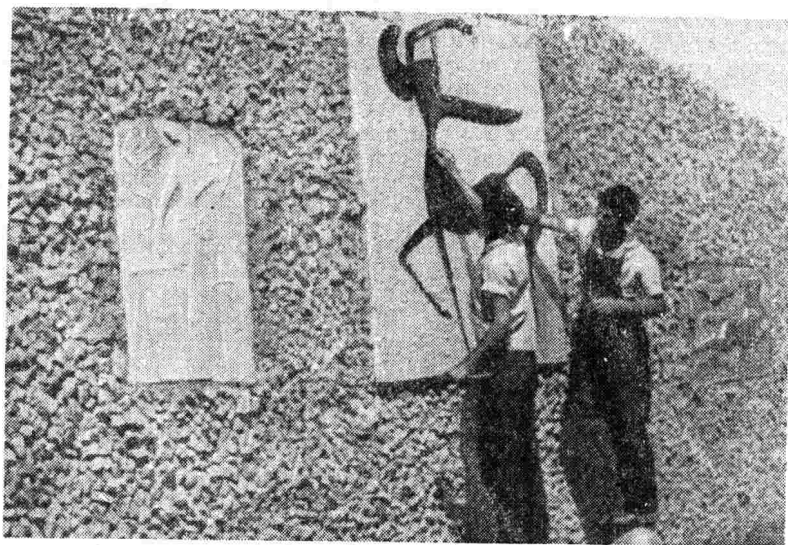
Воскресить эту бесконечную любовь никаким чудом нельзя.

Потрясала мгновенность утраты, похожая на смерть, но страшнее, потому что она ведь не дарилась забвения. Была такая удивительная любовь? Как и когда она ушла? Почему? Как существовать без нее?

И потрясала мысль, что это не трагический «случай», а нечто свойственное любви.

Даже это не было неуместным перед уходом на фронт. В такое время человек стремится захватить с собой все.

И в воспоминаниях господствует общий закон, что подобное рождает подобное. Вот и ведет за собой от Сретеньки через череду лет и событий цепочка огней — зыбкий мост над прошлым, возникающим сейчас, освещенным не солнцем и не осветительными ракетами, а светом софитов.



Дмитрий Кипшидзе: «По примеру древних»

На среднем снимке — Дмитрий Кипшидзе, на верхнем и нижнем — детали декоративной стены, созданной в селе Вани учениками его школы.



Дмитрий Кипшидзе представлялся мне почтенным старцем с длинной бородой, медлительной походкой и неторопливой речью. Известный скульптор и чеканщик, один из «большой четверки», возродившей грузинское чеканное искусство, бросает все блага жизни в Тбилиси и уезжает с семьей в далекое село, где он родился и вырос. Вот мне и казалось, что умудренный годами и опытом человек решил на склоне лет вернуться в свои родные места и на покое работать.

Более того, Кипшидзе открыл в селе Вани школу для детей, желающих заниматься ваянием и чеканкой. Он добился того, что эта школа была превращена в интернат, чтобы там могли учиться дети из окрестных сел и деревень. Преподавать в этой школе ему помогает жена, Сюзанна, тоже художница.

Итак, скорее в Вани. К уважаемому учителю, чтобы рассказать о созданной им школе.

На станции Самтредиа меня встретил веселый, подвижный человек, как говорится, в расцвете сил. Мы проехали дорожный столб, на котором я увидела чеканную пластинку с изображением виноградной лозы. Здесь начиналось село.

— Ребята сделали. Отсюда и начинается наше творчество, — сказал Кипшидзе. — Это символ Вани.

А въезжая в Вани, видишь огромную декоративную стену из серого камня. В стену вправлены выполненные в металле и светлом камне разнообразные сюжеты. Белая плита в центре стены объединяет эту своеобразную композицию. Вытесанная из белого камня группа символизирует грузинское гостеприимство. Одновременно это и символ жизни, любви, красоты. На горе, возвышающейся над селом, — белый монумент Шота Руставели, который как бы завершает композицию этого ансамбля.

— Дмитрий Давидович, расскажите, как создавалась стена?

— Идея пришла неожиданно. Дело в том, что на этом месте было болото. Эта грязь при въезде в село сразу же навевала тоску. Место казалось запущенным и глухим. И вот как-то в школе я рассказал ребятам о своей давней мечте. Меня занимает синтез камня и металла, архитектуры и чеканки, притом в больших масштабах, как основной принцип украшения городов и сел. И уж не помню, как и почему, но кто-то вспомнил о болоте, и пришла идея поставить эту стену. В работе нам помогало все село. Жители расчистили место, каменщики сложили стену. Ну, а мы с ребятами работали над изображениями.

— А где здесь ваши работы и где ребят?

— Мы все делали вместе. Чисто моих работ здесь одна или две. Трудились мы так. Я начинал делать какой-нибудь сюжет, а ребята продолжали. Я, конечно, наблюдал за их работой, иногда добавляя что-то, подправляя.

— А как же при таком коллективном творчестве вы выявляете индивидуальности?

— Во-первых, творческая индивидуальность видна даже в одном штрихе или линии. Во-вторых, ребята в школе занимаются каждый своим делом, и я уже знаю, кто что может, кому что более близко. Поэтому отдельные группы ребят работали над разными по сюжету и мысли рисунками. Но вообще мне близка такая школа, которая объединяет будущих художников не только тем, что они учатся вместе, в одном помещении. Я ни в коем случае не сравниваю себя с великими мастерами древности, у которых были свои школы. Я просто пытаюсь создать некое подобие этого. Да, школа должна быть единой, неповторимой, и тогда это будет настоящая школа. Мы сейчас, конечно, не знаем по именам всех художников школы Леонардо, но сам принцип этой школы сохранился на века и отличен от тысячи других. Ученик всегда может превзойти своего учителя, из одних получаются крупные художники, из других, быть может, и нет, но что-то единое должно оставаться у всех. И потому закономерно проникновение одного ученика в художественный мир другого. А впрочем, вы же сейчас сами увидите моих детей. Они уже работают.

В школе нас не ждали. Все было буднично. Двадцать пять мальчишек тихо занимались своим делом. Каждый лепил какую-то модель по памяти. В классе не было ни одного взрослого человека, который присматривал бы за ребятами, а день уже близился к середине. Когда мы вошли, ребята лишь подняли головы от работы.

— Здравствуйте, учитель, — в один голос произнес класс.

— Они целый день без учителя? — спросила я.

— А зачем учитель? У них есть работа, задание, они знают час обеда, а я в течение дня обязательно заглядываю несколько раз, прикрикну для строгости, и ребята продолжают трудиться. Они же здесь все по собственной воле. Сами приходят.

— А как же уроки?

— У них целый день урок. Сначала в обычной школе, потом — у меня. По часам невозможно разграничить занятия. У кого как получается, тот столько и работает. Потом я с них спрошу, и строго. Они это знают.

— А как вы их учите, по какому принципу?

— Принцип очень прост. Дети могут делать то, что они хотят по содержанию и мысли. Я учу их форме. По-моему, это основное в скульптурном искусстве. У скульптуры должна быть «сильная» форма. Это главное. А отталкиваясь от этого, они могут работать дальше по собственному вкусу. Вот, например, я показываю репродукцию микеланджеловского Давида. Ребята должны схватить только форму лепки. Но ни в коем случае не копировать эту работу. Если она будет прямо скопирована, заставлю переделывать.

— А историю искусств вы преподаете?

— Обязательно. Кроме чисто специфических скульптурных знаний, в том числе анатомии и основ лепки, я рассказываю ребятам о великих мастерах — и древних и современных. Я приношу в класс какую-нибудь книгу, например, о Рафаэле. Кто-нибудь из ребят вслух читает, остальные лепят или чеканят. Потом одного заменяет другой. Вот вам и связь теории с практикой.

— По какому принципу вы набираете учеников? Они уже должны что-то уметь, должны сдавать экзамены?

— Почти никто из них не занимался ни лепкой, ни чеканкой до школы, но, видимо, ребята имели к этому определенные склонности. Сначала я просто брал всех. Но о нашей школе прослышали в дальних горных деревнях, и пришлось организовать что-то вроде конкурса. Потом открыли интернат.

— Через какое же время ребята уже могут лепить, хотя бы элементарно?

— Примерно через месяц я даю модель.

— А не рано?

— А вы спросите у них.

Я подошла наобум к первому же мальчику.

— Как тебя зовут?

— Малхаз Киквадзе.

Малхаз Киквадзе лепит голову поэта. Совершенно профессиональная работа. Решаю, что этот мальчик здесь давно.

— Я здесь месяц. Раньше немного рисовал для себя. Я из Салхино. Когда услышал про школу, пришел сюда. Прошел конкурс.

— Ты сам захотел лепить голову поэта?

— Пока мне хочется делать то, что делает учитель. Я в восторге от его памятника Галактиону Табидзе. Поэтому я тоже леплю поэта. Просто поэта. Я хотел передать его мысль и задумчивость.

В маленькой скульптуре гимнастки чувствовались сила и экспрессия, движение и страсть. Это работа Темура Минашвили. Он тоже учится здесь недавно. Раньше не занимался ни рисунком, ни лепкой.

— Темур, ты принимал участие в работе над стеной?

— Да, там две моих чеканки.

— Чем привлекла тебя эта работа?

— Тем, что когда-то там была грязь и болото, а теперь красота.

Мы вышли из школы и направились к памятнику Галактиону Табидзе. Два года работал над ним Дмитрий Кипшидзе. Площадка размером в две тысячи с половиной квадратных метров. В середине на пьедестале — голова великого поэта и мудреца. Вокруг разбросаны тронутые рукой скульптора каменные глыбы. Одни из них изображают героев произведе-

ний Табидзе, на других высечены строки его стихов. А справа от памятника, на стене старого дома, вычеканены вздыбленные кони. Они в полете, как легендарный Мерани. Это символ мысли поэта.

— Дмитрий Давидович, как все-таки вы оказались в Вани? Если честно, вам не скучно здесь?

— Немного скучновато. Но, по большому счету, разве в этом дело? То, что я сделал здесь, я никогда бы не сделал в Тбилиси. И для себя и для других. Мне предлагали преподавание в Тбилисской академии художеств. Я отказался. Тот тип школы, о котором я вам говорил, я могу создать только здесь, в селе, где не знают пока официальной системы обучения молодых художников. Это моя школа, мои ребята. Насколько все это хорошо, судить не мне. Я не просто учу их. Они должны сделать для села что-нибудь такое, что останется надолго. Пока мы хотим сделать на горе скульптурный лес. Каждый ученик, прежде чем получить аттестат, слепит скульптуру не меньше десяти метров, которая по мысли должна органически сочетаться с остальными.

С тех пор, как я и мои друзья — скульпторы Коба Гурули и Ираклий Очаури — стали заниматься монументальной чеканкой, меня не оставляла мысль, что настоящее чеканное искусство не в украшениях и крохотных миниатюрах. В древней Грузии чеканка выходила на улицу. Это наше национальное самобытное искусство, и оно должно украшать улицы и дома. Как я уже говорил, синтез архитектуры и чеканки, по-моему, прекрасен и оригинален. Но пока я только здесь, в моем родном селе, могу претворить свои мечты, а замыслов очень много.

— Ваши ученики уже дебютировали на выставках?..

— В 1968 году на республиканской выставке ребята получили восемь медалей. С прошлогодней выставки шестнадцать чеканных панно отобрано для Всемирной выставки детского творчества в Париже. Сейчас потихоньку готовимся к выставке в Москве. Нет, наверно, не скоро я отсюда уеду...

Беседу вела Елена БОКШИЦКАЯ



Юрий Зерчанинов

ЧТО БОЛЬШЕ: 500 ИЛИ 600?

Я приехал в конце апреля в Вильнюс, чтобы увидеть, как делаются эти магические 600 килограммов, а повезет, — увидеть борьбу и за пределами 600.

Борьбу не пришлось увидеть. Как выяснилось буквально в день открытия чемпионата, Жаботинский к единоборству с Алексеевым по-прежнему не готов и, уступая без боя звание чемпиона страны, не приедет в Вильнюс. Батищев, напротив, в то воскресное утро сбрил свою шкиперскую бородку, которую он отращивал последний месяц, и вышел на помост, исполненный безукоризненной готовности быть увенчанным лаврами победителя. Но Батищев «сломался», увидев, как легко идет на новый рекорд мира вызывающе небритый Алексеев.

Однако в Вильнюсе был установлен еще один фантастический рекорд. Я имею в виду 500 килограммов средневеса Геннадия Иванченко. Эти 500, пожалуй, не легче, если не тяжелее, чем 607,5 Василия Алексеева.

В воскресенье, когда состязались тяжеловесы, билеты в Манеж уже спрашивали на углу улицы Лейниклос (мои коллеги старательно обыгрывали тот знаменательный факт, что когда-то на этой старинной улице жили литейных дел мастера). Но даже и в воскресенье трое невозмутимых мотоциклистов заводили

под окнами Манежа красные «Явы», поправляли подолгу белые шлемы, а когда пришли их девочки, немного поговорили с ними про баскетбол, потом девочки вспрыгнули на задние сиденья, и «Явы» с ревом умчались. Короче, в Вильнюсе относятся к штанге достаточно сдержанно, и в пятницу вечером, когда вышли на помост средневесы, зал был не пуст, но и не переполнен.

Уже после первых подходов к штанге бывших рекордсменов мира В. Беляева и Б. Селицкого стало ясно, что время их побед прошло. Правда, Борис Селицкий боролся отчаянно, до конца. Но что мог сделать герой Мехико, если два дебютанта чемпионата, Геннадий Иванченко и Давид Ригерт, уверенно предложили совсем иные правила игры.

Вот Гена говорит своему тренеру Фрайфельду: — Михаил Ефимович, скажите, сколько надо, столько я и толкну.

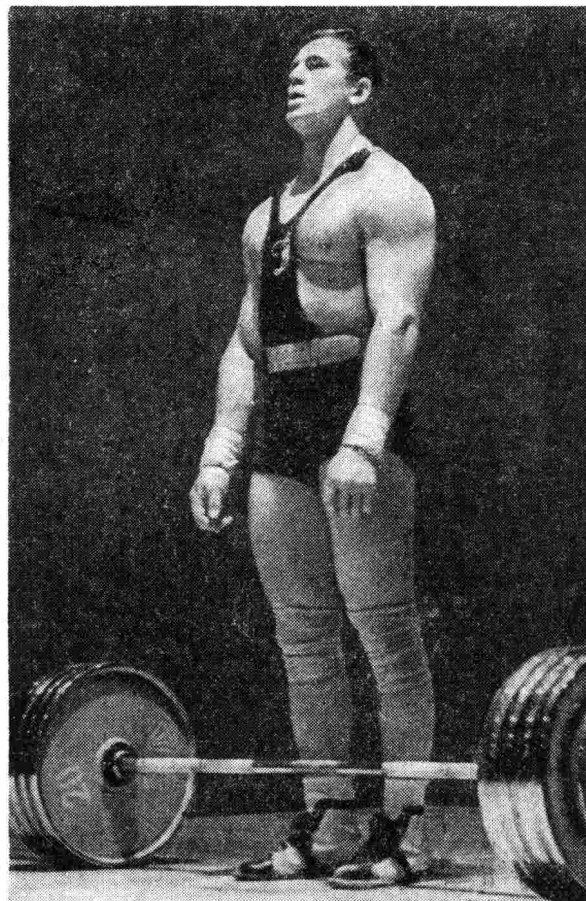
Но если Иванченко приехал в Вильнюс уже рекордсменом мира, то ученик Рудольфа Плюкфельдера Ригерт еще год назад был никому не ведом. И вот, взметнув в рывке победный вес, Давид стоит себе под этими ста пятьюдесятью килограммами и улыбается.

Исход борьбы решался в странном их поединке, окрашенном столь очевидным взаимным доверием, что попроси, казалось, Иванченко Ригерта поднять



На этом снимке запечатлен момент, когда Алексеев и Чужин выглядели озабоченно — Батищев тоже пытается выжать 215 килограммов...

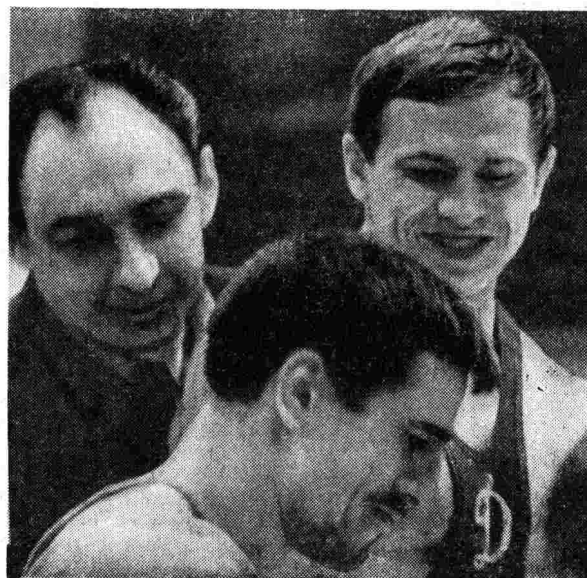
Внизу: Иванченко утешает Пумпуриньша после «баранки» в рывке.



Вверху: так, отрешенно, Иванченко стоял около штанги, глядя куда-то под потолок...

Внизу: Гена улыбнулся лишь на пьедестале почета. Рядом с ним стоят Михаил Фрайфельд и Давид Ригерт (серебряный призер — 495 килограммов!).

Фото Альгимантаса Бразайтиса.



еместо него один разок штангу, тот бы безмерно обрадовался.

— Отличный чудак! — говорил мне Геннадий о Давиде.

— Отличный парень! — говорил мне Давид о Геннадии.

И тренеры их держались, как два союзника. Сам слышал, как после рывка Фрайфельд спрашивал у Плюкфельдера:

— Рудик, как пойдет твой парень?

Тут надо заметить, что Рудольф Плюкфельдер с давних пор был кумиром Гены Иванченко. Портрет Плюкфельдера наклеен на обложке его первого спортивного дневника. А несколько лет назад, когда Фрайфельд рассказал Плюкфельдеру, что растет у него такой отличный парень Гена Иванченко, да вот беда, преследуют его травмы, — Плюкфельдер прислал передать этому парню свою книгу «Металл и люди», сопроводив ее надписью: «Мы делаем себя такими, какими хотим быть сами».

Но вот парадокс: сделав в тот вечер 500 и мгновенно затмив былую славу и Томми Коно, и Рудольфа Плюкфельдера, и других знаменитых средневесов, Геннадий Иванченко совсем не выглядел счастливым человеком. В чем же дело?

Расскажу, как он выступал. Уже после жима, когда стало очевидно, что Иванченко уверенно идет на 500, мои коллеги устремились за занавес, где звенела на тренировочном помосте штанга и где стояли раскладушки спортсменов. Гена сидел на своей раскладушке, опустив низко голову и сцепив на коленях руки. Он настолько ушел в себя, что только корреспондент «Советского спорта» Д. Иванов решился присесть рядом с ним. Шли разговоры, что Иванченко не человек, а машина, столь бесстрастно и невозмутимо держался он, и Иванов, сам в прошлом известный штангист, захотел проверить его пульс. Гена терпеливо ждал, пока Иванов убедится, как бьется у него сердце, но когда вслед за тем к нему подсел второй тренер, Маясин, он попросил его тихо:

— Толик, не трогай меня.

Потом он прохаживался за занавесом вместе с врачом Гавартиным, и казалось, они говорят о чем-то важном, на самом же деле хитрый Гавартин провоцировал Гену:

— Хорошо бы сейчас в полутемной комнате послушать Хэмпердинга, правда?

— Или Поля Анка, — оживился Гена.

Но его ждет уже штанга, и, тщательно оглядев себя, поправив белые носки, он подходит к ящику с мелом, а рядом стоит Фрайфельд и тихо закликает:

— Геночка, свободнее, свободнее.

И вновь отрешенный, как йог, он медленно идет на помост, долго стоит около штанги, глядя куда-то под потолок. Зал затихает, соучаствуя в этом таинстве, и, наконец, взрывается аплодисментами, но Гена, безукоризненно вырвавший штангу, по-прежнему отрешен и, словно не слыша этих аплодисментов, столь же медленно уходит с помоста.

Он, конечно, расслабился, когда набрал 500, и, чуть склонив голову, благодарил еще недавно таких сдержанных, а теперь восторженных зрителей, но, как и прежде, не было на его лице улыбки. Ему казалось, что работал он жестко и несвободно, поскольку страховал травмированное в декабре плечо. Тогда он сделал 495, но в толчке штанга мотала его по всему помосту, и он все же ее удержал, но вот повредил плечо. И вообще он казался себе сейчас каким-то угловатым чудачком, со впалой грудью, который просто смешон, пытаясь без всяких к тому оснований прослыть и Аполлоном и Геркулесом одновременно. 500

килограммов? А что здесь такого? Удалось собрать сумму в полтоны — вот и все.

А наутро в отеле «Гинтарис» он говорил мне, что поднятые им 500 килограммов еще не делают его человеком более совершенным и что вообще, по его мнению, сначала — человек, а потом штанга. Исходя из этого, он выделяет среди всех известных ему штангистов прежде всего Плюкфельдера, Власова и поляка Башановского.

Он себя что-то неважно чувствовал утром, говорил, что, наверно, простужен, что ему не хочется никуда идти, но тут перед нами возник рижский полутяж Карл Пумпуриньш, который выступал в то утро.

— Пойдешь со мной? — спросил Пумпуриньш.

— Какой разговор, Карлуха.

— Как всегда?

— Все будет нормально.

Человек необузданной силы и столь же необузданной широты интересов (математик, художник!), Карл Пумпуриньш — одна из ярчайших личностей в нашей тяжелой атлетике. Он четырежды улучшал рекорд мира в жиме, но управлять своей силой и темпераментом умеет далеко не всегда. Этой зимой Карл сдавал очередную сессию в Политехническом институте, потом не мог тренироваться из-за травмы — одним словом, приехал в Вильнюс не в лучшей форме. К тому же прошедшей ночью кто-то будил его несколько раз телефонным звонком, и теперь только Гена мог успокоить Карла перед выходом на помост. И Гена пошел вслед за Карлом в Манеж. Воспитанник Михаила Фрайфельда не поступает иначе.

В Вильнюсе проходил личный чемпионат страны, но рижане помогали друг другу, как при командном зачете. Ох, как болели ребята Фрайфельда за своего второго тренера — полусредневеса Анатолия Маясина, которого в связи с близким сорокалетием не хотели было допускать к участию в чемпионате и который, улучшив на 10 килограммов свой личный результат, завоевал в Вильнюсе бронзу.

Если Гена ушел с Карлом, то полулегковес Саня Дынников (второе место в толчке) пошел гулять с Валентином Брочем, который выступал вечером в первом тяжелом весе. Весь день маленький Саня развлекал огромного Броча. Он и в кино его водил и кричал мороженщицам на улицах: «Дайте пломбир мне и сынку». А вечером, приведя Броча в Манеж, отчитался перед Фрайфельдом: «Сдаю багаж, давайте квитанцию».

Заслуженный тренер СССР и Латвийской ССР Михаил Фрайфельд никогда не был великим штангистом. В детстве в Москве он приобщился было немного к тяжелой атлетике. Но в сорок четвертом году ушел по комсомольскому набору в армию. Однажды после войны — Михаил служил тогда в Латвии — он, как единственный в части знающий, что такое штанга, был выбран для подготовки команды к армейским соревнованиям, и его команда заняла первое место. Если оценивать ныне работу тренера Фрайфельда количеством мировых рекордов, установленных его воспитанниками, однозначной цифрой не обойдешься. Но сейчас мне важнее отметить другое: тот высокий дух благородства и бескорыстия, который прививает Фрайфельд своим ученикам. Всегда кто-нибудь из ребят живет у него дома. А в зале его тренерская работа лишь завершается. И мне понятно, как директор Гжатской школы и его жена, тоже учительница, решились доверить Фрайфельду своего сына Гену, который не поступил в шестьдесят четвертом году в мореходное училище, но захотел остаться в Риге, чтобы тренироваться у Фрайфельда. И в прошлом году Иванченко уже начал штурм мировых рекордов,

причем 500 для него — лишь этап, намеченный Фрайфельдом на предолимпийской дистанции.

А в то субботнее утро Гена, как нянька, ходил за Карлом: массировал ему «трапецию», успокаивал после «баранки» в рывке, получив которую Пумпуриныйш вопреки советам тренера решил идти на мировой рекорд в толчке...

В конце соревнований Гена сидел рядом с Карлом на раскладушке, совершенно обессиленный.

— Я бы меньше устал, если б сам выступил, — говорил он. — Ходить за таким, как Карлуха? Это же реактивный самолет!

Все самые пышные эпитеты достались в Вильнюсе Василию Алексееву. Судья-информатор трепетно восклицал: «Колумб тяжелоатлетического помоста!» — и далее, почти переходя на пение: «Главный советский Геркулес!!!»

А маленький Чужин, нынешний тренер Алексеева, отчаянно отплясывал на спине Главного Геркулеса какой-то замысловатый танец с целью размять эту необъятную спину. Алексеев лежал недвижимо на раскладушке, лишь иногда приподнимая голову, чтобы поощрительно улыбнуться кинооператору. Он готов был позировать этому оператору даже после двух неудачных подходов в рывке — так был уверен в конечном своем торжестве. А однажды, когда поблизости находился тренер Леонида Жаботинского Ефим Айзенштадт, Алексеев хитро улыбнулся: «Ну, Леня сейчас переживает там...» Он долго и щедро давал автографы, изучающе осматривая своих поклонников, отдавая предпочтение детям и женщинам, и, наконец, протянул Чужину ручку: «Не потеряй», — и сказал решительно: «Всем пламенный привет! Дальнейшие автографы по телевизору...»

А тот, который сделал 500, в этот час торжества самого сильного (есть все же властная магия абсолюта, магия «самого-самого») уже не был в Вильнюсе. Еще ночью в поезде Гена смерил температуру, порадовался, что в день выступления он все же преодолел грипп, а теперь, не желая по-прежнему поддаваться гриппу, решил оглушить его музыкой и включил на полную мощность проигрыватель в своей новой рижской квартире, которую он еще не успел даже обжить — разве что притащил сюда книги, музыку да разложил аккуратно на полочке свои немногие пока медали.

К нему пришел Володя Смирнов — силовой жонглер, который готовит сейчас невиданный еще на манеже атлетический номер и который, как и Гена, пытается разрешить проблему гармонического сочетания в одной личности совершенства Аполлона и мощи Геркулеса.

— Подожди, еще будем вместе работать, — говорил ему Гена. — Как сломаюсь на помосте, сразу уйду в цирк.

Так что же все-таки больше: 500 килограммов средневеса или 600 тяжеловеса?

Возвратившись в Москву, я попросил ответить на этот вопрос знаменитого Юрия Власова, который вслед за Алексеем Медведевым впервые перешел

пятисоткилограммовый рубеж в нашей тяжелой атлетике, превзошел затем легендарного Пауля Андерсона и покинул помост, оставив своим преемникам фантастическую цифру — 580!

И вот что сказал мне Власов:

— 607,5 килограмма Василия Алексеева — результат отличный. Каждый из нас гордится, что рубеж 600 первым преодолел советский атлет. Но надо помнить, что уже ряд лет в тяжелой весовой категории практически царил застой. Мой соперник Леонид Жаботинский, выступая без конкуренции, прибавлял лишь по 0,5 килограмма и был доволен победами на чемпионатах страны и мира. Доволен тем, что есть. Выступал без ярости. А его возможности таковы, что он давно уже мог перейти 600-килограммовый рубеж, но не сделал этого — и наказан. Но я бы не стал фетишизировать и результат Алексеева, ибо он собран прежде всего за счет жима. Без пятнадцати килограммов, прибавленных в жиме, не было бы этих 607,5 килограмма. Здесь очевидная дисгармония, поскольку в рывке Алексеев пока не сказал своего слова, а в толчке добавил лишь несколько килограммов. В ближайшее время следует ожидать появления атлетов, которые при жиме в 215 килограммов, как у Алексеева, будут иметь толчок более 230 килограммов. Этого можно ожидать уже на предстоящем первенстве мира. Американцы, в чем я не раз убеждался, очень стремительно умеют наращивать результат. Боб Гофман содержит всю американскую тяжелую атлетику прежде всего ради «драки» за почетный титул «самого сильного». При такой силе рук, при таком результате в жиме Алексеев просто обязан толкать 230 килограммов. И вообще если быть чемпионом, то надо быть таким чемпионом, за которым и самый последний, заключающий состязания толчок — самый большой вес! У нас тот король, кто владеет толчком. Тогда ты не только чемпион страны или мира — ты истинный чемпион силы!

Так что 500 Геннадия Иванченко при его равнотитанической работе и в жиме, и в рывке, и в толчке я считаю более высоким результатом, чем 607,5 Василия Алексеева. Притом атлет среднего веса может наращивать результат только за счет тренировок, а не за счет увеличения собственного веса. Кстати, чрезмерное увлечение собственным весом — одна из причин задержки возле рубежа 600. Увеличение собственного веса может дать атлету прирост результата в тросборье на 10—15 килограммов (прежде всего в жиме), однако затем этот набранный собственный вес ограничивает физические возможности спортсмена на тренировке, «душит» его, превращает в раба своего живота. Тренируясь на моих глазах, Пауль Андерсон до 25 минут «восстанавливался» между подходами! Именно поэтому 500 килограммов средневеса поразительны. Кроме спортивной одаренности, рекорд потребовал от Иванченко огромного труда. И повторяю: никакой диспропорции между жимом и темповыми движениями. В 1955 году, когда тяжеловесы одолели 500-килограммовый рубеж, казалось невероятным, что на это способен средневес, но ныне и рекорд Геннадия Иванченко уж не столь фантастичен, как это на первый взгляд кажется. Уже приходит время набирать 500 килограммов атлетам и полусреднего веса.



Наталья Ильина

КЛЕТКИ ДЛЯ ГЕРАСИМА

Записки молодой
учительницы

Они не верили, что Муму погибнет. Они очень за нее боялись, но надеялись: Герасим что-нибудь придумает... Когда я поднимала голову от книги, я видела эту боязнь и эту надежду в устремленных на меня глазах... Но Герасим, привязав кирпичи к шее Муму, бросил ее в воду. Я читала:

«Герасим ничего не слышал, ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды; для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас, и когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой, маленькие волны, по-прежнему поплескивали они о бока лодки, и только далеко назади к берегу разбегались какие-то широкие круги».

— Зачем он так сделал? — отчаянным голосом крикнул Вова Котков.

— Потому что обещал! — сказала Лена Гурко. — Уж он такой. Раз обещал, значит, исполнит!

Мои ученики зашумели: Герасим не должен был держать слово! Ведь кому он дал слово? Этим негодяям, этим подлизам...

— И зачем кирпичи? Пусть бы он ее бросил, а она бы выплыла. И тогда он сказал бы...

— Он не может сказать, он немой!

— А я бы...

Это произнесла Ира Сушкина, но добавить ничего не смогла, потому что заплакала.

Позже в учительской пожилая преподавательница Клавдия Сергеевна спросила, почему на моем уроке было так шумно. Я сказала, почему, и добавила, что, мне кажется, на уроках литературы мыс-



ли и споры — самое главное. «Самое главное — дисциплина!» — сухо ответила Клавдия Сергеевна.



Сегодня на мой урок явилась Клавдия Сергеевна. В этот момент отвечал Вова Котков. Он пытался рассказать о том, как прачку Татьяну выдавали замуж за пьяницу сапожника Капитона.

— Она говорила: слушаюсь, слушаюсь. Только она не хотела на нем жениться...

— Так нельзя говорить! — перебила Лена Гурко.

— Отстань! Я же не сказал, что она хотела жениться на Герасиме. Это он хотел за нее выйти!

— Так нельзя говорить! — упорствовала Лена Гурко. — Мужчины не выходят, а женятся, а женщины — наоборот.

Лицо у Клавдии Сергеевны было суровое. Я сделала внушение Лене Гурко: хоть она и права, но перебивать не нужно. Затем я усадила Коткова и вызвала Иру Сушкину.

— Что ты можешь нам сказать о гибели Муму?

Спотыкаясь, но, в общем, довольно толково Ира поведала нам о том, как Герасим взял лодку и поехал с Муму по реке...

— И пусть бы он уехал! Далеко, далеко! И стал бы работать дворником у кого-нибудь другого! И тогда бы...

Тут перебила я:

— Рассказывай о том, что было! Ну? Итак, он взял кирпичи...

— Кирпичи, — повторила Сушкина, — кирпичи...

И тут она громко всхлипнула, и пришлось ее усадить.



Весь вечер просидела над книжкой, которую дала мне вчера Клавдия Сергеевна. Книжка назы-

вается так: «Рассказы И. С. Тургенева в школе. Пособие для учителя». Автор — П. Г. Воробьев. Издательство «Просвещение». Москва. 1968.

Читала пособие, но мысли мои все возвращались к вчерашнему разговору с Клавдией Сергеевной... Тут в предисловии написано, что рассказы Тургенева «подвергаются при изучении педагогическому и собственно методическому препарированию...» А я не хотела препарировать! Я хотела, чтобы дети просто полюбили Герасима и Муму, чтобы дети почувствовали всю несправедливость... Мне не дали договорить: «Прекрасно. Допустим, они полюбили и, допустим, почувствовали. Но сотрудникам района, которые скоро придут проверять работу школы, нет дела до того, кто что чувствует. Сотрудники района будут слушать ответы учащихся, а не вникать в их ощущения!» И я думала, что дети должны своими словами... Меня снова перебили: «Когда они еще найдут свои слова, а проверка будет в следующем квартале! Советую вам прекратить самостоятельность и работать, опираясь на указания пособия. Результаты будут отличными, можете мне поверить!»

Ей надо верить. У нее огромный опыт, а я преподаю лишь первый год... И вот я изо всех сил старалась вникнуть в указания пособия.

Читала до тех пор, пока в комнату не ворвалась моя младшая сестра Люся с криком: «Где моя книга?» — и выхватила у меня из-под носа то, что я читала. Я сказала: «Ты с ума сошла!» — но Люся показала обложку, на которой было написано «Приготовление кондитерских изделий», и торжествующе умчалась. Видимо, пока я говорила по телефону, Люся с ее вечной безалаберностью сунула на мой стол свою книжонку, прикрыв ею пособие для учителя. Но я-то, я-то хороша! Как я сразу не заметила, что читаю совсем не то!..

Позже, когда Люся легла спать, я взяла ее книжку и стала сравнивать со своей, пытаюсь найти какое-то объяснение случившемуся. Объяснения не нашла: в пособии для учителя говорилось об одном, а в «Приготовлении изделий» — совершенно о другом! В моей книге сказано, что «задача при изучении рассказа... должна заключаться в осознании и усвоении идейного смысла его главных героев», а в Люсиной — что «задача при тепловой обработке заключается в повышении усвояемости пищевых продуктов...». В одной книге сказано, что «в целях постижения творческой истории «Муму»



следует знакомить учащихся с биографией писателя», а в другой — «в целях сохранения первоначального вида карамели последнюю следует глянцева́ть». В моей книге сказано, что «работа будет заключаться в выборке и внесении в схему», а в Люсиной — что «работа будет заключаться во введении в состав муки воды и дрожжей...» Тут: «в процессе фронтальной беседы с классом», а там — «в процессе выпечки теста»... Тут: «...по ходу раскрытия сюжета учитель получает возможность», а там — по ходу взбивания сливок кондитер тоже получает какую-то возможность... Короче говоря, авторы толкуют о вещах, ничего общего между собой не имеющих, и моя рассеянность непросчитательна. Легла спать расстроенная.



На третий вечер упорного чтения и борьбы с собой во мне произошел перелом: я вникла в пособие и усвоила его рекомендации. Объявила сегодня детям, что мы начнем по-новому проходить рассказ «Муму». В пособии рекомендовано начинать с «ознакомления детей с портретом Тургенева». Не следовало показывать учащимся портрет писателя в старости, а следовало показать им молодого Тургенева... «Такой портрет идет по прямому назначению и тем самым позволяет избежать опасности ложно ориентировать учащихся в отношении Тургенева как автора «Записок охотника», — написано в пособии.

Продемонстрировав идущий по прямому назначению портрет и избежав тем самым ложной ориентации учащихся, я начала говорить вступительное слово... Но только я успела сказать, что внимание писателя неизменно привлекали представители из народа, как меня перебила Лена Гурко:

— Так разве можно сказать: «представители из народа»?

Несносная Лена права. Одно из двух: или «выходцы из народа» или «представители народа». Но при чем тут я? В пособии для учителя ясно сказано: «представители из народа». Язык развивается, и, видимо, сегодня так уже можно сказать... Я сухо произнесла:

— Очень прошу меня не перебивать!

После чего я беспрепятственно продолжала свое вступительное слово, тщательно придерживаясь текста пособия... Вскоре, однако, я заметила, что учащиеся ведут себя скверно. Девочки хихикали, шептались, и, уловив слова «а мне еще подарили шарфик», я поняла, что речь идет о вещах, не

пмеющих отношения к уроку. Я хотела поставить девочкам в пример мальчиков, которые сидели тихо и что-то записывали, но, подойдя ближе, увидела, что мальчики ничего не записывали, а играли в крестики-нолики. Двух учащихся я поставила носом к стене, трем сделала замечания и пригрозила, что в следующий раз отберу у провинившихся портфели и вызову родителей. Порядок был восстановлен.



В пособии указано, что «по ходу раскрытия сюжета учитель получает возможность подключить» к своей речи рисунки художников-иллюстраторов реалистического направления... «Конечно, каждую художественную репродукцию следует выразительно и впечатляюще проговаривать в тесной связи с содержанием изучаемого школьниками произведения. Только при таком условии элемент наглядности станет компонентом живого слова».

Указания выполняла. Иллюстрации подключила, каждую впечатляюще проговорила и надеюсь, что в результате моих усилий элемент стал компонентом. Воспитательные меры, принятые мной на предыдущем уроке, свое действие оказали: учащиеся сидели смирно и дисциплинированно разглядывали иллюстрации, передавая их друг другу. Вопросов ни у кого не возникало. В конце урока послышался посторонний звук. Оказалось, что Вова Котков заснул и ударился лбом о парту. Видимо, мальчик переутомлен.



«В процессе фронтальной беседы с классом», как сказано в пособии, провела сегодня опрос учащихся. Согласно рекомендациям пособия, рассказ был мною разбит «на четыре конструктивных части, каждая из которых имеет свое особое событийное содержание». Опрошенные отвечали гладко. Но во время ответа Лены Гурко, которая сделала развернутое сообщение о содержании второй части, случилось странное... На какие-то секунды я, видимо, утратила представление о том, где нахожусь! Вернул меня к действительности неприятный воющий звук, и я в ужасе поняла, что это я сама громко зевнула! Хуже было другое: очнувшись, я увидела, что отвечала совсем не Лена Гурко, а Ира Сушкина. Как я могла забыть о том, что усадила Лену и вызвала Иру? Или с самого начала отвечала Ира, а не Лена и я их почему-то спутала? Я постаралась не выдать своей растерянности,



строго сказала: «Хорошо, Сушкина, садись», — двух хихикающих учеников поставила носом к стене, и порядок был восстановлен. Отныне прекращаю вечерние занятия и буду раньше ложиться спать.



Мой урок неожиданно посетила сегодня Клавдия Сергеевна. Я решила продемонстрировать ей достигнутое. На вопрос «Что собой представляет первая и вторая части произведения?» Гурко ответила как по-писанному: «Первая часть представляет собой экспозицию, а вторая — изображение незадачливой любви Герасима к Татьяне». Затем я вызвала Сушкину. «Каковы главные события третьей части?» На это Ира ответила, почти точно цитируя соответствующие строки пособия, таким образом: «Рокровая встреча Муму с барыней, конфликт Муму с барыней, похищение собачки и возвращение последней к Герасиму...» «Объясни-ка нам, Сушкина, — сказала Клавдия Сергеевна, — почему возвращение Муму к Герасиму названо «мнимой развязкой»?» Ира ответила так: «А потому, что затем состоялось вторичное разлучение Герасима с Муму по произволу барыни, завершившееся утонутием животного с помощью привязанных к шее последнего кирпичей». Клавдия Сергеевна одобрительно кивала, лицо ее как-то помягчело... Успокоившись за Иру, я обвела глазами класс, и вовемя: Котков клонился набок. Еще секунда, и мальчик свалился бы в проход между партами. Я громко сказала: «Котков!» Он вскочил как встрепанный и сразу же заговорил: «Будучи по природе существом общественным, Герасим горячо привязался к барыне, однако под давлением Муму был вынужден барыню утопить...» Поскольку Ира уже свое отбарабанила, она догадалась сесть, а Клавдия Сергеевна полагала, видимо, что я Коткова о чем-то спросила... Во всяком случае, она снова одобрительно кивала, учащиеся сидели тихо, и, кажется, никто, кроме меня, не заметил, что мальчик спрессован несет бог знает что... Я сказала: «Хорошо, Котков. Садись». Но он неслся дальше: «В знак протеста немой дворник решительно порвал с городом и уехал в трактор, где его ждал любимый труд на лоне природы...» Тут, на мое счастье, прозвучал звонок.



Поскольку «событийное содержание» дети усвоили, пора было переходить к образам. Для удержания в памяти учащихся действующих лиц произведения рекомендуется чертить таблицу. В по-

собию для учителя, разработанном П. Г. Воробьевым, дан образец таблицы, относящейся к рассказу «Бежин луг», и сказано: «Запись в целях усиления наглядности осуществляем в определенной системе. В результате такой классной работы получаем табличную запись, что и составит первый этап в изучении образов мальчиков». Опираясь на эти указания, я решила составить свою таблицу для изучения образов дворовых. Проведя на доске горизонтальные линии, я написала между ними: «Имя. Профессия. Внешность», — а затем горизонтальные линии пересекла вертикальными. Дети фиксировали все это в своих тетрадях... Внезапно я поймала себя на том, что вместо слова «имя» чуть не написала: «наименование продукта». Перед моими глазами возникла и не желала исчезать таблица из Люсиной книжки! Проклятая эта таблица мучительно напоминала ту, которую я чертила на доске! Усилим воли я заставила сгнать кондитерскую таблицу и стала заносить в образовавшиеся клетки нужные определения. «Имя: Гаврила. Профессия: дворецкий. Внешность: желтые глазки, утиный нос...» Я писала, скрипели перьями дети, было почему-то душно... «Капитон Климов. Сапожник. Глаза оловянные, волосы беловатые...» «Татьяна. Прачка...» Внезапно рука моя, будто повинувшись какой-то бесовской силе, вывела: «Яйца или меланж» — и быстро занесла в соседнюю клетку: «Для опары — ноль, для теста — 134». Я тут же опомнилась, стерла написанное, обернулась... Голос Лены Гурко: «Ой, я не успела цифры записать!» «Это не надо, — сказала я дрожащим голосом. — Сейчас будем устно. Переходим к центральному образу произведения, а именно к Герасиму!»

— Клетки будем делать для Герасима? — спросила Ира Сушкина.
— Пока не будем.

Я взглянула на Вову Коткова. Глаза его как-то остекленели, но он еще держался. Я же держалась плохо. Меня охватило странное оцепенение, и чтобы взбодрить себя, я заговорила громким голосом:
— Выясняем социальное положение центрального образа. Пункт 1-й. Кто такой Герасим?

С пунктом первым я, кажется, справилась благополучно, перешла к пункту второму, и тут меня понесло... Цитаты из Люсиной книжки (будь проклят тот час, когда я увидела ее!) перепутались в моей усталой голове с цитатами из пособия для учителя, и я произнесла нечто непотребное, вроде:



Рисунки И. Оффенгендена.

— В целях глянцевого образа необходимо ознакомление учащихся с цитатной характеристикой, в противном случае изделие не получит нужного колера...

Когда урок, наконец, кончился, я пошла в умывальную, намочила платок в холодной воде, приложила ко лбу, потом снова намочила и снова приложила...



На воскресенье всегда много планов: и в гости я собираюсь и в кино... Но решила провести день тихо. Случившееся накануне я объясняю сильным переутомлением. Утром я погуляла, а после обеда решила поваляться на диване и, может быть, вздремнуть. Но сон не приходил, и я взяла с полки книжку...

Этой книжкой оказался томик Тургенева... Опять Тургенев! Я не хотела Тургенева. Последнее время я испытываю неприязнь к Тургеневу... Но встать и брать другую книгу лень было, и я стала перелистывать попавший под руку том... «Вешние воды». Так. Ну и что? Очень все помню, и перечитывать неохота. Однако я стала читать и неожиданно зачиталась...

«...Голова Санина приходилась в уровень с подоконником; он невольно прильнул к нему — и Джемма ухватила обеими руками за его плечи, припала грудью к его голове. Шум, звон и грохот длились около минуты... Как стоя громадных птиц промчался прочь взывавший вихорь... Настала вновь глубокая тишина.

Санин приподнялся и увидел над собою такое чудное, испуганное, возбужденное лицо, такие огромные, страшные, великолепные глаза — такую красавицу увидал он, что сердце в нем замерло, он приник губами к тонкой пряди волос, упавшей ему на грудь, — и только мог проговорить...»

А дальше я не видела ничего: строчки расплывались. Я плакала. Я так давно ничего не читала, кроме пособия для учителя и пособия для кондитера, что забыла, что в родном моем языке существуют иные слова... И, кажется, я плакала от радости, что такие слова существуют. Но мне было не только радостно, мне и горько было, на сердце что-то скребло...

Ночью я спала хорошо, но перед рассветом проснулась, как от толчка, и лежала, уставясь в темноту. Мне чудилось, что я участвую в чем-то скверном, что я соучастница и прощенья мне нет. И я все спрашивала себя, что теперь делать и как дальше жить...



Владимир Кашаев

«СУВЕНИР»

О П Е Р А Ц И Я

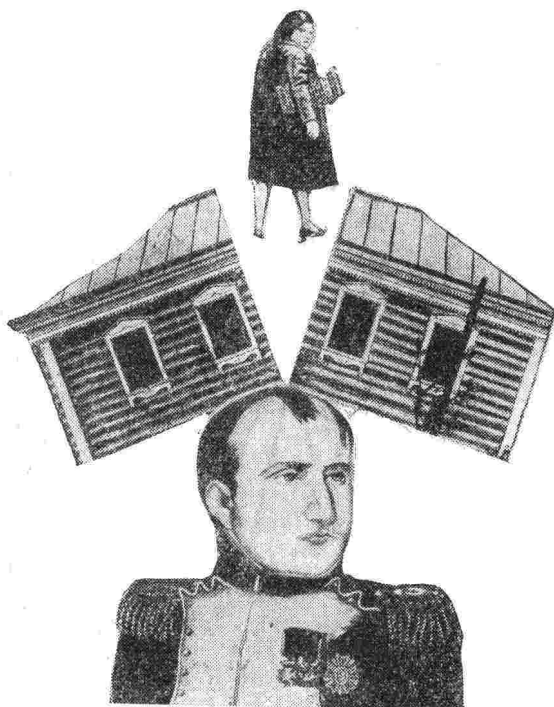


Рисунок В. Бахчаняна.

— **М**ое почтение, Юрий Владимирович, — заискивающе сказал председатель колхоза Максимов, входя в кабинет инструктора близлежащей турбазы Кошкина.

— Опять? — удивленно спросил Кошкин.

— Опять, — вздохнул Максимов. — Выручайте, Юрий Владимирович. Понимаете, клуб хотим новый построить. Со строителями я уже договорился, да ведь надо сначала место подготовить — старое здание убрать. А рук-то не хватает. Сами знаете — страда. Одна надежда на вас.

— Да что вы все сговорились, что ли! Только вчера из «Светлого луча» был председатель, сад у них засох, выкорчевывать надо.

— Юрий Владимирович, — взмолился Максимов, — войдите в положение! Век не забуду! Яблочек подброшу с урожаем...

— Да разве в яблоках дело! — Инструктор в раздумье побараба-

нил пальцами по столу. — Ну да ладно! Постараюсь помочь. Завтра у меня как раз обзорная экскурсия. Придется перед «Светлым лучом» к вам завернуть...

— Вот спасибо. Вот выручили! Нет уж, вы как хотите, а магариш за мной.

И председатель, довольный, ушел.

На следующее утро к покосившейся избе бывшего колхозного клуба подъехал экскурсионный автобус.

— Выйдем на минутку, товарищи, — обратился к туристам инструктор.

Туристы послушно вылезли из автобуса и плотной стеной обступили Кошкина.

— Обратите внимание. — Юрий Владимирович сделал жест рукой в сторону избы: — Очень примечательное место. В этом доме останавливался император Наполеон, отступая со своей армией из сожженной Москвы.

Туристы защелкали фотоаппаратами. Застрекотала кинокамера. А какой-то парень вынул из рюкзака малярную кисть, бидон с масляной краской, махнул на крышу и принялся выводить на трубе: «Здесь был Коля З.».

Полная женщина в кедах зашла с другой стороны избы и, стараясь не шуметь, аккуратно оторвала наличник у одного из окон.

— Вот это сувенирчик! — восхищенно толкнула в бок своего спутника лохматая девица в штормовке, увидев, как женщина в кедах старается записать наличник в рюкзак. — Пошли скорей, там, наверно, еще есть...

Но когда они забежали за угол, ни одного наличника уже в наличии не осталось. Работа по добыче сувениров кипела вовсю. Какой-то здоровяк в рубашке апаши выламывал из избы целый угол. Белобрысый мужчина средних лет, навалившись на крыльцо, пытался оторвать его от избы и унести в автобус. Дама в песне упаковывала в рогожу трубу с надписью: «Здесь был Коля З.»

Инструктор стоял отвернувшись и курил. Минут через двадцать он, удовлетворенно хмыкнув, крикнул:

— В автобус, товарищи! Поехали!

— Еще одну минутку! — отозвался кто-то с крыши автобуса. Он там пытался привязать к поручням массивную балку.

— Ну, как? — шепотом спросил Кошкин подошедшего к нему председателя колхоза.

— Дорогой вы мой, замечательно! — зашипел ему на ухо председатель. — Два пуда яблок за мной! Только вот... — Максимов кивнул головой в сторону того места, где только что стояла изба, — печь еще осталась да фундамент...

— Ну, это пустяки, — махнул рукой Юрий Владимирович. — На обратном пути завернем. Ну, пока!

Автобус тяжело тронулся с места и покатил. Довольные туристы рассматривали свои сувениры, хвастались ими друг перед другом и отвлеклись, только когда инструктор, вспомнив, что обещал «Светлому лучу» выкорчевать старые деревья, объявил:

— Внимание, товарищи! Сейчас мы сделаем остановку, чтобы осмотреть деревья, посаженные в восемнадцатом веке лично царем Петром Первым.

Экскурсанты быстро вынули тросы, шанцевый инструмент и приготовились к новому старту.

Вл. Панков

Я—ЗАМДЕКАНА

Рисунок И. Бронникова.

Сколько на свете счастливых людей — они никогда не были замдеканами...

Что такое замдекана? Это и па-лач и жертва в одном лице. Он выносит приговоры неуспевающим, он расправляется с так называемыми «сачками», он вообще имеет дело только с арьергардом студенчества. И в то же время он сам подвергается ежедневным пыткам со стороны своих жертв...

— Вы давали мне последнее обещание больше не прогуливать, — говорю я студентке Горошкиной, выжимающей из себя добротную слезу, — и вот вы снова прогуляли.

— Я не прогуляла. Я болела.

— Зачем вы юлите? Вы не болели. Вас видели в кино во время лекций.

— Но у меня есть оправдательный документ, справка, что я болела.

— Но вас видели в кино.

— Этого не может быть. Там было темно.

— Темно, но ваша прическа мешала смотреть на экран.

— Кому?

— Мне.

— Так это вы говорили мне что-то сзади?

— Да, я.

— Это другое дело... Да, я действительно была в кино, но у меня справка... У меня болели зубы, и мне врач прописал чем-нибудь отвлечься.

— Ну хорошо, где ваша справка?

Горошкина минут пятнадцать ищет справку в сумочке.

— Я, наверно, забыла ее в общежитии.

— Вас не было в общежитии уже два дня.

— Я ездила к родителям. Они, видите ли, больны...

— Как же вы ухитрились одновременно и ездить к родителям и быть в кино?

— А я... самолетом. Студентам скидка, вы знаете... Слетала — и сразу в кино.

— Потрясающе! И тем не менее я ставлю вопрос о вашем пребывании в институте.

— Вы не можете меня выгнать.

— Почему это я не могу вас выгнать?

— У меня справка.

— Какая?

— Что я... — Горошкина думает изо всех сил, как на экзамене: — Что я ненормальная... Шизик. — И она скашивает глаза к носу.

— Какой еще шизик? — стервенею я.

— Френик, — поясняет Горошкина.

— Ну, это еще надо доказать.

— А чего доказывать, когда и так видно. Я же дергаюсь, — говорит Горошкина и дергается.

— Дергайтесь, дергайтесь на здоровье... Только нам в институте сумасшедшие тем более не нужны.

— Как это не нужны? — в отчаянии кричит Горошкина. — По-вашему, сумасшедший уже не человек? А ведь он такой же, как все.

— Все? Значит, тогда я тоже сумасшедший?

— Нет.

— Почему?

— У вас нет справки.

— Фу. — Я тяжело опускаюсь в свое кресло — кресло замдекана. — Нет, Горошкина, на этот раз я все-таки вас выгоню.

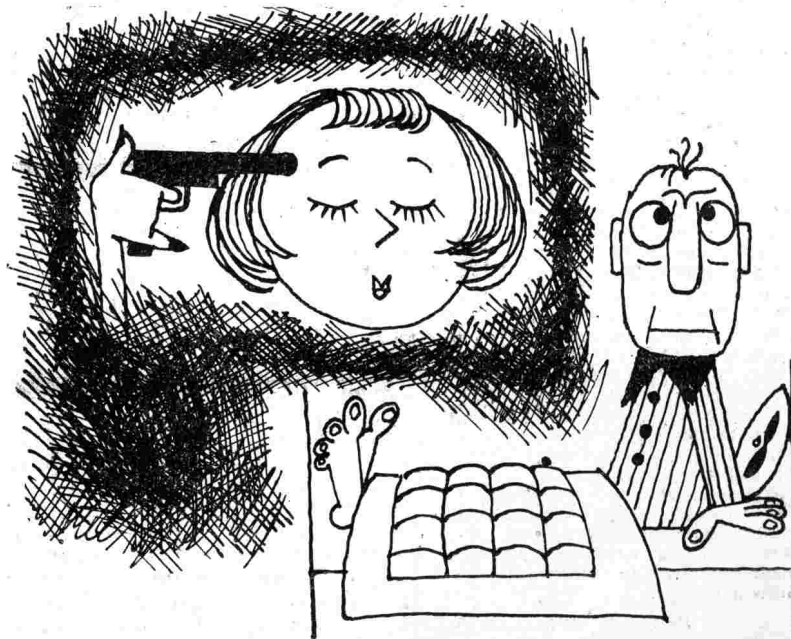
— А я покончу с собой, — спокойно отвечает Горошкина, словно выкладывает еще одну справку.

— В таком случае, кончайте и побыстрее! — ору я что есть мочи, приближая свои инфаркты, инсульты и преждевременную скоропостижную кончину.

...Ночью мне снятся кошмары. Будто бы Горошкина и вправду покончила с собой в моем кабинете. Но до этого достала справку и заверила ее в секретариате.

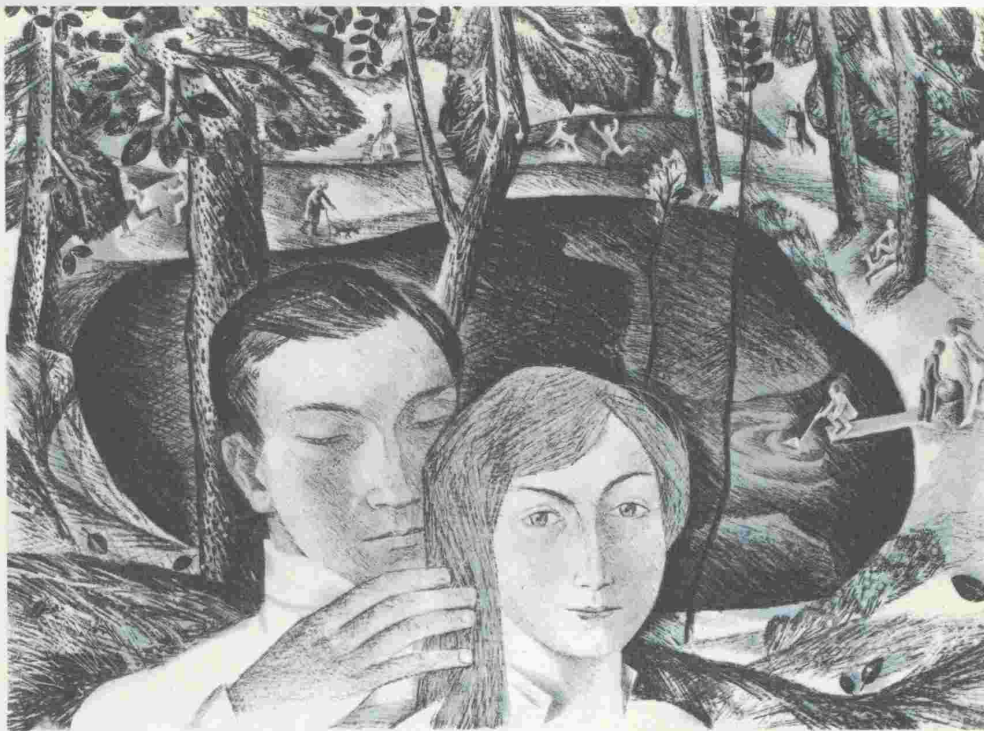
Справка подтверждала, что в момент самоубийства Горошкина вылетала на самолете к родителям по сниженному тарифу и что у нее, таким образом, стопроцентное алиби. На справке сверху стояла моя размашистая резолюция: «Горошкиной. Покончить с собой». И подпись. Все улики говорили только против меня.

На следующий день я отменил приказ об отчислении Горошкиной.



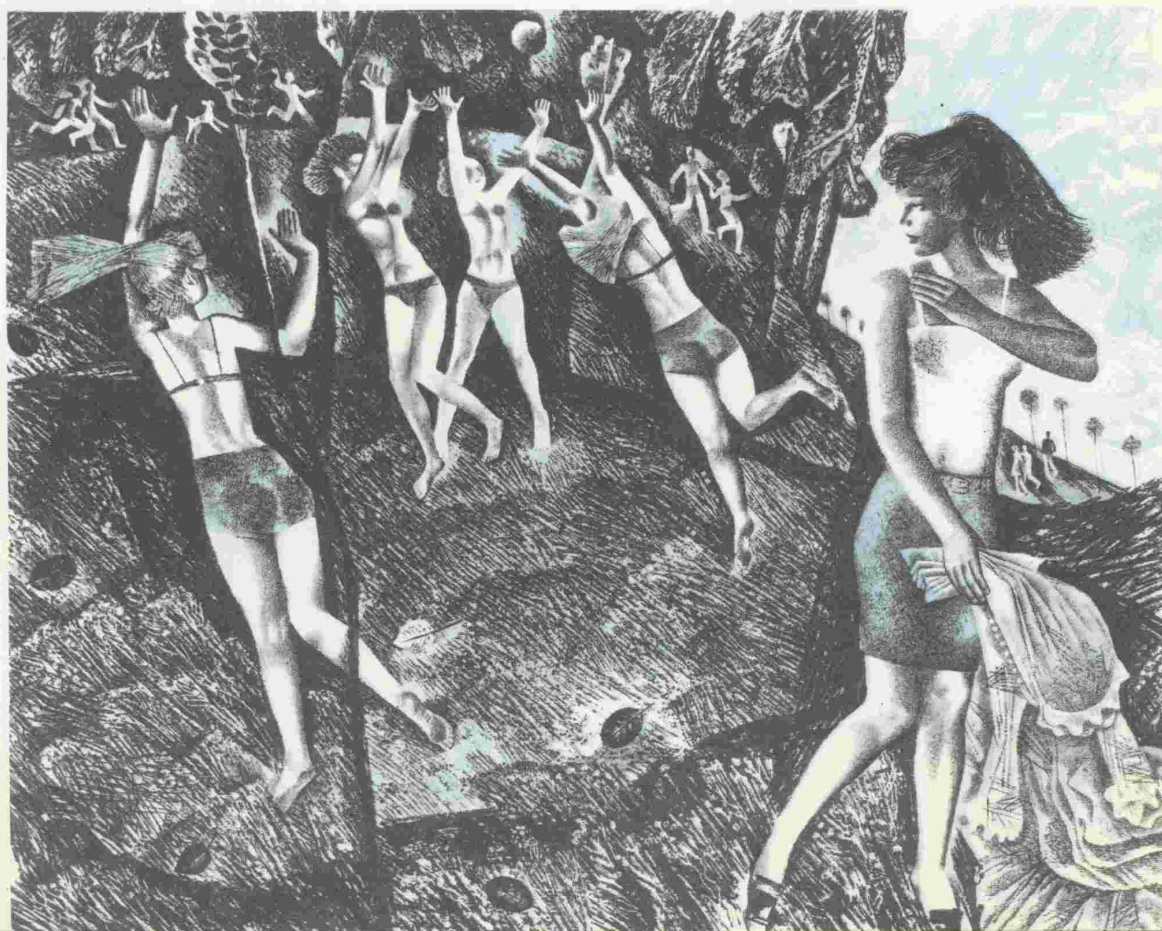
Автолитографии
Н. ВОРОНКОВА

из серии
«ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ».



В парке.

Игра в мяч.





ЮНОСТЬ

ЮНОСТЬ

ЮНОСТЬ

ЮНОСТЬ

Цена 40 копеек.



ЮНОСТЬ

ЮНОСТЬ

ЮНОСТЬ

ЮНОСТЬ



ЮНОСТЬ

ЮНОСТЬ

ЮНОСТЬ

ЮНОСТЬ

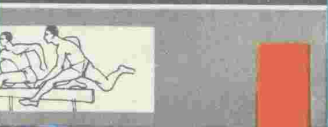


ЮНОСТЬ

ЮНОСТЬ

ЮНОСТЬ

ЮНОСТЬ



ЮНОСТЬ

ЮНОСТЬ

ЮНОСТЬ

ЮНОСТЬ

Индекс 71120.